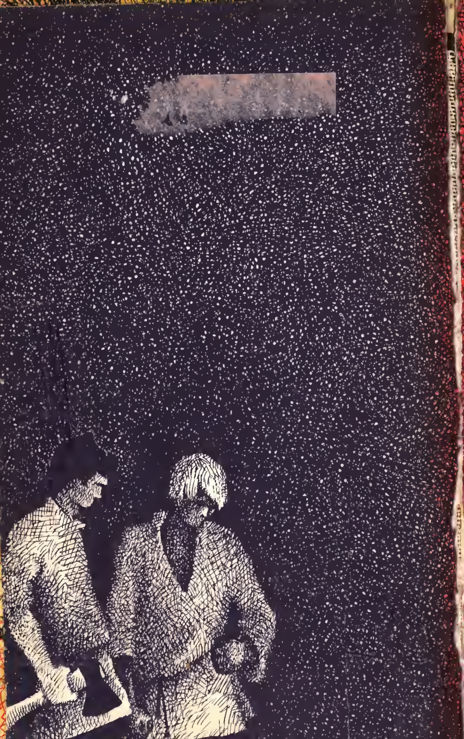


Ф. НАСЕДКИН
ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ









Ф. НАСЕДКИН

ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ

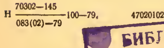
ПОВЕСТЬ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1979

«Великие голодранцы» — одно из наиболее известных произведений писателя Ф. Наседкина. В этой во многом автобиографической повести автор рисует картину русской деревни конца 20-х годов, когда идет решительная перестройка всей жизни и быта крестьянства, его борьба с кулаками. В этой борьбе участвуют и сельские комсомольцы во главе со своим вожаком Филей Касаткиным.

Для настоящего издания автором написано несколько новых эпизодов и глав.

Художник Н. А. Короткин



Н $\frac{70302-145}{083(02)-79}$ 100—79. 4702010200.



Бледный огонек в синей лампаде вдруг жалобно заморгал и погас, словно задутый ветром. Мать, сокрушенно покачав головой, взяла в печурке спички и взобралась на лавку. Шепча молитву, она иглой выдвинула фитиль и зажгла его. Потом, как-то неловко повернувшись, взмахнула руками и полетела вниз. Я вовремя подхватил ее и поставил на земляной пол, посыпанный свежим песком.

— Осторожно, ма!

Мать истово перекрестилась и со страхом взглянула на темную икону в углу хаты.

— Ох, быть беде! — простонала она.— Неспроста потухла лампадка. И не напрасно богородица оттолкнула грешницу.

— А ты не накликай беду,— сердито сказала Нюрка, старшая сестра.— Не за что богородице на нас гневаться. Живем не лучше и не хуже других...

Причитая и охая, мать ушла на кухню. Она собиралась идти в церковь святить куличи и прочую снедь. Нюрка вплела голубую ленту в косу, завязала бантом и полезла в сундук за нарядом. На полу у стены Денис, младший брат, натягивал опорки на покрытые цыпками ноги. Он-то, кажется, и совсем не заметил происшествия. Зато я стоял у окна, будто пришибленный словами матери. Быть беде. Да, да! Вот сейчас она разразится, эта беда. И ничто на свете не предотвратит ее.

Копаясь в сундуке, Нюрка мурлыкала какую-то песенку. И это в страстную субботу! Когда многие сидят на одной воде, не переставая бормотать молитвы. Когда посреди церкви стоит плащаница с телом господним. Меня вдруг обожгла злость. Вот я дрожу оттого, что не могу притворяться. А другие с легкой совестью напускают на себя притворство. Та же Нюрка. Что тянет ее в церковь? Смиренное желание со свечой в руках простоять всенощную? Или необоримая потребность молиться перед плащаницей? Ни то, ни другое. Подружки и дружки манят к святой обители. За высокой оградой в густых кустах сирени и черемухи они весело проведут пасхальную ночь. Так уж заведено исстари.

А Денису зачем нужно в церковь? Покаяться в грехах перед богом? Да откуда они, грехи, у подростка? Ко всенощной он помчится, чтобы обменять копейки на гривенники. И не один он, многие ребятишки занимаются таким промыслом. Подойдет пацан к плащанице, перекрестится кое-как, положит на серебряное блюдо копеечку и возьмет сдачу, в десять раз большую. Через некоторое время еще раз. Потом — еще и еще. Пока косой пономарь Лукьян не заметит и за ухо не выволочит из церкви.

А я не хочу обманывать. И будь что будет — скажу сегодня все. Да и сколько можно мучиться! Уже почти два месяца тянется это. Должен же наступить конец. И лучше, если он наступит в этот предпасхальный вечер. Может, не так сурово обойдутся.

В хату вошел отчим. Ему за шестьдесят. Но выглядит он крепким и здоровым. А теперь даже франтоватым. Ситцевая рубаха подпоясана витым поясом с

махрами. Чуть посеребренные волосы зачесаны назад и смочены конопляным маслом. Широкая борода подрезана и раздвоена.

Оглядев нас, отчим остановился на мне.

— А ты что ж, Хвиля, не собираешься? Аль не желаешь вместе с нами?

От его слов похолодело под ложечкой. Вот она, страшная минута. Ждал, готовился, а грянула внезапно. Как гроза в ясную погоду.

— Я не пойду в церковь.

Отчим часто заморгал глазами. Нюрка уронила крышку сундука. Разинув рот, Денис не то испуганно, не то удивленно уставился на меня.

— Я не пойду в церковь! — повторил я.— Нечего мне там делать.

В дверях показалась мать. Она услышала мой ответ, явилась и смотрела на меня так, будто я сумасшедший.

— Я не пойду в церковь! — громко повторил я, чувствуя, как замирает сердце.— Я записался в комсомол. А комсомольцы не ходят в церковь.

В хате повисла тяжелая тишина. Все смотрели на меня, как на прокаженного. Мать осторожно приблизилась ко мне.

— Я комсомолец! И не верю в бога!

Нюрка пальцами сжала подрумяненные щеки и заголосила на всю хату:

— Анчутка проклятый! Чума бы тебя сразила, окаянный!

Губы матери дрогнули. Впалые глаза сверкнули гневом. Но она не выругалась. И не заплакала. Долго всматривалась в мои глаза, будто хотела проникнуть в душу. Потом схватила меня за волосы и принялась бить. Молча, яростно, остервенело. Я увертывался, закрывался руками, но ничего не помогало. Удары градом сыпались на меня. И я готов был уже запросить пощады, как отчим оттащил мать:

— Не надо, Параня. Ради праздника не бери грех на душу.

Я хотел было броситься вон. Но что-то удержало меня. Должно быть, стыд за трусость? Я стал перед матерью, словно подставляя себя.

— Не пойду!.. Хоть убей!

Мать тяжело дышала. Большие красные руки ее дрожали. И вся она тряслась как в лихорадке. А отчим гладил ее плечи и тихо повторял:

— Не надо, Параня. Не бери грех... Нынче такой день...

Мать вырвалась, снова подступила ко мне:

— А ну, где он у тебя, этот сатанинский билет?

Я невольно прижал руку к груди. Там, в боковом кармане пиджака, лежала книжечка с силуэтом Ильича.

— А ну подай! — требовала мать.— Подай сейчас же! Я сожгу эту греховодную печать, чтобы тебя самого не спалил святой пламень. Подай, слышишь? И ступай в церкву. Всю ночь на коленях молись перед гробом господним...

Я отступил назад.

— Не дам. И не пойду в церковь.

Темное лицо матери перекосилось, будто в судороге.

— Ну, коль так, то убирайся из дому. Убирайся, чтоб духу твоего не было, комсомолец...

С этими словами она схватила меня за шиворот, потащила в сени. На пороге так двинула в спину, что я вылетел во двор и растянулся на земле.

— Выродок несчастный! — прохрипело позади.— Чтобы тебя в тартарары!..

Глухо звякнула задвижка, и все стихло. Я встал, потер ушибленное колено и заковылял со двора. Над Карловкой уже стлался вечер. Из ворот выходили первые богомольцы. Разодетые и умиленные, они несли куличи, завернутые в рушники. Мерный гул колокола то замирал, точно уносился куда-то, то вновь возникал, тягучий и нудный. Я невольно вслушивался в этот надсадный звон, и мне чудились в нем голоса бога и дьявола, одинаково потешавшихся надо мной.

* * *

В сельсоветском доме мерцал свет. Через окно видны были сгрудившиеся над столом ребята. Комсомольская ячейка!

Несколько минут я стоял на крыльце, прислонившись к шершавой стойке. Как рассказать о том, что случилось? Поймут ли? И помогут ли? А как и чем можно помочь в такой беде?

Ребята будто и не заметили меня. Только Маша Чумакова подвинулась, давая место на скамье. А Прошка Архипов, секретарь ячейки, не поднимая глаз от бумаги, сказал:

— Директива за подписью Симонова. Об антирелигиозной пропаганде...

И снова принялся читать — ровно и бесстрастно, как дьячок на клиросе. Ребята, сумрачные, даже усталые, напрягали внимание. Видно, нелегкая попалась директива. Но мне они казались счастливыми. Еще бы! За комсомол не ругают, из дому не гонят. Не хочешь, а позавидуешь.

Но вот Прошка закончил читать. Ребята сразу оживились, повеселели. А Илюшка Цыганков, плотный, коренастый, спросил:

— Что же будет дальше?

— Как это что? — удивился Прошка.— Будем намечать мероприятия.

— А на кой они, мероприятия? — спросила Маша Чумакова.— Пасха-то в разгаре уже. Вон как бухает.

Мы прислушались. За окнами разливался густой колокольный звон. Только теперь он казался более частым и нетерпеливым, точно торопил неповоротливых прихожан.

— Да-а,— согласился Прошка.— Директива малость подзапоздала. И все же я считаю... Кое-что можно сделать. И прежде всего объявить протест празднику. А в знак протеста отказаться есть куличи и крашеные яйца.

— Как отказаться? — заерзал на скамье Андрюшка Лисицын, известный в селе балалаечник и фокусник.

— А так,— безжалостно продолжал Прошка Архипов.— В рот не брать. Ни одной крохи. Как бы ни упрашивали.

— Ууу! — захныкал Андрюшка.— Другие будут объедаться, а мы облизываться?

Ребята невесело рассмеялись. До еды все были немалые охотники.

— Предлагаю поправку,— сказал Володька Бардин, высокий и чубатый парень.— Отказаться от освященных куличей и крашеных яиц... А неосвященные куличи и некрашеные яйца есть наравне со всеми...

Ребята дружно поддержали Володьку. Прошка поморщился и уступил.

— Хорошо, отказываемся от свяченых и крашеных. Это будет первое мероприятие. Второе. Никто не должен подниматься на колокольню и трезвонить.— И строго взглянул на меня: — К тебе в первую очередь относится, Касаткин. А то ты любишь потрезвонить.

— Хвиля же лучше всех на колоколах выделывает,— заметил Сережка Клоков.— Не хуже, чем Ванька Колупаев на гармошке.

— Тем более,— подтвердил Прошка.— Пусть церковники сами славят свой праздник.— И снова бросил на меня суровый взгляд: — Ты понял, Хвиля?

— Понял,— ответил я убитым голосом.— Не буду славить.

— Ладно,— одобрил Прошка.— Следующее мероприятие. Полный бойкот пасхи. Не наряжаться, не разгуливать по улицам, не принимать участия в играх.

— А что такое бойкот? — спросил Андрюшка Лисицын.

Прошка насупился, покашлял, будто у него что-то застряло в горле.

— Ну, как тебе растолковать? Необращение внимания. Понял? Дескать, меня не касается. Все равно и наплевать. Ясно?

— Угу,— ответил Андрюшка, смешно вздернув свой курносый нос.— Как дважды два.

— И дома не праздновать,— продолжал Прошка Архипов.— Заняться каким-нибудь делом. А если дела не найдется, читку затеять. Одним словом, все что угодно, только не праздновать. И не поддерживать религию.

— А что такое религия? — спросил Андрюшка Лисицын.

На этот раз Прошка досадливо поморщился, как от чего-то горького.

— А ты чем слушал — ухом или брюхом? Я ж вот тут читал...— И провел пальцем по строчкам: — Вот сказано: религия — орудие... Понимаешь?.. Орудие богатых против бедных. Она способствует... Понимаешь?.. Способствует невежеству и закабалению. А по-другому сказать, религия — опиум для народа.

— А что такое опиум? — не унимался Андрюшка.

Прошка снова уткнулся в бумагу. И долго бегал по ней глазами. А потом поднял их и смущенно сказал:

— Насчет этого не объясняется. Сказано «опиум», и все.

— Это такое зелье,— пояснил я.— Примет человек — и погрузится в сон. И забудется от жизни.

— А это что ж, плохо — погрузиться в сон? — поинтересовался Сережка Клоков.

— Понятно, плохо,— продолжал я.— Это ж дурман. Хуже самогону. Хватит бедняк такого дурману и обманет самого себя. Будто жизнь стала не такой, как есть. А очнется, и никаких тебе перемен. Одно только усыпление.

— Правильно,— подтвердил Прошка Архипов.— А нам нужно не усыпление, а борьба. Мы должны бороться за хорошую жизнь, а не одурманиваться.

— А ты откуда про то знаешь? — спросил меня Илюшка Цыганков.— Про этот опиум самый.

— В книжке читал,— признался я.— Есть такие. Про религию и попов.

— У них много разных книжек,— сказала Маша Чумакова.— Алексей Данилыч, ихний отчим, в волости работал. И оттуда привез. Мне отец рассказывал.

Ребята с любопытством и уважением посмотрели на меня, будто я внезапно предстал перед ними владельцем сокровищ.

— Да,— подтвердил я.— Книжек много. Целый сундук.

— И ты все прочитал? — спросил Володька Бардин.

— Не все, а больше половины. Остались только религиозные. А их неинтересно читать. Скука.

Было как-то неловко и в то же время приятно. С карловского хутора я был среди них один. И до ячейки знал их только по именам. Не больше знали и они меня. Потому-то и хотелось похвастать. Особенно теперь, когда мне было так тяжело.

— А сказки есть? — спросил Сережка Клоков.— Такие, чтобы дух захватывало?

— Есть и сказки,— охотно отвечал я.— И рассказы разные. Даже толстые романы. Но больше история. Как жили народы, как воевали меж собой.

— Расскажи про какую-нибудь,— попросил Сережка.— Про самую интересную...

Ребята присоединились к этой просьбе. А Маша улыбнулась, будто заранее благодарила меня. Я вспо-

мнил рассказ о мексиканце, который знал почти на память, и сказал:

— У писателя Джека Лондона есть книжка...

— Джек? — перебил Андрюшка Лисицын.— Вот так так! А у Комарова кобель Джек. Громадный волкодав...

На Андрюшку зашикали. Все знали про комаровского кобеля и ничего примечательного не видели в таком совпадении. И все же не удержались, чтобы не выразить возмущения.

— Пристрелить бы этого зверюгу! — сказал Илюшка Цыганков.

— А заодно и его хозяина. Друг дружку стоят!

— Насчет хозяина не знаю,— заметил Володька Бардин.— А вот собаку... Она не сама стала зверюгой. Ее сделали такой...

Когда ребята затихли, я рассказал о юном мексиканском революционере. О том, как победил он опытного боксера и как победой своей обеспечил восставших рабочих оружием. Ребята слушали затаив дыхание. А лица то грозно хмурились, то радостно светились.

Под конец Илюшка Цыганков одобрительно сказал:

— Молодец! Не подвел-таки революцию.

— Вот бы нам боксу научиться,— цокнул языком Андрюшка Лисицын.— Тогда бы мы сразились с нашими Комаровыми и Лапиниными.

— С Комаровыми и Лапиниными надо сражаться не боксом, а идеями,— поучительно заметил Прошка Архипов.— Попробуй заикнись Симонову про бокс. Враз уклон присобачит...— И вдруг подался ко мне: — А у тебя что это? — и ткнул пальцем мне под глаз.— Отчего синяк? От бокса, что ли?

Ребята весело заржали. А я, тоже потрогав у себя под глазом, угрюмо ответил:

— Не от бокса, а от матери. Признался насчет комсомола, а она выволочку устроила. И из дому выгнала...

Новость поразила ребят больше, чем победа мексиканца. Несколько секунд они смотрели на меня с растерянным изумлением. Маша первой пришла в себя и спросила:

— И как же ты теперь, Хвиля? Где жить будешь?

Я опустил голову и еле удержался, чтобы не захлюпать.

— Не знаю...

Ребята разом заговорили, заспорили. Илюшка предложил немедленно отправиться ко мне домой и пригрозить родителям.

— Теперь нет таких законов, чтобы выгонять из дому! Это вам не старый режим, а советская власть! Теперь все полноправные граждане. Хватит родительского тиранства!..

Володька Бардин поймал Илюшкину руку и опустил вниз.

— Не шибко скачи, Илюха, из седла выскочишь...— И когда смех затих, рассудительно добавил: — Дом-то ихний, он же на замке. Все домашние сейчас в церкви. Да и не пронять тетку Параньку таким походом...

Мало-помалу все выговорились и замолчали. А я в наступившей тишине еще острей почувствовал свою безысходность. И с усилием проглатывал один за другим какие-то противные комки, подкатывавшиеся к горлу. Нет у них ничего для меня, кроме сочувствия. А от сочувствия и сожаления только горше на сердце. Вдруг Андрюшка Лисицын подпрыгнул и ударил кулаком по столу:

— Спрячем его, Хвилю! Да так, чтобы ни одна душа не дозналась.

— Как спрячем? — спросил Сережка Клоков.— Куда спрячем?

— А вот слушайте,— сказал Андрюшка и загреб руками, как бы собирая нас в кучу.— Спрячем у кого-нибудь. Ну, хоть на неделю. И кормить будем по очереди. Тетка Паранька — норовистая. Это известно. Но она ж мать. Ныче раскипятилась, а завтра остынет. И спохватится. А где ж это мой Хвиля? А куда ж это он делся? И за неделю не только нагорюется, а и наголосится. И рада будет, когда явится. Даже с комсомольским билетом...

* * *

Прошка Архипов, у которого я спрятался, жил на Котовке. Так называлась часть Знаменки, расположенная между овражками. За правым овражком тянулись приземистые хаты Княжой, за левым — Новоселовки. Карловка также входила в Знаменку, хотя и распола-

галась особняком. Это был тридцатидворовый хутор, выросший на бывшей помещичьей земле. Хутору дали имя Карла Маркса. Но на той же мирской сходке название это неожиданно переиначили. Сразу после голосования наш сосед Иван Иванович, а по-уличному дед Редька, хихикнул в кулак и сказал:

— Вопчем, Карловка!..

С тех пор хутор стали звать Карловкой, а хуторян — карловцами. Вначале многим это не нравилось. Особенно возмущались девчата. А моя сестра Нюрка даже не один раз ревела. Но мало-помалу к названию этому привыкли. А девчата, опять-таки неизвестно почему, уже гордились, когда их величали карловскими.

Спали мы в архиповском сарае на соломе, крепко обнявшись от весеннего холода. На рассвете Прошка куда-то исчез. А я, продрав глаза, продолжал лежать. Сквозь плетневую стену уже пробивалось солнце. В Княжой, где стояла церковь, бойко трезвонили колокола. Теперь пасхальный трезвон целых три дня будет будоражить все вокруг. Я прислушивался и, сам того не замечая, шевелил пальцами, точно дергал за веревочки колоколов. Кто теперь там, на колокольне, упражняется? Петька Душин, фармазон и задавака? Миня Лапонин, прыщавый кулачонок? И до чего ж бездарно барабанил он, этот звонарь! Сбросить бы его с колокольни за такую чертопляску.

Когда мне надоело лежать, я сполз с соломы и припал глазами к щели в плетне. Сарай выходил на огород. За огородом росли корявые вербы. На них еще не было листьев: пасха выдалась ранней. Но деревья все же скрывали речку Потудань. Быстрая и светлая, она течет и на Карловке. И вся Знаменка расположена в плоскодонной балке на берегах этого неприхотливого донского притока.

До боли захотелось домой. Перед глазами встали мать, отчим, Нюрка, Денис. Что-то они теперь делают? И думают ли обо мне? И что бы сказали, если бы вернулся? Обрадовались бы или не приняли? Семь дней! Таково постановление ячейки. И все эти дни я должен скрываться. Стало нестерпимо обидно. А ведь все можно изменить разом. Стоит только захотеть, и все пойдет прежним чередом.

Мысли эти испугали меня, точно были предательски-

ми. Я торопливо достал комсомольский билет, поднес к глазам и увидел четкий профиль Ильича.

— Нет, нет,— прошептал я, как клятву.— Никогда! И ни за что! На всю жизнь!..

* * *

Прошка прииес хлеб, картошку, соль, кружку воды.

— Завтракать,— сказал он, раскладывая еду.— Харч будиичный. Кулича нет. Мать хотела испечь, но я запротестовал. У секретаря ячейки — и куличи. Насмешек не обобрался бы. Мать, понятио, погоревала, но согласилась. Она у меня передовая. И доверчивая. Вот и сейчас доверилась. Еда, говорю, нужиа для комиссара тайного. На неделю, говорю, остановился секретно. Повадки богачей изучает. И все такое прочее. Ну, говорит, коль так, то бери. Против богатеев иичего не жалко. Смерть, иенавидит мироедов...

Мне не поиравился обман. Я никогда и ни в чем не обманывал свою мать. Но тут, как видно, другого выхода не было. И я, вздохнув, спросил:

— А не проговорится?

Прошка замахал на меня руками:

— Что ты! Могила. Я же — строго-настрого. Ни слова, говорю. И в сарай, говорю, нельзя. Ни под каким видом. Одним комсомольцам можно, говорю. Да и то из-за еды. И донесеиий о делах богатеев. Так что не дрейфь. Все идет по плаиу...

Голод уже втягивал живот, и я набросился на завтрак. Через минуту с картошкой было покончено. Посолив оставшийся хлеб, я с наслаждением принялся запивать его водой. А Прошка лежал рядом и задумчиво болтал. Ему хотелось, видите ли, совсем переделать Зиаменку. Чтобы похожа была на город. И чтобы крестьяие избавились от частной собственности. И преобразились в рабочих.

— Наши мужики — это же стихия,— говорил он напористо.— К тому же — иеобузданная. А рабочие — передовой класс. На них вся советская власть держится.

Такое рассуждение тревожило меия. Может, потому, что мне нравилась Знамеика такой, какой была. В особенности летом. Когда зреют плоды в садах и шумят над

Потуданью вербы. И еще нравились поля — раздольные, черноземные, пламенеющий на них подсолнух и кипящая в розовой пене гречиха.

— Не все сразу,— не удержался я.— Надо сперва классовую борьбу довести до конца. А потом уже и стихию преобразовывать...

Прошка с удивлением глянул на меня, будто я ляпнул несуразность, и встал.

— Пойду займусь чем-нибудь. А то подумают, что праздную...

Оставшись один, я снова растянулся на соломе. И опять мысленно перенесся домой. Вспомнилось прошлое. Отец погиб в мировую. Мне он запомнился молодым и сильным. Мать говорила, что он был мастером на все руки: строил дома, ковал лемехи, шил пиджаки, клал печи, вставлял стекла, играл на гармошке. Гармошку мать продала Колупаевым, как только получила похоронную. Надо же было как-то кормить нас, сирот. И натерпелась же она тогда. День и ночь гнула спину на помещика и кулаков. Даже таскала тяжелые мешки на мельнице Комарова. И все за черствый хлеб, которого не хватало на три рта. Но вот к ней прибился местный вдовец Алексей Данилович Дурнев. Добрый и тихий, он пришел из крепкой, можно сказать, зажиточной семьи. И привел с собой целое хозяйство: лошадь, корову, овец. Тут бы жить да радоваться. Но нет! Грянула гражданская. Шкуровцы, проходившие через Знаменку, увели мерина, взамен оставили клячу. Зимой кляча сдохла, и мы опять стали безлошадными. А тут и другое несчастье: голодные годы. Пришлось зарезать корову, продать овечек. Но и это не спасло. Все мы лежали до неузнаваемости опухшие, а отчим мотался по Кавказу и привозил муку, вымененную на скудные вещи. Хлеба этого, конечно, не хватало. Мать мешала его с мякиной, лебедой и еще с чем-то. Все же это поддерживало нашу жизнь...

Нам хорошо было с отчимом. Мы звали его отцом. Никогда не унывающий, он вселял уверенность и в нас. И жизнь не страшила неизвестностью. А кроме того, он увлекательно рассказывал. И все о людях, ради других не жалевших себя. От него-то я впервые услышал и о Ленине. Отчим даже подарил мне книжку об Ильиче, которую привез из города. Книжка оказалась нелегкой для моего ума. Но, прочитав ее несколько раз, я все же

решил, что Ленин — самый лучший человек на свете. Мать выгнала меня из дому за то, что я стал комсомольцем. Но если бы она знала, кто помог мне в этом, ей пришлось бы выгнать и отчима. Ах, мать, мать! И почему она такая? Чуть что, и уж пускает силу в ход. И все против меня. Нюрку пальцем не трогает. Дениса на руках носит. А на мне все невзгоды вымещает. А их, невзгод, в нашей семье немало.

И все же я любил мать. И никогда не обижался на нее. Даже теперь, когда она так несправедливо обошлась со мной. И готов был позабыть обо всем, лишь бы сменила гнев на милость. Но на это трудно было рассчитывать.

* * *

Ребята дежурили по порядку, установленному Прошкой. Первый день он сам кормил меня. И начинял рассказнями о том, как «забивает буки» своей матери комиссаром.

Потом пожаловал Андрюшка Лисицын, виновник моего заключения. Он пробирался берегом Потудани, и сапоги его звонко хлюпали.

— Христос воскрес! — весело приветствовал он нас с Прошкой.

Прошка скривился, как от укуса блохи, и нехотя ответил:

— Воистину всмятку! И перестань балагурить!

— Есть перестать балагурить! — отчеканил Андрюшка и принялся выкладывать передо мной хлеб, картошку и крутую пшенную кашу.— Батька уже отодрал меня за это балагурство...

Выливая из сапог воду, он рассказал, как накануне заглянул к нашим.

— Уже горюют. Скоро заголосят. Убей гром, не вру!..

Потом была очередь Сережки Клокова. Тот так же рано утром забежал к нам, будто по делам оказался рядом. Это был третий день моего исчезновения. В доме у нас уже царило уныние. Глаза у матери покраснели, а отчим кряхтел и хмурился. На вопрос Сережки, куда это я запропастился, ответила Нюрка:

— В Сергеевку к родственникам подался. И загостился...

А мать ни словом не обмолвилась. Только губы ее беззвучно шевелились, точно повторяя молитву.

— Ей трудно, твоей матери,— заключил Сережка, глубоко вздохнув.— Места, видать, себе не находит...

Сергей и Прошка ушли. А я снова почувствовал тоску на сердце. Невмоготу становилось скрываться. А собственный поступок начинал казаться неблаговидным. Почему это я признался накануне праздника? Не хотелось идти в церковь? Но разве они потащили бы меня силком? Мог же я сказаться больным? Голова разболелась или живот схватило. Или еще что-либо. Да мог придумать такое, что и сами остались бы дома. А вместо этого рубанул сплеча. И заставил мучиться. И продолжаю терзать. Нет, будь что будет, а я должен вернуться. И как можно скорее.

Я так и заявил Прошке, когда тот вернулся в сарай. Но он покачал головой и невозмутимо сказал:

— Сиди и не рыпайся. Еще не настало время. А когда настанет, дам знать...

Пришлось смириться. Что поделать? Ведь я комсомолец. А комсомолец должен быть дисциплинированным. Тот же Прошка, когда меня приняли, строго предупредил:

— Отныне дисциплина для тебя закон. Как для бойца в строю...

* * *

На четвертый день пришла Маша Чумакова. Кроме хлеба и картошки она принесла кусок кулича и два яйца.

— Угощайся,— сказала она.— А то, должно, проголодался. Немножко задержалась...

Управиться с хлебом и картошкой было минутным делом. Перед тем как взяться за кулич и яйца, я спросил Машу:

— Свяченые?

Маша торопливо замотала головой:

— Нет! Честное слово! Свяченые они съели, как вернулись из церкви. Маленький куличик и по одному яйцу. Все до последней крошки съели. А я даже за стол не садилась. Притворилась, что сплю. И они не позвали. А де-

душка сказал: не трогайте ее. Она ж комсомолка. Ей грех потреблять святую пищу...

Мы посмеялись.

— А потом мать разрезала большой кулич поровну,— продолжала Маша, почему-то опуская глаза.— Я половину своего съела. А половину вот принесла. Попробуй и ты. Вкусный...

Должно быть сама того не заметив, она проглотила слюнки. Разломив кулич, я положил половину перед ней. К куличу прибавил яйцо.

— Ешь. Не то не поверю, что не окроплено святой водой...

Маша год назад вступила в комсомол. Кулаки долго поливали девушку грязью, распускали о ней ядовитые сплетни. Но грязь не пристала, клевета развеялась, как дым на ветру. А пока судачили злые языки, Маша привела в комсомол Андрюшку Лисицына. А потом и меня подтолкнула. Однажды она сказала, удивленно взметнув темные брови:

— Вот смотрю на тебя и не пойму. И почему это ты не с нами? Всем будто ничего, а сознание отсталое...

Мы долго говорили в тот вечер. А на другой день я передал ей заявление. Очень хотелось, чтобы похвалила. Но Маша — ни слова. И только после собрания, когда меня приняли, порывисто пожала мою руку:

— Вот теперь ты настоящий парень!..

Маша обо всем рассказывала подробно и красочно. Три дня ходуном ходила Знаменка. Самогонка лилась рекой. Конечно, были и драки. Но серьезно никто не пострадал. А теперь люди приходят в себя. Крестятся и чертыхаются. И о пахоте поговаривают. Дни выдались такие теплые, что над полями поднялся пар. Проснулась и задышала земля.

— Я вот все думаю,— осторожно добавила под конец Маша,— может, хватит тебе прятаться? А то ну как ваши заявят розыск? Хоть бы тому же Моське Музюле. А он такой, что сразу на след нападет. И тогда всей ячейке стыд...

Проводив ее, я опять разлегся на соломе. А если и правда наши заявят розыск? Что тогда? Не уронит ли ячейка из-за меня авторитет? И почему это Прошка выжидает? Только бы выполнить решение ячейки о семи днях? Или другой причине подчиняется?

Шорох прервал мысли. Я приподнялся и увидел Варвару Антоновну, Прошкину мать. Она стояла в дверях и смотрела на меня. Вдруг лицо ее перекосилось, глаза сузились и недобро сверкнули.

— Так вот кто тайный комиссар! — прошипела она.— Вот какая нечистая сила тут скрывается! — И, заметив метлу, схватила ее.— Сейчас я проучу тебя, паршивец! Пересчитаю твои ребра, непутевый! Будешь знать, как объжираться чужими харчами, бродяга!..

И принялась мутузить меня метлой, пересыпая удары бранью. И успела в самом деле пересчитать мои ребра, пока я скатился с соломы и вылетел во двор. Но со двора не побежала за мной, а, погрозив метлой, крикнула:

— Ну, погоди же ты, рашпиленок! Вот расскажу матери. Потребую вернуть, что слопал, негодник, и попрошу, чтобы расписала тебе задницу, разбойник!..

Она ушла в хату. А я, пристыженный и обескураженный, поплелся к реке огородом. И до чего ж ярая у Прошки мать! Даже моей вряд ли уступит. А какими словами расшвырялась! И рашпиленок! Ох уж этот рашпиленок! И кто его только выдумал?

Ну, отчима дразнят рашпилем, пускай так. Ничего не поделаешь. Но я-то при чем? Почему мне страдать из-за этого? Какой же я рашпиленок, если мы не родные?

За огородом, из-за куста, неожиданно вышла Домка Землякова, молодая, занозистая вдова. Она была в сапогах и телогрейке нараспашку. На одном плече — серп. На другом — скрученная в жгут бечевка. Видно, кугу или камыш резала. Рыжие волосы выбивались из-под шерстяного платка.

Окинув меня подозрительным взглядом раскосых глаз, Домка спросила:

— Ну как, здорово тебя шуганула тетка Варька?

Некоторое время я растерянно глядел на вдову, а потом сказал, сдерживая злость:

— А тебе-то что за дело?

— Как же? — рассмеялась Домка.— Это же я подстроила. Ну да, я. Выследила и подстроила. Гляжу и дивлюсь. Комса каждый день сюда шныряет. И не в хату, а в сарай. Что это, думаю, затевают субчики-голубчики? Подкралась и зыркнула в щелочку. И вижу тебя в натуре. Раскинула умом: за каким лихом тебя к нам занесло?

И к тетке Варьке. Так и так. А полюбуйся-ка, кто у тебя в сарае солому перетирает! Вот она и полюбовалась...— И снова усмехнулась.— А и правда, какая нелегкая занесла тебя сюда?

Не ответив, я обошел Домку. Некоторое время чувствовал позади ее острый взгляд. Потом услышал все тот же насмешливый и беззлобный голос:

— Ишь ты, поди ж ты! Цена грош, а за рупь не возьмешь...

На душе стало совсем противно. Теперь вдова разбарабанит по селу. Поползут сплетни. И как это ей удалось пронюхать?

Хотя что ж удивительного? Ребята-то не очень остерегались. И попались на удочку. Будь на моем месте в самом деле тайный комиссар, недолго бы он оставался тайным.

Вода в Потудани была еще мутной и двигалась вровень с берегами.

Но вскоре она спадет, посветлеет. Шустрая ребятня будет плескаться в ней, выуживать раков из норок, сачками ловить щурят и плотвичку.

Сзади послышались торопливые шаги. Прошка Архипов! Подбежав, он обнял меня.

— Фу! Запыхался. Боялся: удерешь. Что ж это такое? Как же это?

— Домка выследила,— ответил я.— И матери твоей донесла.

— Домка? — растерянно переспросил Прошка.— Ну, коль она, тогда хана. Тогда собирать ребят. И другое что-то думать. Да и все одно собирать надо. Письмо Симонова получено. Срочное и важное.— И стиснул мои плечи.— Жди тут. А я мигом обегаю всех...

* * *

И вот ячейка снова в сборе. Мы расселись на сухой прошлогодней траве, стлавшейся по берегу Потудани. Прошка объявил повестку дня. Первым был вопрос о письме Симонова. Прошка достал из кармана бумажку, развернул ее. И, откашлявшись, сказал:

— Письмо следующее, товарищи! Читаю.— И произнес заученные слова: — «Всем ячейкам ВЛКСМ. По

району ходит слух, что социализм в одной стране построить нельзя. Райком комсомола разъясняет. Чистейшей воды ерунда. И злостная кулацкая пропаганда. Социализм в одной стране построить можно. И он будет построен. Секретарь райкома Симонов».— Снова бережно сложив бумажку, Прошка обвел нас серьезным взглядом.— Вот такое письмо, товарищи! Давайте обсуждать.

Илюшка Цыганков недоуменно пожал плечами. И заметил:

— А что ж тут обсуждать! Без обсуждения все ясно. Социализм построим. А кулакам дадим бой. Последний и решительный.

Все же Андрюшка Лисицын, шмыгнув носом, спросил:

— А каким он будет, социализм? Хоть приблизительно.

Прошка наморщил лоб. И ответил, стараясь казаться уверенным:

— Ну, если приблизительно... При социализме жизнь будет хорошей и справедливой. Не будет порабощения и эксплуатации.

Ответ Прошки вызвал оживление. И ребята почти хором спросили:

— А куда денутся кулаки?

Прошка посопел и признался:

— Этого я не знаю. Но кулаков не будет. Иначе какой же социализм с эксплуататорами?

— Они станут такими же, как все,— сказал я.— А добро ихнее, как нажитое чужим трудом, будет передано бедноте.

Ребята посмотрели на меня. Во взгляде их таилась настороженность. Володя Бардин спросил:

— А ты откуда про то знаешь?

— В книжке прочитал,— ответил я.— Так и сказано.

— Правильно! — оживился Прошка.— Я тоже слышал, но запамятовал. Кулаки станут как все. У них отберут лишнее имущество. Какое нажито чужим трудом. И мы будем перевоспитывать их. Понятно, дело это нелегкое. Но другого ничего не придумаешь.

— Социализм! — мечтательно произнесла Маша.— Интересная будет жизнь. Машины всякие. Даже электричество. Поскорей бы построить его. Чтобы пожить в нем подольше.

— Если бы не кулачье,— сказал Илюшка Цыганков и сжал кулаки.— Они тормозят. На каждом шагу палки в колеса вставляют. А если бы не они, социализм быстро был бы построен.

— Наверно, догадываются, что будут как все,— вставил Володька Бардин.— А равняться со всеми не хочется. Да и лишаться богатства жалко. Они ж такие жадюги. Вот и вставляют палки...

Прошка снова покашлял. И предложил:

— Ежели не будем обсуждать, тогда проголосуем. Кто за то, что социализм в одной стране будет построен, поднимите руки!

Мы дружно подняли руки. Прошка довольно кивнул. И сказал:

— Единогласно! — И предложил Маше: — Запиши в протокол. .

— Записываю! — ответила та, четко выводя слово «единогласно» в ученической тетрадке.— С радостью и гордостью!..

Следующий вопрос был обо мне. Прошка доложил об осложнившейся обстановке. Ребята выглядели сумрачно. Все сходились на том, что следует как можно скорее вернуть меня домой. Но никто не знал, как лучше всего это сделать. Привести и оставить на милость матери? Пригрозить советским законом? Сельсовет призвать на помощь?

Внезапно Володька Бардин привстал на колени. И засиял, как полный месяц.

— А знаете что? — сказал он, сдерживая возбуждение.— Давайте-ка выберем Хвилю секретарем ячейки. Тогда его никто и пальцем не тронет. Ну да! А как же можно секретаря ячейки трогать?

Предложение Володи вызвало замешательство. Ребята уставились на Прошку Архипова, молча спрашивая его. А тот опустил голову и обиженно потянул носом.

— Воля ваша, как хотите, так и решайте.

Володя, прервав тягостное молчание, рассудительно заметил:

— А ты, Проша, не подумай что-либо. И не обижайся. Ты был хорошим секретарем. И мы не жалуемся. А только нет другого выхода. Да и Хвиля будет не хуже.

Смотри, какой грамотный. Полсундука книжек прочитал. А ты даже директиву с трудом разбираешь.

— А мне это нравится,— поддержала Маша Чумакова.— Прошка, конечно, хороший секретарь. Да не вечно же ему ходить в секретарях. Походил — и хватит. Теперь пускай походит Хвиля...

И другим ребятам такой выход показался подходящим. Почему-то они были убеждены, что секретарство обезопасит меня в семье. Я же нисколько не верил в это. Явись я домой даже в роли наркома, и тогда мать не смутилась бы. Но я все же молчал. Они предлагали меня не только потому, что хотели защитить от семьи, а и потому, что считали достойным своего доверия.

Все выговорились. Прошка поднял на меня глаза и глухо спросил:

— А ты сам-то как? Обеспечишь руководство? Чувствуешь за собой способности?..

Способностей за собой я никаких не чувствовал и откровенно признался в этом. Ребята опять заспорили и сердито набросились на меня. Упрекали, что я прикидываюсь и принижаюсь. Им даже показалось, что напрашиваюсь на похвалу. В то же время они обещали помогать и слушаться. В конце концов, если ячейка не поленится, то и секретарю не будет трудно...

Все же решающее слово оставалось за Прошкой. И ребята, наспорившись, снова уставились на него. А он, шумно вздохнув, сказал:

— Ну ладно. Давайте утвердим его. Пускай походит. Может, даже лучше справится. А я передохну малость...

Проголосовали. Написали протокол. Прошка размашисто подписался. И всем гуртом отправились в Карловку.

Но на подходе к хутору Володька Бардин сказал:

— Нет, ребя, гамузом не годится. Выберем лучше представителей. Я предлагаю... С Хвилей пойдут Прошка и Машка. Прошка как бывший секретарь, а Машка как девчонка...

Чем ближе мы подходили к дому, тем тревожнее стучало мое сердце. Неужели мать не переменится? Но в душе росла гордость. Ребята не только не оставили меня в беде, но и выбрали своим секретарем.

Мать, отчим и Нюрка копали на огороде. Денис разжигал костер, над ним висел уже казанок. Мать будет варить сливуху — пшенную кашу с картошкой. Нас встретили настороженно, лишь разогнулись, но даже не выпустили из рук лопат. Казалось, не поверили, что я цел и невредим.

Когда мы остановились перед ними, Прошка солидно сказал:

— Доброй помощи! Принимайте родного сына. А только теперь он не просто сын, а и секретарь ячейки комсомола. И я представляю его в таком новом виде. И от имени ячейки прошу уважать. А главное, не обижать, так как теперь он неприкосновенный.

Я подошел к матери. Она долго смотрела на меня, будто не узнавая. Потом притянула мою голову, прижала к груди. Так стояли мы несколько минут. Затем мать отстранила меня, поцеловала в губы.

Отчим тоже подошел, сжал мои плечи.

— Ну, поздравляю! — широко улыбнулся он.— Думаю, ребята не прогадали. Секретарь из тебя должен получиться...

— Вот и хорошо,— заключил Прошка.— Будем считать вопрос исчерпанным...

А Нюрка презрительно фыркнула и насмешливо пропела:

— Подумаешь, какое диво, секретарь! А по мне все одно — комса несчастная...

Она повернулась к нам спиной и с силой вогнала лопату в землю. Мать озадаченно глянула на нее, словно не зная, похвалить или выругать. Маша и Прошка простились и ушли. Я отыскал еще одну лопату и стал рядом с отчимом. Но Денис отвлек меня в сторону. Сунув руку в карман холщовых штанов, он достал две конфеты и протянул мне:

— Возьми, для тебя сберег.

Я взял одну конфету.

— А купил на сдачу с плащаницы господней?

— Угу,— подтвердил Денис, сунув оставшуюся конфету в рот.— За четыре копейки — четыре гривенника. Чистых тридцать шесть копеек.

Я похвалил брата. В конце концов это не так уж много в сравнении с тем, что заработали на воскресении Христовом церковники.

* * *

Мать завязала в платок хлеб, картошку, лук. Но я недовольно возразил. Не хватало еще с харчами путаться. Не за тридевять земель отправляюсь. Десять верст каких-то. Мигом отмахаю. И к обеду дома буду.

Однако мать настояла на своем.

— Мало ли что? Не ровен час...— И горестно вздохнула: — Вон ты какой оборвыш! Бродяга с большой дороги! Ну как не признают за своего и задержат? Наголодуешься, покуда разберутся.— Она сунула мне в руки узелок.— Даже рубашка полинялая. Постирать бы ту, крепкую. Да откуда ж было знать-то? Не предупредил, что пойдешь показываться...

Выглядел я и в самом деле неказисто. Старые опорки, штаны в латках, куцый, потрепанный пиджачишко. Но бродягой все же не казался себе. Да еще с большой дороги. Тут уж мать пересолила. Другие ребята не лучше одевались. Только богатые в сукно да сатин рядились.

А отчим не разделил ни моей беззаботности, ни опасений матери.

— Еда не беда. В дороге не обременит. Сказано: идешь на день — берешь хлеба на неделю. А что до оборвыша... Не все золото, что блестит. Бывает: на штанах — заплата, а ума — палата...

Я бодро шагал по накатанной дороге и думал о прихотях судьбы. Почти два месяца страх перед матерью зажимал мне рот. А когда я все же открыл его, был тут же избит и выброшен.

Несколько дней отверженным скрывался в чужом сарае. И вот нате вам — перемена. Да еще какая! Секретарь ячейки. Руководитель организации. Среди хуторян — разговоры. Даже уважение. И дома — что-то похожее на гордость. Мать хоть и вздыхает, но не сердится. А отчим улыбается еще шире и добрее. Лишь Нюрка по-прежнему фыркает. Ну и пусть. Пройдет время, и она переменится. Обязательно переменится. И даже погордится братом. Об этом я уж как-нибудь позабочусь.

Внезапно на меня как вихрь налетел рысак, запряженный в тарантас. Чтобы не оказаться у лошади под ногами, я шарахнулся к обрыву, круто подступавшему

к дороге, и покатился вниз. Несколько раз перевернулся вверх тормашками. А когда привстал иа колеии, увидел в таратасе Комарова, владельца водяиой мельиицы, и его дочь Клавдию. Мельиик сидел прямо и, как заправский кучер, иатягивал вожжи. А Клавдия обериулась ко мие, и я увидел иа ее лице испуг. Но вот оиа улыбиулась, должио быть решив, что прохожий остался иевредим, и помахала рукой.

Подиявшись, я обиаружил, что у правого сапога отстала подметка. Должио быть, падая, зацепился за что-то и оторвал ее. К злости прибавилась досада. И надо же было появиться мельиику у этого обрыва! И почему не было слышио, как подкатил тараитас? Помешали радужиые мысли или резиновые шины иа колесах?

Размотав веревочку, которой были подвязаны штаиы, я отгрыз коиец и подвязал сапог. Коиечио, это ие улучшило, а, скорее, ухудшило мой вид. Но что же делать? Сиять опорки и забросить их куда-иибудь? Но босиком я внушал еще меиьшее уважеиие.

Выбравшись иа дорогу, я уже без прежией радости двииулся дальше, шел и думал о Комарове. Перед революцией ои явился откуда-то, купил у помещика мельиицу и прииялся усердио выколачивать барыши. Почти в одио время в окрестных селах сгорели и почему-то вдруг развалились ветряки. Крестьянские подводы с зерном потяиулись в Зиамеику со всей округи. И мельиичиые колеса под водяным иапором завертелись без остаиовки.

На мужиков Комаров смотрел свысока. Советскую власть поиосил открыто. И должио быть, за это был в чести у местных богатеев. Они поставили его церковным старостой и объедииялись вокруг иего, когда подступала опасиость. А ои ие жалел труда, даже деиег на мирские дела и скоро прослыл надежиым защитником хозяев.

Мие ие приходилось встречаться с мельииком. И все же в моем представлеиии ои был человеком недобрым. Да и как мог быть добрым богач, выжимавший из иарода последиие соки? И с Клавдией мы не были зиакомы. Большую часть времеии оиа жила в городе у тетки. А к родиым иаведывалась редко. В Зиамеике появлялась иеожиданио, поражая всех иарядами. Парубки наши побаивались ее. Даже Петька Душии, сердцеед и иастыра, и тот ие решался к ией подбиться.

«Вот живут люди! — с безотчетной завистью думал я, шагая вслед давно укатившему тарантасу.— Горя не знают, нужды не испытывают. И на мягких рессорах раскатывают. А простой народ... Эхма!..»

* * *

И вот я предстал перед Симоновым. Он посмотрел на меня как на чучело, почему-то обошел вокруг и снова пробежал глазами протокол.

— Да-а,— протянул он, почесывая затылок.— Видик у тебя, прямо сказать, неважнецкий. Ну, да не одним видом красен человек. Попробуем проникнуть в суть...

И потребовал комсомольский билет. Я достал книжечку, положил на стол. Симонов раскрыл билет.

— Так, Касаткин. А зовут? — И поднял на меня удивленные глаза.— Как, как тебя зовут?

В свою очередь я дернул плечами.

— Там же написано.

— Вижу, что написано, не слепой,— рассердился Симонов.— К тому же сам писал и подписывал. А ты отвечай, когда спрашивают. Как звать?

— Ну, Хвилипп.

— Не Хвилипп, а Филипп,— поморщился Симонов.— И без всякого «ну». Дурная манера — нукать. Это между прочим. А теперь по существу. Ты что ж, не русский?

— Как не русский? — обиделся я.— Самый настоящий. Можно сказать, чистокровный.

— Чистокровный, а Филипп? — возразил Симонов.— Имя-то иностранное. Да еще монархическое. Испанские и французские короли так назывались. Луи Филиппы всякие.

— Я же не Луй.

— Только Луя и не хватает...— Он подал мне билет: — Возьми. А имя неподходящее. Для рядового — куда ни шло. А для секретаря ячейки...— Неожиданно глаза его расширились, будто он заметил что-то диковинное.— А там что у тебя?

— Где? — не понял я.

— Да в узелке.

Я поднес узелок к глазам, будто стараясь угадать, что было в нем.

— Харчи.

— Какие харчи?

— Обыкновенные. Хлеб, картошка, лук.

— Так что ж ты молчишь, балда? — выпалил Симонов.— Или у тебя совести нет? Я же с голоду подыхаю...— Повелительным жестом он показал на стол: — Выкладывай. Да поживей. А то самого сожру.

Я развернул узелок на столе. Симонов разлепил хлебные скибки и прямо-таки ошалел.

— Ух ты! Масленые! Конопляное или подсолнечное?

— Подсолнечное,— сказал я.— Конопляное не такое вкусное.

Симонов с шумом обнюхал хлеб.

— Подсолнечное. Запах свежий. Будто только с маслобойки...— И вдруг озабоченно: — А ты что стоишь? Присаживайся и угощайся. А то мне одному не справиться.

Я присел к столу, но есть отказался. Не успел проголодаться. К тому же еще не пришел в себя от обидного и холодного приема. Хорошо, что он сам увлекся едой и оставил меня в покое. И дал возможность хоть рассмотреть его. Вот он какой, Симонов! Ничего особенного. Худощавый, приземистый, даже сутулый. Только волосы примечательные — густые, пышные, как шапка. Да глаза бойкие, колючие и продолговатые, как у татарина. А одет не очень-то чтобы уж прилично. Заплат, как у меня, нет, но костюмчику, наверно, лет сто в субботу. И сапоги стоптанные, хоть и до блеска начищенные.

— Понимаешь, какая чепуха,— рассуждал Симонов, запихивая в рот хлеб и картошку.— До зарплаты еще три дня, а я уже выдохся. Ни копейки в кармане. А занимать не в моих правилах. Не люблю одалживаться. Все одно отдавать. И получается брешь. Вот и приходится каждый раз перед зарплатой голодать. Так и сейчас. Со вчерашнего дня ничего во рту не было. Аж самого в живот втянуло...— Управившись с одной скибкой, он вытер ладонью рот и глянул на меня потеплевшими глазами: — А ты для чего столько харчей приволок?

Я отвел взгляд.

— Это все мать. «Возьми, говорит, не ровен час... Ну, как задержат. А то и посадят...»

Симонов громко рассмеялся:

— Да кто ж тебя посадит? Да и за что? К тому же ты секретарь ячейки. Можно сказать, руководящее лицо. И без ведома моего никто с тобой ничего не сделает...— Он аккуратно завязал узелок и подал мне.— Большое спасибо! Так выручил...

Сразу все стало на свое место.

Он принялся расспрашивать меня о жизни и слушал внимательно, слегка наклонив голову. Иногда прерывал, просил повторить, поправлял неверно произнесенное слово. А когда я рассказал обо всем, взял со стола газету и протянул мне:

— Читай. Что хочешь...

Не переводя духа я прочитал первую попавшуюся заметку. Симонов одобрительно кивнул и положил передо мной чистый лист бумаги. Откинувшись на гнутую спинку стула, он полузакрыл глаза и проговорил:

— Пиши диктант. Значит, так... «Октябрьская революция принесла рабочим и беднейшему крестьянству избавление от ига самодержавия. Но она еще не завершила великого дела, ради которого свершилась. Предстоит окончательно размозжить голову гидре капитализма и построить новое, социалистическое общество...»

Я написал все, что продиктовал он, и подал бумагу. Симонов прочитал и, поморщившись, сказал:

— В общем, ничего. Но могло быть и лучше...— И снова пристально посмотрел на меня.— Теперь перейдем к политике. Какие, по-твоему, задачи стоят перед комсомолом?

Я подумал и ответил, что комсомольцам в первую очередь нужно учиться.

— Об этом даже Ленин говорил,— добавил я для убедительности.— И слово «учиться» три раза подряд повторил.

Симонов сощурил узкие глаза.

— А ты об этом откуда знаешь?

— В книжке прочитал. А книжку отец в городе купил. Ну, не отец, а отчим, а только это все равно. Такая, стало быть, задача. Учиться надо. Без учения мы все одно что неотбитая коса: сколько ни махай, косить не будет...

Спохватившись, что слишком разговорился, я закрыл рот.

Симонов улыбнулся и сказал:

— Все хорошо. Со всех сторон подходишь. А вот имя... И надо же было тебе подцепить этого Филиппа! Почему бы не Федор?

Это напомнило мне собственную историю. И я, окончательно осмелев, рассказал ее. Еще задолго до моего рождения у матери был сын. Его звали тоже Филиппом. Однажды малыш забрался на чердак и завозился там с котятами. А в это время кто-то убрал лестницу. Вылезая из слухового окна, он не заметил этого, сорвался и разбился насмерть. Мать тяжело переживала утрату своего первенца и никак не могла забыться. И вот когда я появился на свет, крестный решил помочь ей. Узнав, что по святцам имен мне положен Федор, он попросил попа заменить его на Филиппа.

— Чтобы кума Параныка не убивалась по первенцу...

Поп сначала заупрямился, но, увидав в руках крестного целковый, сдался и переделал Федора на Филиппа.

— Это меняет дело,— весело сказал Симонов.— Для меня ты не Филипп, а Федор. Не признаю сделку законной...

Мы поговорили еще несколько минут. А когда прощались, Симонов смотрел на меня так, будто мы были давнишние друзья.

— Берись смелей,— наставлял он.— И перед трудностями не пасуй. В борьбе с ними закаляется юность...

* * *

Отчим был умелым плотником. Он мастерил разные поделки. Но за шкафы никогда не брался. Для этого, кроме умения, требовался специальный инструмент. Да и нужды в таких вещах не было.

И вот он висит на стене, настоящий шкаф. Маленький, с двумя створками, тремя полочками. С крючками и внутренним замком. Висит и сверкает свежей краской. И такой аккуратный, что залюбуешься. А отчим, забив последний гвоздь, серьезно обращается ко мне:

— Без такой посудины тебе никак невозможно. Дела и бумаги на подоконнике не убережешь. Ненароком растеряются. Вот я и попробовал. И, кажись, что-то получилось.

В груди у меня разом вспыхнули радость и гордость. Радость оттого, что у меня будет свой шкафчик. А гордость за отчима. Какой он хороший! И сколько добра у него в сердце! Не удержавшись, я неловко стиснул его плечи и сказал:

— Спасибо! Ты здорово выручил меня!

Тут же я уложил на полки папку с директивами райкома комсомола, папку с протоколами собраний и бухгалтерскую книгу, на первом листе которой были старательно выписаны фамилии комсомольцев. Закрыв шкафчик на замок, я опустил ключ в карман. Нюрка, все время наблюдавшая за мной, не выдержала и язвительно заметила:

— И что он дался тебе, комсомол? Какой прок от этой забавы? Вот будешь трепаться, а слова доброго не заслужишь. Даже совсем другое заработаешь. Смеяться люди будут, поносить насмешками. Вон меня уже из-за тебя комсихой величают. А за что, спрашивается?..

С Нюркой мы не ладили. Но я не питал к сестре зла. И даже уважал ее. Она была строгой и умной. Да и на вид недурной. Светлые косы, серые глаза, розовые губы. И все прочее — хоть куда. Портил только характер. Ни за что ко всему придиралась. Иной раз так пристанет, что не отобьешься. В таких случаях я закрывал уши ладонями и не отнимал их, пока не отвязывалась. Но теперь я слушал сестру спокойно. Даже с удовольствием. Все-таки забавно было видеть ее злючкой. В такие минуты она выглядела прямо-таки красивой. Щеки пылали, глаза блестели, а темные брови разлетались, как крылья птицы. А когда она выговорилась, заметил:

— Ну, раз уж тебя комсихой величают, так вступай в комсомол. Все одно терять уже нечего...

Мое предложение возмутило Нюрку. В первые минуты она даже не в состоянии была вымолвить слова. Но потом зачастила как из пулемета:

— Да на черта он сдался, твой комсомол! Да пропади он пропадом вместе с тобой! Сквозь землю бы вам всем провалиться, нехристи проклятые! На сковородке бы вам изжариться, анчутки непутевые!..

Должно быть, она долго кляла бы нас на чем свет стоит, если бы не случилось необычайное. В хату неожиданно вошел дядя Иван Ефимович, никогда раньше не казавший к нам и глаз. Как ни в чем не бывало он пере-

шагнул порог и остановился, улыбаясь во все свое рябоватое лицо. Несколько минут мы растерянно смотрели на него, не зная, как быть и что делать. А дядя, заметив это, довольно хмыкнул и сказал:

— Не ждали? Да я и сам не собирался. Так уж получилось. Проходил мимо и решился. Когда-то надо же посмотреть, как живут родственники...

Первой оправилась от смущения мать. Схватив рассохшуюся табуретку, она поставила ее перед деверем.

— Садись, Иван Ефимович! Не побрезгуй. Мы так рады...

Иван Ефимович ногой отодвинул табуретку и подошел к отчиму. Тот чуть приподнялся и пожал протянутую руку.

— Да и дело кое-какое у меня,— продолжал дядя, усаживаясь на сундуке.— Вчерась был у Лапонина. Ну, у Петра Фомича. Сапоги он старшему сыну заказывал, вот я заказ тот и доставлял. Известное дело, самогонки выпили, разговорились. Так вот он, Петр Фомич, вами интересовался. Не то чтобы вами, а землей вашей. Надеется, и под яровые сдадите. И хочет знать точно. А потому просил переговорить. Как родственника с родственниками. Чтоб уж знать наверняка. Вот я попутно и заглянул. Как вы думаете-то? Сами будете обрабатывать или сдадите?

Отчим шумно вздохнул и глухо ответил:

— Своих силов нету. И через то сдавать будем. Другого выхода не имеется...

А мать уже суетилась на кухне. Она принесла хлеб, глиняную чашку, ложку. Но дядя остановил ее:

— Ничего не надо. Только от гостей. Да и некогда засиживаться...— И, повернувшись ко мне, одобрительно кивнул: — Слыхал, слыхал. Как же! Поздравляю. И горжусь. Племяк — секретарь комсомола. Молодец!..— В глазах его, глубоких и хитрых, сверкнули искорки.— А что делать собираешься? Чем ячейка заниматься намерена?

Я пожал плечами и откровенно признался:

— Не знаю. Не думал.

— Э! — осуждающе протянул дядя.— Так не годится. Надо думать. И задавать тон...— Он испытующе осмотрел меня.— И в порядок себя надо привести. Да, да! А то ты вон какой. На штанах живого места нет. А сапо-

ги каши просят...— И, покачав головой, добавил: — С сапогами помогу. А все другое с родителей потребуй...

Иван Ефимович был первоклассным сапожником. Ремеслу научился еще в царской армии. Случайно попал к полковому мастеру в помощники и вернулся домой специалистом. И вскоре прославился на всю округу. Но шил Иван Ефимович только богатым. Бедным его мастерство было не по кармаиу. Да, он был дорогим сапожииком. И ие любил бедноту. Всех безлошадников считал лежебоками. Сам же большого хозяйства не заводил. И управлялся с ним силами своего семейства.

Мы сидели смирно и почтительно слушали Иваиа Ефимовича. Только отчим еле заметно улыбался. Он-то, конечио, хорошо понимал дядю. Тот решился проведать нас не потому, что проходил мимо. Мало ли раиьше доводилось ему проходить по Карловке! Нет. Он явился потому, что один из племяиников удостоился уважения. Это-то и польстило гордому дяде. Меия распирала радость. Дядя гордится миой. И обещает сшить сапоги. А раз уж обещает, иаверияка сделает.

Виезапно Иваи Ефнмович оборвал себя и встал.

— Засиделся я у вас, а дома делов пропасть.— И снова задержал взгляд на мие.— А ты прииосн сапоги. Сам занят будешь, с Дениской пришли. Хочь завтра...— И вышел, ие простившись. За ним последовали мать и отчим.

А мы долго еще молчали, пораженные случившимся. Денис восхищенно цокнул языком и сказал:

— Вона как! Даже дядя стал знаться. А все из-за тебя, Хвиля. Что ты секретарь.

— Тоже мне секретарь! — преиебрежительно процедила Нюрка.— Недотепой был, недотепой и остался. А дядя решил зиаться, может, из-за меия.

— Нужна ты ему, как горькая редька,— съехидничал Деиис.— Да он на тебя даже не гляиул.

— Зато на тебя все время глаза пялил,— огрызнулась Нюрка.— На племяка-сопляка. Ха-ха!

Обижеиный Денис дернул Нюрку за косу. Та залепила ему оплеуху. Деиис ахнул и бросился на сестру с кулаками. Нюрка в свою очередь вцепилась ему в волосы. И началась потасовка.

Еле удалось разнять их. Результаты для обоих оказались неутешнтельными. Лицо Дениса было поцарапа-

но, а на плече Нюрки виднелись следы зубов. Но ни мать, ни отчим, вернувшись в хату, ничего не заметили. А не заметили потому, что были необычно озабочены. Они долго сидели молча, словно собираясь с мыслями. Потом отчим поднял на меня виноватые глаза и сказал:

— Вот такое дело, Хвиля. Лапонин дяде про наш должок намекнул. И велел отработать. А дядя советует не заноситься...

Я перевел взгляд на мать. Она сильно ссутулилась. Будто на плечи легла непомерная тяжесть. А загрубелые руки на коленях нервно перебирали пальцами. Почувствовав мой взгляд, она с трудом разогнулась, и потрескавшиеся губы ее дрогнули.

— Что ж делать, сынок? Силов-то у нас нет. И денег тоже никаких. Вот и придется смириться. Иначе не выпутаться из долга...

Я ничего не ответил и вышел. Да и что можно было ответить? Их устами говорила нужда.

* * *

Во дворе было светло и весело. Заходящее солнце заливало его теплыми лучами. Белогрудые ласточки вдоль и поперек носились над ним. В прозрачном воздухе разливалось их звонкое щебетание.

Я присел на завалинке. Прислонился спиной к стене хаты. И представил себе будущее. Оно показалось безрадостным. А душа до краев наполнилась горечью. Нет, я не упрекал мать и отчима. Правда, они могли подумать обо мне по-другому. И принять в расчет, что я был избран руководителем. И таким, с которым считались не только комсомольцы, а и взрослые. Но все же винить их за это нельзя было. Для них заботы о семье были дороже всего. А желание выпутаться из долга туманило сознание. Нет, я не обижался на них. Нужда была всему причиной. Она не выпускала нас из своих объятий. И я проклинал ее.

Но что же теперь будет? Ребята наверняка взбунтуются. Они не снесут такого позора. И с треском снимут меня. Может, даже вышвырнут из комсомола? Да, некоторые из них батрачили и комсомольцами. Та же Маша Чумакова. Все прошлое лето гнула спину на тех же

Лапониных. Уж я-то знаю об этом. Рядом с ней потел на лапонинских угодиях. А теперь она будет против меня. И, как другие, беспощадно осудит. Осудит за оскорбление ячейки. Я же был секретарем, а не рядовым комсомольцем. И спрос с меня больший, чем с рядового.

Из хаты вышел Денис. Подошел ко мне. Потоптался босыми, усыпанными цыпками ногами. И сказал, сверкнув глазами:

— А знаешь, я нынче коршуна чуть не подстрелил. Нет, правда. Камнем из рогатки. Такой настырный оказался. На глазах с неба сорвался. Схватил цыпленка и понес. Я камень в резинку. Прицелился. И как пульнул! Прямо в брюхо ему. Он аж перекувыркнулся в воздухе. Выпустил цыпленка — и деру.

— А цыпленок? — спросил я, приняв рассказ брата за выдумку.— Он что ж, к наседке побежал?

— Что ты! — сказал Денис.— Разбился вдребезги. С какой высоты упал-то. А может, в когтях коршуна уже задохся?

— А где ж он теперь, этот цыпленок?

— Я закопал его в землю,— сказал Денис.— За сараем. Честь по чести похоронил. Как невинную жертву...— И вдруг весь как-то нахохлился, будто сам был цыпленком.— А может, ты не веришь? Может, думаешь: сочиняю?

— Да нет,— сказал я, не желая огорчать его.— Почему ж не верить? Ты же врать не умеешь?

Денис озадаченно посмотрел на меня, не зная, как понять мой ответ. Потом метнул глазами по сторонам. И, заметив на завалинке кусочек мела, подхватил его.

— А вот смотри! — проговорил он с торжествующей ноткой, словно не сомневался в победе.— Сейчас я покажу тебе. И ты убедишься.

Он кинулся к амбару, стоявшему шагах в сорока напротив хаты. Мелом начертил на двери небольшой кружок. И бегом вернулся ко мне.

— Вот смотри! — повторил он.— Попаду в самый кружок.

С этими словами он достал из-под картуза рогатку. Вложил в резинку кусочек мела. И, прицелившись, пустил его. И в самом деле угодил в кружок. Ясно виднелась отметка почти в центре.

— Видишь?

Я похвалил его. Но сделал это без порыва. Тяжелые думы мешали оценить умелость брата. Он заметил это. Спрятал под картуз рогатку. И, примостившись на заваликe, озабоченно посмотрел на меня.

— Ты что такой, Хвиля? К Лапониным не хочется? Да?

— Да,— подтвердил я.— Не хочется.

Денис шумно вздохнул. И, помолчав, сказал:

— Я понимаю. Они ж такие жлобы...— И вдруг подался ко мне: — А знаешь что? Давай так. Договорись, чтобы я подменял тебя. Когда тебе нужно в ячейку.— И горячо добавил: — Можешь передать: работать буду по совести. С тобой, понятно, не сравняюсь. А тому же Мине не уступлю. Договорись, чтоб отпускали тебя по делам. А меня в то время взамен принимали.— И поморщился, точно ему стало тошно.— Охоты тратить на них силы, понятно, нету. О том и толковать нечего. А и без охоты пойду. Чтобы тебя выручить. За тебя буду работать. За тебя я на все готов.

Я обнял его. Притянул к себе. И с чувством сказал:

— Спасибо, Дениска! Спасибо, брат! Но тебе не придется на них работать.

— Почему? — с горячностью возразил Денис.— Я ж согласен. И буду стараться. Чтобы только тебя отпустили. Когда надо будет в ячейку.

Глаза его горели. Голос вздрагивал. Он готов был ради меня пожертвовать собой. Но радовало меня другое. Ему не придется жертвовать собой. Даже ради самых близких. Он не будет работать на кулаков. Да и я сам не буду. Только это лето. Последнее лето в своей жизни. И я сказал Денису:

— Одного твоего согласия мало. Они на это не согласятся. Даже если ты будешь работать лучше меня. Им нужна не только моя работа. Им нужно еще и унизить меня. Поиздеваться надо мной. Перед товарищами опорочить. Вот еще что им нужно. И они не пойдут ни на какую подмену.

Денис снова вздохнул. Насупил тёмные брови. И серьезно сказал:

— Вот ежели б мне дозволили. Я бы их враз укокошил. Кремнями из рогатки.

— Нельзя, брат! — сказал я.— Мы же не бандиты. Не полагается.

— То-то что нельзя,— сокрушенно сказал Денис.— Им можно. Все что захотят. А нам не полагается. Вот то-то и обидно.— И вдруг улыбнулся, словно стараясь приободрить меня.— А ты не горюй, Хвиля! Как-нибудь отработай лето. А там будешь вольный. Как ветер. Куда захочешь, туда и подуешь. И они уж тебе не помешают, кулаки...

* * *

Еще не вставало солнце, а лошади на лапонинском дворе уже были запряжены. У подвод суетились сам Петр Фомич и его сыновья Демьян, или Дема, и Михаил, а больше Миня. Я поздоровался. Дема и Миня глянули на меня с открытой враждой. И не ответили. Зато Петр Фомич протянул руку. От растерянности я торопливо пожал ее. И весь вспыхнул от стыда.

— Значитца, согласен работать лето?

— У нас нет другого выхода.

— Хорошо,— сказал Лапонин.— Поедешь с ними пахать,— и небрежно кивнул в сторону сыновей.— А сейчас иди завтракать.

Я сказал, что уже позавтракал. И в самом деле, перед уходом мать дала мне кусок хлеба и кружку молока. Лапонин довольно кивнул.

— Хорошо,— повторил он.— Жить — где пожелаешь. Хочь у нас, хочь дома. По воскресеньям и церковным праздникам не работаем.

— А по другим праздникам как?

— По каким это другим?

— По революционным?

— Революционных праздников не признаем.

— Тогда будем считать, что не сошлись,— заявил я.— По революционным не работаем.

Я повернулся и направился к калитке. Но раньше чем вышел за ворота, услышал позади сердитый окрик:

— Эй ты! Погоди-ка!

Я вернулся. Остановился перед Лапониным. Он смерил меня злым взглядом. И раздраженно спросил:

— Какие такие у вас там летом эти революционные праздники? И сколько их всех будет?

Я напряг память. Но вспомнил только Майские дни. И сказал, стараясь казаться уверенным:

— Первое и второе мая. И другие, какие будут объявлены по ходу жизни. А сколько всего наберется, заранее сказать не могу.

Губы Лапонина, заросшие прокуренной щетиной, скривились в презрительной усмешке.

— По революционным праздникам вы, значитца, лодырничаете?

Я сердито произнес:

— Поосторожней, гражданин Лапонин! По революционным праздникам мы не лодырничаем, а митингуем. И сплачиваем ряды для борьбы с вами, кулаками.

Лапонин весь затрясся от гнева. Даже поднял кулаки, точно собираясь наброситься на меня. Но тут же опустил их. И процедил сквозь желтые зубы:

— Ладно, черт с тобой! Митингуй по революционным. А сейчас марш на подводу! — И грозно сыновьям: — И вы тоже марш! Пахать без огрехов. Шкуру спущу...

Я сел на подводу и тронулся со двора следом за Миней. В воротах опустил глаза, когда Лапонин лошадей и меня осенил крестным знамением. И с горечью подумал, что сказали бы ребята, если бы увидели это, и кого вместо меня выбрали бы секретарем.

По улице ехали скорым шагом. Она оживала на глазах. Слышались выкрики мужиков и баб. Из ворот выкатывались телеги с сохами и боронами. Стук колес и ржание лошадей будоражили тишину.

У колупаевской пятистенки Дема круто свернул в переулок. За ним свернул свою пару и Миня. Я увидел его хмурое, заспанное лицо. В свою очередь он глянул на меня и злорадно усмехнулся. Как видно, уже придумал что-то, чтобы отплатить мне за издевку над ним.

А произошло это прошлым летом на базаре в городе. Мы с отчимом пригнали туда двух овечек и барана. Надо было продать их, чтобы подкупить хлеба, которого не хватало до нового урожая.

Я долго стоял возле связанных овец и угрюмо рассматривал сновавших взад и вперед людей. А всклокоченный отчим топтался рядом и, протягивая перед собой руки, кричал:

— Овечки продаются! Почти что даром даются! Чистокровные, курдючные! Подходи, наваливайся!..

Но никто не наваливался. Я проклинал в душе шум-

ный и бестолковый базар. Очень хотелось есть. Харчи кончились еще в дороге. Последние двадцать копеек отдали на постоялом дворе. Все надежды были на этих бессловесных овец. Но их никто не покупал.

Лавируя между людьми, в толпе показался босоногий подросток с ведром в руке и звонко прокричал:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-ной!

Бородатый мужик у расписной брички подозвал мальчугана и подставил кувшин. Подросток влил в него несколько кружек, получил деньги и ринулся дальше, радостно вопя:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-но-ой!

Голову осенила отчаянная мысль. Не раздумывая, я догнал парня и спросил, где он берет воду. Тот показал на водокачку, возвышавшуюся над площадью.

— Силантьич отпускает...

В дверях водокачки сидел седобородый старик с желтым лицом. Он недоверчиво оглядел меня и вынес из башни пустое ведро.

— Что в залог?

Я смущенно замялся:

— У меня ничего нет, дедушка.

— Скидывай пиджак...

Я снял пиджак. Старик скомкал его и бросил за дверь. Только после этого он протянул мне ведро.

— Кружка — копейка. Ведерко — сорок кружек. Выручку пополам...

Я подставил ведро под кран, торчавший из кирпичной стены. Старик скрылся в башне, и тотчас сморщенное лицо его показалось в окошке.

— Держи...

Вода лилась светлой струей. Скоро она превратится в звонкие монеты. А потом — в мягкий, вкусный хлеб. А может, и в обрезки колбасы.

Когда ведро наполнилось доверху, старик подал жестяную кружку.

— Не вертайся, покуда не продашь...

Голод — не родной брат. Он заставит делать все. Так заставил он меня носиться по базару и кричать умоляющим голосом:

— Во-от ко-му во-ды хо-ло-од-но-ой!

Но люди как на грех не хотели пить. День только начинался. Да и был он не жарким. Я таскал тяжелое вед-

ро по площади, густо забитой народом, и с каждой минутой убеждался, что вода не принесет счастья. Еле-еле продал пять кружек и пал духом. И уже собирался завернуть к водокачке, чтобы отдать ведро, как вдруг услышал знакомый голос. Обернувшись, увидел Миню Лапонина. Тот стоял у своей подводы и махал рукой. Хотелось юркнуть в толпу, но желание хоть что-нибудь заработать пересилило честолюбие. Да и перед кем было стесняться? Перед каким-то Миней, которого в селе ни в грош не ставят? И я решительно направился к лапонинскому возку.

Миня выглядел нарядным, будто был в церкви, а не на базаре. На ногах ладно сидели новые сапоги. На голенища напуском свисали суконные штаны. Под распахнутым пиджаком видна была розовая рубаха. И только лицо оставалось прежним — бугристым и прыщеватым, за что Миню дразнили Прыщом.

Когда я подошел, Миня расплылся в оторопелой усмешке.

— Хвиляка! — воскликнул он и сдвинул на затылок бархатный картуз с лакированным козырьком.— Ух ты ж оказия! И давно водичкой торгуешь?

Я опустил ведро и, не ответив, в свою очередь спросил:

— Чего хотел, Прыщ?

— А ничего,— сморщился Миня.— Ну и учудил. Скажи кому — смехота!

Никогда прежде не было так противно сытое, усыпанное прыщами лицо Мини. Так и хотелось съездить ему по роже, чтобы сбить ядовитую усмешку. Но я сдержался и, подавив злость, сказал:

— Окликнул, чтобы побалагурить? Если так, то бывай! Некогда зубоскалить.

Но Миня остановил меня:

— Почем кружка? Хочу пить. Сала наелся. Одну кружечку.

— Десять копеек,— отрезал я.

— Десять? — возмутился Прыщ.— Другим же — по копейке?

— Другим — по копейке, а тебе по десять. Берешь, что ли?

Миня вынул кошелек и принялся перебирать монеты. На толстых губах его блуждала загадочная улыбка,

Я насторожился. Не иначе, что-то задумал Прыщ. Просто так у него снега среди зимы не выпросишь.

Миня подал два пятака.

— А ну, налей. Выпьем за твою торговлю. Только лей полней. Не жалей.

Я взял деньги и зачерпнул кружку воды.

— Не захлебнись...

Миня сделал глоток и вдруг выплеснул воду мне в лицо.

— Вот тебе! — заржал он.— Не будешь драть по гривеннику, раз цена копейка...

Я вытерся рукавом рубахи, поднял ведро и с головы до ног окатил Миню водой. Тот завизжал, как резаный кабан, и шарахнулся в сторону.

— Рашпиленок! Погоди ж ты!..

С тех пор, когда встречались, Прыщ грозил мне кулаком. Погрозил и теперь. Только на этот раз погрозил с нескрываемым злорадством, будто удобное для мести время уже настало.

* * *

На загонку приехали, когда на горизонте показался огненный ободок солнца.

Пахать стали вкруговую с отвалом внутрь загона. Впереди за плугом шел Дема. У него были самые справные лошади.

За Демой гнал свою пару Миня. И у него лошади были крепкие, сытые. Но он то и дело гнусаво понукал их. И, долговязый, неуклюжий, вилял в борозде, ленясь поддерживать плуг на руках.

Я пахал последним. Мои лошади тоже тянули ровно и дружно. Новый, хорошо налаженный плуг двигался устойчиво. Но за спиной у меня шла еще и третьячка, запряженная в борону. Кобыленка только приучалась к работе. Она держалась неспокойно, громко фыркала, тыкалась мордой мне в спину, иногда натягивала повод, опоясывавший меня, и чуть ли не отрывала от плуга. Я уговаривал ее не капризничать, сердито покрикивал, даже взмахивал кнутом. Но она не слушалась и продолжала фокусничать. И мешала мне работать.

«Вот гады,— со злостью думал я о братьях Лапониных.— Навязали мне эту чертячку. А у самих кишка тон-

ка с ней возиться. После обеда запротестую. Вторую половину дня пусть кто-нибудь из них боронует. По очереди будем мучиться...»

А солнце с каждой минутой поднималось выше и выше. И воздух, накаляемый лучами, становился густым, душным. Рубашка на спине взмокла и прилипла к телу. Я сбросил ее на обочине и пошел до пояса раздетым. Но третьячка не могла сбросить с себя кожу с густой шерстью. И капризы ее чуть ли не с каждым шагом возрастали. Она внезапно подпрыгивала, бросалась в сторону, пятилась назад. Я чуть не сбивался с ног. Тонкий повод больно врезался в голое тело. Ругательства сами собой вырывались из груди. Все же я цедил их сквозь зубы. Не хотелось, чтобы Миня, за которым я шел, услышал. Это бы доставило ему удовольствие. И громко, будто на радостях, время от времени покрикивал на своих послушных коняг:

—Но-о, по-ош-ли, но-о! Тя-ни, не ле-ни-ись, ми-лы-е!..

В полдень Дема и Миня вывели своих лошадей из борозды. Я хотел было последовать их примеру, но старший брат остановил меня:

— А ты пропаши ишо три круга. Твои ишо не пристали.

Я возмутился. Ничего себе, не пристали!

— Да они ж все мокрые. А в пахах — белая пена.

Но Дема повелительным жестом прервал меня.

— Делать, как велять! — рявкнул он.— А не хочешь, можешь убираться на все четыре. Не держим...

Пришлось подчиниться. А что было делать? Они хозяева, я работник. Их дело приказывать, мое выполнять. Такова была жизнь. И даже комсомольский билет, который до того казался мне могучим, не высвобождал меня из ярма. Когда же все-таки восторжествует справедливость?

В поле было немноголюдно. Лишь кое-где мужики ковыряли сохами пырейную землю. А поблизости от нас — и совсем никого. Я радовался этому. Не хотелось попадаться на глаза ребятам. Что сказали бы они, увидев меня за кулацким плугом? Хотя что в этом позорного? Резали же мы с Машей прошлым летом у Лапониных подсолнух? А ведь она уже была комсомолкой. Верно, я не только комсомолец, а и секретарь ячейки, но что же делать? По нужде, а не по охоте приходится батрачить.

Обойдя третий круг, я выпряг лошадей и подвел их к телеге. На ней был приготовлен овес. Дема и Миня лежали в тени под своей телегой. Они уже крепко спали. Кто-то из них звонко захлебывался храпом. На грязном мешке я увидел ломоть черствого хлеба и кусок ржавого сала. Хлеб отдавал прогорклостью, а сало было нелегко разгрызть. Я с усилием двигал челюстями и все же проглатывал его неразжеванным.

Заморив голод, я отошел в сторону и прилег на траву. Какие же поганые люди эти Лапонины. Работать заставляют за двоих, а накормить скупятся. Как же можно жить в ладу и согласии с такими тварями?

* * *

Удар в бок разбудил меня.

— Хватит прохлаждаться,— проворчал Дема, зло хмурясь.— Пора вести лошадей на водопой...

Тело разламывала усталость. Почему-то кружилась голова. Но я превозмог все и встал. И хотел было сесть на вороную, на которой работал. Но Дема предложил вести третьячку.

— А лошадей мы поведем сами...

По толстым, жирным губам Прыща скользнула злорадная усмешка. В такую жару на кобылешку небезопасно было садиться. И в самом деле третьячка встретила меня настороженно. Она словно догадывалась, какая неприятность ждет ее. Настороженно держалась она еще и потому, что видела, как все дальше и дальше удалялись лошади, с которыми никогда не расставалась.

Взнуздав и растреножив кобылешку, я вскочил ей на спину. От неожиданности она взвилась на дыбы и прыгнула вперед. Я рванул повода и так осадил ее, что сам чуть было не перелетел через ее голову. Но третьячка и не думала сдаваться. Внезапно она грохнулась на землю и повалилась на спину. Я едва отскочил в сторону. Но не успела она встать, как я уже снова сидел на ней. Удар путом потряс ее. Она рванулась галопом, фыркая и раздувая ноздри. Я держался за гриву и хлестал ее путом:

— Вот тебе, дрянь! Ты у меня запляшешь! И запросишь пощады!..

А Дема и Миня, круто свернув влево, рысью погнали лошадей к балочке, заросшей мелколесьем. И до чего же коварные эти братья Лапонины! Хотят, чтобы третьячка сбросила меня под деревьями? А только не дождаться им этого. Не на того напали. Я не доставлю им удовольствия поиздеваться надо мной. Однако, натянув повода, я почувствовал страх. Третьячка закусила удила. И, сгибая шею, продолжала скакать во весь опор. Карий глаз ее косил и, казалось, подтрунивал над седоком. Я снова что есть силы рванул повода на себя. Кобыленка лишь круче выгнула шею и еще быстрей помчалась по степи. Она крепко держала в зубах стальные мундштуки и не собиралась выпускать их. Что было делать? Спрыгнуть на землю? Но на таком скаку не мудрено разбиться вдребезги.

Между тем Дема и Миня уже спускались в яружку. Это окончательно взбудоражило кобыленку. Она дико заржала и еще пуще понеслась к зарослям. И со всего разбега шарахнулась в них. Я сильнее прижался к ней, крепче обнял ее за шею. Лицо спрятал в гриву. Только бы не задело суком. Только бы не сбросило.

А третьячка, словно взбесившись, носилась по кустам, бросалась в самую чащу. Под низкорослыми деревьями коленки мои больно ударялись о корявые стволы. В боярышниковых зарослях иголками зацарапало по спине. Чем-то стукнуло по голове, и я чуть было не слетел. Схватившись за повода, я натянул их. Третьячка прыгнула и осела. Оказывается, она выпустила удила, испуганно заржав, когда лошади скрылись с глаз. А я-то не догадался об этом и подверг себя страшному испытанию. Весь дрожа от ярости, я рвал рот лошаденке стальными мундштуками.

— Сатанинское отродье! Я научу тебя, как держаться с человеком.

Третьячка скоро затихла и остановилась. Я спрыгнул на землю, сбросил повода с ее шеи. Хотелось надавать ей, но я подавил это желание. Сейчас лучше всего приласкать ее, успокоить. Я протянул к ней руку.

— Ну, ну, не бойся! — сказал я, когда кобыленка попятилась назад.— Не трону, дурашка! Мы с тобой не виноваты. Это они, наши хозяева, подстроили. Им надо было меня искалечить...

Я погладил ее лоб. Третьячка опустила голову и лизнула мою руку. Крутые бока ее все еще ходили ходуном. Но она все же успокаивалась.

Намотав повод на руку, я повел кобыленку по косогору. И скоро присоединился к Мине и Деме, поджидавшим в низине.

— Где застрял? — хмуро спросил старший Лапонин, сделав вид, что ничего не замечает.— Ждать заставляешь...

А Миня взирал с угрюмой злобой. Прыщ был уверен, что третьячка изувечит меня, и досадовал, что ошибся.

— Потрепала, видать, секлетаря кобыленка? — наконец осклабился он.— А я аж испужался. Лишится, думаю, комса головы...

Взобравшись на третьячку, я поехал за ними. Вскоре впереди блеснула Потудань. Лошади, завидев воду, ускорили шаг. Ускорила шаг и третьячка. Но я осадил ее и заставил идти спокойно. Она неторопливо вошла в речку, пила жадно. Несколько раз отрывалась от воды, косила на меня глазом и снова пила. Я ловил на себе удивленный взгляд Демы, который редко чему удивлялся, и чувствовал в душе радость.

* * *

После водопоя я заявил, что больше не возьму третьячку.

— Полдня промучился, и хватит,— сказал я.— Теперь берите вы кто-нибудь. Бороновать будем по очереди. Чтобы по справедливости...

Мордатое лицо Демы покрылось бурыми пятнами. Он сунул под нос мне огромный кулачище. И, скрежетнув зубами, сказал:

— А вот эту справедливость не нюхал? — И злобно скривился.— Ишь чего захотел! Мало тебе, что по вашей справедливости мы сами в одном хомуте с тобой ишачим. Ежели по настоящей справедливости, так вы, голытьба, должны работать, а мы, хозяева, кнутом вас подстегивать.

Во мне тоже закипела злость. И я, также скрипнув зубами, сказал:

— Такой справедливости больше не будет. Не дождетесь. Скоро вам самим, без батраков, придется все де-

лать. Прошли те времена, когда вы сосали из нас кровь. И никогда уж больше не вернутся. Не надейтесь.

Дема тупо смотрел на меня. Толстая шея его выгнулась, как у быка. Кулаки побелели. Казалось, сейчас он одним ударом уложит меня на землю. Но он все же удержал себя. И прохрипел, готовый задохнуться:

— Ладно. Увидим, чья возьмет. А чичас запрягай и бери кобыленку. Хватит преть. Тут тебе не ячейка.

Но я решительно отказался:

— Пахать буду, а бороновать нет. Теперь ваша очередь. Сам бери кобыленку. Или Мине пристегни. Ваша очередь с ней мучиться.

Миня тоже подступил ко мне. Замахал перед лицом кулаками.

— Ты чего воображаешь, секлетарь? — загнусавил он.— Мы ж тебя мигом изуродуем. Мамка родная не узнает.

— Попробуйте,— спокойно отпарировал я.— Только троньте. Враз в каталажке очутитесь. И может, никогда домой не вернетесь.

Мои слова, видно, отрезвили их. С минуту они злобно смотрели на меня. Потом Дема прорычал:

— Тоды вон отсюдова! И чтобы духу твоего тута не было!

Я швырнул кнут на телегу. И равнодушно сказал:

— Хорошо. Уйду. Но больше не ждите. И долг не получите. Дудки. Не захотели, чтобы отработал, так и не получите. Считайте, что мы с вами квиты!

Подхватив пиджак, я побрел туда, где, будто зарытые наполовину в землю, золотом сверкали на солнце кресты колокольни. Вспомнились слова матери. Со слезами провожая меня к Лапониным, она просила смириться, потерпеть.

— Помоги выпутаться из кабалы,— просила она, умоляюще глядя на меня.— Умерь гордость и выручи семью...

Было тяжело на душе. Но я шел через степь. Шел прямо на сверкавшие кресты. И слезы матери не могли остановить меня. Я согласился умерить гордость. Но унижение снести был не в силах.

Когда я отошел далеко, позади послышались частые шаги. Это был Миня. Тяжело дыша, он схватил меня за плечо. И противно прогнусавил:

— Вертайся. Демка просит. Согласны по очереди скородить...

Это была победа. Но она не радовала. Уж лучше бы они не остановили. Как-нибудь мы освободились бы от долга. И мать бы со временем успокоилась. Зато я был бы свободен. И не испытывал бы не только физическую, а и душевную муку.

И я снова шел за плугом. Все так же, как прежде. Только без третьячки в бороне. Ее привязал к себе Дема. За ним она шла более послушно. Словно знала его свирепый нрав. А между нами, навалившись на плуг, вилял своим задом долговязый Миня. Вот бы на него надеть повод кобыленки. На первом же кругу захныкал бы Прыщ. Кулачонок любил загребать жар чужими руками. Сам же на расправу был жидок. И даже перед пустяковыми трудностями не стеснялся хлюпать, как желторотый ублюдок. До чего же ненавистен он был мне, этот Миня.

Голод нудно сосал под ложечкой. Но руки крепко держали плуг. Весело перевертывался подрезанный лемехом лоснящийся пласт чернозема. Чья это была десятина? Какого безлошадника? И сколько их будет, таких десятин? Все до одной мы засеем пшеницей и рожью. Осенью соберем с половины этой земли урожай и свезем в лапонинские амбары. А из амбаров хлеб этот будет продан тем же беднякам. Только втридорога. Да, так оно и будет. И все же добывать эти бедняцкие деньги теперь им приходилось куда трудней, чем раньше. Раньше только батраки, обливаясь по́том, работали на их лошадях. Теперь же и самим приходится лямку тянуть. Значит, не все теперь можно было делать чужими руками.

* * *

Но мне недолго пришлось работать у Лапониных. Однажды в поле появилась знакомая фигура. Это был Симонов. И держал стопы он не куда-нибудь, а прямо к нам.

Я развернулся в конце загона и остановил лошадей. Хотелось, чтобы Дема, пахавший впереди, ушел подальше. Но тот тоже остановился. И, прислонившись спиной к ручке плуга, принялся свертывать цигарку. Это не сули-

ло ничего хорошего, и я бросился было навстречу Симонову.

— Не сметь без спросу! — грозно крикнул Дема.— Не у себя дома...

Размахивая парусиновым портфелем, Симонов подошел ко мне и рукавом вытер пот со лба.

— Это что ж такое, а? — сказал он, не поздоровавшись.— Секретарь ячейки — и батрачит у кулака. Как же ты решился на это? Да знаешь ли ты, что у всего Ленинского комсомола уши горят от стыда за тебя?

Дема медленно приблизился к нам и мрачным взглядом смерил Симонова с головы до ног.

— Ты кто такой? И какое имеешь право соваться?

В свою очередь Симонов пренебрежительно оглядел Дему.

— А ты кто такой, чтобы соваться в чужой разговор?

Дема сжал кулаки и выгнул багровую шею.

— Я тут хозяин. И не позволю проходимцу...

— Осторожней на поворотах. А то брякнешься, хозяин.

Дема шагнул к Симонову:

— А ну, проваливай...—Он матерно выругался.— А то дам в зубы...

Я стал рядом с Симоновым. Глаза Демы полезли на лоб. Но тотчас снова спрятались в глазницах, закрылись припухлыми веками. Обернувшись к телеге, он вдруг заорал:

— Ми-инь-ка!

Будто оглушенный, из-за телеги выскочил Миня. Спросонья ошалело уставился на нас.

— Топор! — крикнул Дема.— Я их... в душу мать! В землю закопаю. Никакая гпыу не отыщет...

Я со страхом смотрел на Дему. Мускулы на волосатых руках у него бугрились. Темное лицо перекашивалось в злобе. Он рывком вырвал из рук трясущегося Мини топор и поднял над собой:

— Вот я вас!..

В ту же минуту Симонов вынул браунинг и направил его на Дему.

— А ну, подходи, гад! Попробуй, кулацкая морда! Посмотрим, кто кого закопает!

Сразу побелевший Дема опустил топор.

— То-то! — усмехнулся Симонов, пряча пистолет.—

Молодец на овец. Сволочи! Подождите, мы вам покажем...— И приказал мне: — Пошли, Касаткин. Теперь-то уж тебе нечего тут делать...

Я подобрал на обочине пиджак и побежал за Симоновым. Он шел скорым шагом, широко размахивая портфелем. Долго молчал, будто обдумывал случившееся. А потом с гневом сказал:

— Кровососы! Когда только мы избавимся от них? — И, повернувшись ко мне, заметил: — Своим поступком ты оскорбил Ленина...

Его слова будто громом поразили меня.

— Как Ленина? Почему Ленина?

— Ленин ненавидел кулаков, — продолжал Симонов.— И считал их злейшими врагами советской власти. Он наказывал не примиряться с ними, а вести против них неустанную, беспощадную борьбу. Понимаешь? А ты пошел в услужение к кулаку. Ты, комсомолец, вожак Ленинского комсомола! Да это оскорбление Ильича!..

Оскорбить Ленина! Это уж действительно слишком. И как же я сам-то не подумал об этом? Но что было делать? Ведь семья в долгах у этого Лапонина. А кто ж их отработает? Мать? Старый отчим? А выплатить нечем. Как же быть?

Заметив мое понурое настроение, Симонов успокаивающе сказал:

— Не падай духом. И не теряй классовое чутье. А сейчас идем домой. Сам переговорю с родителями и постараюсь убедить их...

* * *

Мать очень боялась начальства. Испугалась она и Симонова. А когда узнала, что случилось, расплакалась.

— И что же нам теперича делать? Чем расплатиться с Лапониным?

— А ничем не расплачивайтесь,— посоветовал Симонов.— Вы ничего не должны ему. Конечно,— подтвердил он, когда мать растерянно глянула на него.— Он и так слишком много драл с бедняков. Хватит эксплуатации.

— Да он же нас к ответу потянет,— снова запричитала мать.— Судом засудит.

— Пусть только попробует,— сказал Симонов.— Мы его самого скоро засудим. Хватит этому кулачью измываться.

— А ты не убивайся, Парания,— ласково обратился отчим к матери.— Товарищ правду сказывает. Мало ли силов ты на них положила? И ежели по совести, то не ты, а они тебе должны... А Хвиле и впрямь негоже у них работать. Как-никак, а все же выборное лицо.

Меня обрадовало заступничество отчима. Все что угодно, только не работа у Лапониных. После того, что случилось, они угробили бы меня. А кроме того, не мог же я и дальше оскорблять Ленина. Но я ничем не выказал своих чувств.

А Симонов изо всех сил старался успокоить мать и отчима. Их сыну оказано большое доверие. Оправдать его надлежит с честью. Что же касается оплаты за труд... В нашем обществе всякая работа должна оплачиваться. Со временем будет оплачена и работа секретаря комсомольской ячейки.

— Я вот как раз собираюсь переговорить об этом в вашем сельсовете,— говорил Симонов.— Чтобы подыскали ему что-либо платное по совместительству. У нас многие секретари разные работы совмещают...

Мать вызвалась покормить нас. Мой острый кадык сразу же задвигался вверх и вниз. Симонов тоже признался, что голоден не меньше бродячей собаки. Мать рассмеялась его откровенности и ушла на кухню. Тут же она зачем-то позвала и отчима. А мы остались в горнице и продолжали разговор.

Внезапно взгляд Симонова остановился на шкафчике, висевшем на стене. Он спросил, что там хранится. И когда я сказал, что держу в нем ячейковые дела, весь просиял.

— Вот это здорово! — воскликнул он, остановившись у стены.— Пример, достойный подражания! — Он подергал за ручку. И, убедившись, что шкафчик закрыт, попросил: — А ну, открой. Хочу полюбоваться.

Я открыл дверки. Симонов осмотрел полочки. Широко улыбнулся. И взял папку с протоколами. Папку эту я смастерил из обложки евангелия от Луки. Выдрал из нее листы с россказнями апостола. Название заклеил тетрадочным листом. И красивыми буквами нарисовал:

Знаменская ячейка ВЛКСМ

Дело № 1

Протоколы собраний

Но Симонов, конечно, не догадался, что это были евангельские обложки. И, усевшись за стол, принялся изучать содержимое папки. Перечитывая Прошкины сочинения, вдруг остановился. Ткнул пальцем в чернильную кляксу. И сердито сказал:

— А это что такое? Как можно так обращаться с документами?

Я сказал, что это сделано еще до моего комсомольского рождения. Симонов посмотрел на дату протокола и рассмеялся.

— Да! — сказал он.— Это было год назад. Когда ты ходил в безыдейных портках.

И быстро перелистал страницы. А когда дошел до моего творчества, довольно ухмыльнулся. И принялся читать все подряд. Понравились и почерк и изложение.

Но он все же обнаружил и недостатки. В протоколах не указывалось, кто докладывал. И потому нельзя было установить активность комсомольцев. На решениях не было пометок об их выполнении.

— Организованность начинается с малого,— наставительно говорил он, закрывая папку.— С аккуратного ведения протоколов. С отметок об исполнении решений. Привыкнешь быть аккуратным в мелочах — не оплошаешь и в большом.

В другой евангельской обложке апостола Матвея, конечно также заклеенного, покоились директивы вышестоящих органов. Это были главным образом бумаги, написанные и подписанные Симоновым. И в Прошкино и уже в мое время они были подшиты и пронумерованы. На бумагах, полученных мною, были и пометки о том, что сделано. Симонов с похвалой отозвался и об этом. И повторил, что правильное ведение комсомольского хозяйства — залог успеха во внутрисоюзной работе.

— Некоторые наши руководители недооценивают оргвопросы,— поучал он меня.— Для них главное — работа с массами. Понятно, с массами надо работать. И работать систематически. Но работа эта будет тем успешней, если ячейка будет сплочена и организованна. Если она будет представлять из себя единый, ударный кулак, направленный против старого, отживающего мира. А таким ударным кулаком она будет при условии, если внутрисоюзная работа в ней будет на высоте. Потому что

именно внутрисоюзная работа цементирует наши ряды, сплачивает в единый, непобедимый монолит.

Я не знал, что такое монолит. Но спросить не успел. Мать принесла чашку борща. Положила перед каждым из нас ложки, по краюхе хлеба и сказала:

— Кушайте, пожалуйста! На здоровьице!

Мы дружно принялись за еду и в какую-нибудь минуту разделались с борщом. Тогда мать положила в чашку пшенной каши, помяла ложкой и полила молоком. И, поставив чашку на стол, опять произнесла:

— Кушайте, ребятки! Набирайтесь силушки...

И с кашей мы расправились в два счета. И разом блаженно отвалились назад. Симонов горячо поблагодарил мать за обед.

— Наелся по самую макушку,— признался он.— Давно так не наедался.

Я тоже впервые за несколько дней почувствовал себя сытым и еще раз про себя поблагодарил Симонова за выручку. А тот принялся уверять мать и снова появившегося в горнице отчима, что жизнь скоро изменится к лучшему и что бедняки в самое ближайшее время получат от государства необходимую помощь.

— Да, да! — восклицал он так, как будто государственная помощь уже была не за горами.— А как же иначе? Ведь государство-то у нас рабоче-крестьянское!

Мать слушала Симонова и напряженно думала. Это видно было по ее лицу, собиравшемуся в густые и мелкие морщинки. Она боялась не только начальства, а и бога. Даже бога больше, чем начальства. А бог, как она верила, велел возвращать долги. И потому-то, снова тяжело вздохнув, она сказала отчиму:

— Придется, отец, последних овечек на базар везти. Послезавтра как раз суббота. Погонишь вместе с Дениской...

* * *

После обеда мы отправились в сельсовет. Симонов решил поговорить с комсомольцами.

— Важное дело затевается. Всем засучить рукава придется...

По дороге к нам присоединился Костя Рябиков, высокий и сухопарый хуторянин. На Карловке он был един-

ственным коммунистом и выполнял обязанности уполномоченного сельсовета. С Симоновым, которого знал, поздоровался дружески, а на меня глянул со строгим осуждением:

— Ты что же, на все лето к Лапоинну подрядился?

— Уже все кончено с Лапоинным,— ответил за меня Симонов.— Только что я вырвал его из кулацких когтей. И с родителями вопрос этот уладил. Так что вот так. Будет он теперь заниматься комсомолом. И может быть, еще каким-нибудь делом...

В сельсовете мы застали председателя Лобачева и секретаря Апанасьева. Они сидели за сдвинутыми столами и скрипели перьями. Достав памятку, Симонов принялся передавать им какие-то указания райисполкома. Потом попросил собрать комсомольцев и завел разговор обо мне. Он сказал, что у меня есть необходимые задатки и что это дает право думать, что из меня что-нибудь выйдет.

— Но ему надо создать условия,— говорил Симонов, бросая на меня жалостливый взгляд.— Поставьте его избачом. И пусть избачит на пользу людям. Многие наши секретари совмещают такую работу. И получается ладно.

— Так у нас же нет избы-читальни,— возразил Лобачев.— Книг какая-нибудь малость. А помещение так и совсем отсутствует.

— Будет избач — будет и изба-читальня,— не сдавался Симонов.— Книги, помещение — все наживное. А сегодня главное — комсомол укрепить. И секретаря пристроить.

— Опять же избач,— упорствовал Лобачев,— это же такой человек... От него и культура, и грамотность, и понятие требуются.

— За культуру мы как раз и собираемся браться. А грамотней его у вас поискать. Я сам проверил. И понятие у него есть. А ежели до чего сам не дойдет, так ведь работать будет под руководством партячейки.

— Ладно. Посмотрим. Может, что и найдем.

— Вот, вот! — обрадовался Симонов, будто речь шла о нем самом.— Только смотрите побыстрей. А то ему работать надо. А для этого нужны условия. Хотя бы самые минимальные...

Между тем из большой комнаты уже доносились го-

лоса. Скоро сельисполнитель доложил, что все ребята в сборе. Вместе с нами вышел и Лобачев. Он сел рядом со мной. По другую сторону от меня сел Симонов. Зажатый между ними, я почувствовал, как жар разлился по телу. А язык стал таким деревянным, что трудно было повернуть его. Все же, собравшись с духом, я выдавил из себя:

— Собрание ячейки считаю открытым. Будем слушать доклад товарища Симонова. Предоставляю ему слово.

Симонов встал, подумал и сказал, как будто нас была целая сотня:

— Дорогие товарищи! Начинается поход за культуру. И мы с вами, комсомольцы, должны стать застрельщиками этого большого дела...

* * *

Дядя сдержал слово. И сапоги вышли на славу. Как новые. Даже с рантом. Таких я сроду не носил. А главное: дядя не взял ни копейки.

— Подарок,— сказал он, и я впервые заметил на его лице что-то похожее на улыбку.— Не чужие...

Нашлась у него и вакса. Я смазал ею сапоги и так наярил суконкой, что в них можно было глядеться. Володька Бардин одолжил свои штаны. Тоже не новые, но крепкие. Мать достала ситцевую рубаху, подштопала рукава пиджака. И я получился аккуратным, даже нарядным.

На конференцию от нашей ячейки вызвали меня и Машу Чумакову. Она вынырнула из калитки, едва я подошел к их хате. Выглядела она свежей и веселой. В руках держала желтый баульчик. В нем нашлось место и для моих харчишек. Я взял баульчик. И мы двинулись в путь.

По улице шли молча, как жених и невеста. А за селом, когда вышли на дорогу, Маша спросила:

— А чего так устроено? Сейчас — вот весна. Потом будет лето. Потом — осень, зима. И так — все время. Круг за кругом. А зачем? Как хорошо было бы, если бы только одно лето. И чтобы все время светило солнце.

— Есть страны, где круглый год лето,— заметил я.— Да еще какое лето! Жарынь, спасу нет.

— А почему у нас так? — спросила Маша.— Почему у нас лето короткое, а зиме конца не бывает?

Я равнодушно пожал плечами.

— Природой так устроено.

— А почему?

— Кто ж его знает? Такой, видно, порядок. Неподвластный нам...

Некоторое время шли молча. Я шагал крупно, размахивая баульчиком. А Маша часто семенила смуглыми ногами, обутыми в черные ботинки. Серая юбка едва закрывала ее коленки. А белая кофточка ладно облегала худенькую талию. В руках Маша несла старенькую теплую кофту. Мы отправлялись в областной центр. И хотя на дворе стояла весна, рискованно было пускаться в такое путешествие налегке.

— А ты хотел бы жить там, где все время лето?

Я подумал и признался:

— Нет. Мне нравится дома. Я люблю не только лето, а и весну, осень и даже зиму.

Маша тоже подумала. И сказала:

— И мне дома нравится. Вот только бы лето подлинней, а зима — покороче. Не люблю, когда холодно...

Опять замолчали. Маша часто ступала, словно боясь отстать. Иногда касалась золотистыми завитушками моего плеча. И от этого мне становилось как-то теплей в это раннее, свежее утро.

— Пожалуй, природу можно не трогать,— снова заговорила она, точно это зависело от нас.— Пусть будет какая есть. А вот жизнь...— И, помолчав, уверенно добавила: — Жизнь я бы переделала. Будь в моих силах, я оставила бы только молодость.

— А мне хочется поскорей стать взрослым,— возразил я.— Чтобы покрепче на ногах стоять. И побольше знать.

Маша метнула на меня быстрый взгляд.

— Ты и так крепко стоишь. И знаешь уже немало. А что до взрослости... Бывает, и взрослые слабо стоят и мало знают...

До станции было неблизко. И мы шли скорым шагом. Солнце светило ярко и ласково. По обе стороны от серой дороги стлалась неоглядная озимь. В солнечных лучах она сверкала изумрудной зеленью. В степи было про-

сторно и тихо. А чистый, чуть прохладный воздух сам вдыхался в грудь.

Вспомнился разговор с Лобачевым накануне. Я показал ему бумажку с вызовом нас с Машей на областную культурную конференцию. И попросил дать Гнедого до станции.

— Не для себя прошу,— сказал я, заметив, как нахмурился тот.— Сам дошел бы. Не раз ходил туда. За Машу опасаюсь. Все ж таки девчонка. Не выдержит.

— Гнедой захромал,— ответил Лобачев, возвращая мне бумажку.— Внутри сельсовета кое-как передвигается. А в такую даль не пойдет...

Но Маша успокоила меня. Она обрадовалась, что ее приглашают в область. И сказала, сияя глазами:

— На что нам с тобой лошадь? Дойдем и не заметишь как. Утречком выйдем и к вечеру там будем. Сорок верст каких-то...

И вот мы шли по дороге, уходившей далеко за горизонт. И болтали обо всем, что приходило в голову. Мне было хорошо с Машей. Она вселяла в душу бодрость и радость. Конечно, была там, в душе, и тревога. Я никогда еще не был на таких конференциях. Да и Маша впервые удостоилась такой чести. И мы брели теперь как бы с завязанными глазами. Что там будет? И что нас ждет? Только ли слушать придется? А если еще и что-либо делать? Да такое, что не по уму-разуму нашему? Все же тревога не вызывала страх. Не одни будем там. Целая делегация из нашего района. К тому же с самим Симоновым во главе. А уж он-то собаку съел в таких делах. И в случае чего растолкует, что и как.

К обеду добрались до Казенного леса, начинавшегося в этом месте и уходившего куда-то на юг. Посидели в тени под могучим дубом. Съели по одному яйцу. Выпили по кружке топленого молока с пампушками. И опять двинулись по нескончаемой дороге. Искоса я поглядывал на Машу. Не сдаст ли? Но она шла легко. И в движениях ее не чувствовалось усталости.

Внезапно Маша пытливо глянула на меня. И, чуть приметно усмехнувшись, сказала:

— Вот начинается культпоход. А я так думаю. Начинать его надо с самих себя. Чтобы другим пример показывать. И за собой вести. Ты согласен?

— Конечно, согласен,— сказал я.— Во всем показывать пример. Иначе какой же это будет комсомол?

— Очень хорошо,— сказала Маша.— А потому посмотрим на тебя.

Я с удивлением глянул на нее.

— На меня?

— Ну да! — подтвердила Маша.— Ты ж наш секретарь. Значит, в первую очередь должен пример показывать. Всем и во всем. А какой ты? Наверно, со дня рождения не стригся. Волосы — хоть косы заплетай. А на руки глянь. Под ногтями-то что? Грязюка непролазная. А ногти ты не обрезаешь, а обгрызаешь...

Если бы она стегала меня кнутом, и тогда не так больно было бы. Я сгорал от стыда. И готов был провалиться сквозь землю. Или убежать куда-нибудь без оглядки. Но надо было идти рядом. И не только идти, а и отвечать. Соглашаться или спорить. Но желания не было ни соглашаться, ни спорить. Соглашаться — стыдно. А спорить — бессмысленно. Ведь она права. У меня и правда волосы свисали, как у попа. И ногти я обгрызал. И не один я так делал. Многие ребята грызут ногти. Но это, конечно, не оправдание. Тем более когда речь о том, чтобы подавать пример другим.

— Что ж теперь делать? — спросил я, стараясь перевести разговор в шутку.— Как быть?

— А вот так,— просто ответила Маша.— В городе зайдем в парикмахерскую. Есть там такие. Подстрижешься. И будет культурно.

— Но в парикмахерской небось платить надо?

— А то как же? — сказала Маша.— Бесплатно там с тобой ничего делать не будут.

— А чем же я заплачу? У меня ж — ни гроша в кармане. Еду, что называется, на птичьих правах.

— Я одолжу,— сказала Маша.— Отдашь, когда будут.—И, снова взглянув на меня, потупилась.— Ты не обижайся, Хвиля! Я это, чтобы ты был лучше. Потому что ты наш вожак. И потому, что я люблю тебя.— В ее ясных глазах вспыхнул страх, будто сама испугалась того, что сказала.— Люблю не как-то там,— торопливо поправилась она.— А без всякого... Как товарища... И хочу, чтобы ты был еще лучше.

От ее слов и совсем потеплело на душе. А досада и стыд сразу улетучились куда-то. Захотелось сказать ей



тоже что-либо хорошее. Но я не успел сделать это. Позади послышался частый топот. Мы разом обернулись. И разошлись в стороны, освобождая дорогу. По ней лихо мчалась пара резвых коней, запряженных в тарантас. А в тарантасе грудились несколько ребят, оравших какую-то песню.

Поравнявшись с нами, кони вдруг стали. И я увидел в задке Симонова. Он посмотрел на меня. Перевел взгляд на Машу. И, словно, решив, что не обознался, махнул рукой:

— Давай до гурта!

Но «давать» некуда было. Тарантас был набит ребятами. Тогда Симонов схватил рядом сидевшего курносого парня и опустил себе на колени.

— Садись, Касаткин! — крикнул он.— И бери ее на себя!

Я вскочил в тарантас. И подал руку Маше. Она стала на подножку. Положила мне на колени кофту. И села на нее. Под тарантасом звякнули совсем расправившиеся рессоры. Но никто не обратил на это внимание. А разгоряченные кони, должно быть приняв этот звук за сигнал, рванулись вперед. И помчались по дороге со скоростью ветра.

* * *

Перед началом конференции мы с Машей прогуливались в просторном фойе. Оно было заполнено делегатами и шумело на все лады. Грудясь у стен группами или прохаживаясь целыми шеренгами, они громко разговаривали, смеялись, пели. И отовсюду веяло весельем, задором, юностью.

Внезапно перед нами возник Симонов. Он раньше всех сегодня покинул гостиницу. Раньше всех позавтракал в столовой. И, не сказав никому ничего, исчез куда-то. И теперь вот появился, точно вынырнув где-то из-под пола. И прямо с ходу сказал мне:

— Будешь выступать. Я записал тебя. Первым стоишь в списке. Так что вот так. Опытом поделись. О мероприятиях на будущее расскажи...

Язык мой прилип к нёбу. Я смотрел на Симонова и молчал. Он, как видно, по-своему понял это молчание. И одобрительно кивнул:

— Вот и ладно. Постарайся расшевелить ребят. На практику нажми. Задачи сформулируй...

И убежал. А мы переглянулись. И снова двинулись по кругу. Мы молчали. Почему молчала Маша, не знаю. Я же думал о словах Симонова. Почему он выбрал меня из нашей делегации? И почему записал первым? Хоть бы дал послушать других. Чтобы можно было хоть как-то приноровиться. А то — первым выползай и выкладывай. А что выкладывать-то? Ячейка же пока ничего не делает. И не знает, что делать. И я сам ничего не знаю. Почему же меня выбрал? Может, вид мой пришелся? Теперь я был подстрижен. И выглядел хоть куда. Так сказал парикмахер, сметая с меня кучу волос. Того же мнения была и Маша. Если из-за этого Симонов облюбовал меня, то я готов был еще год не стричься. В самом деле, что я скажу? Каким опытом поделюсь, если его нет совсем? К тому же я никогда не выступал на собраниях. Тем более на такой конференции. Тут же вон сколько делегатов. Да и каких делегатов-то! Секретари ячеек, учителя, избачи и бог знает кто. Куда мне до них со своим невежеством?

Маша прервала мои размышления. Не взглянув на меня, она сказала:

— А ты не горюй, Хвиля! Что ж делать, раз уж так? Постарайся не сплоховать. Расскажи, что делали и что собираемся делать. А их не пугайся. Они такие же, как и мы. И дела у них, может, не лучше, чем у нас...

Звонок разом распахнул все двери. Ребята хлынули в зал. Мы с Машей заняли места почти у самой сцены. На ней стоял длинный стол, покрытый красной материей. На столе, в самом центре, виднелся тонкий, круглый стакан. И больше ничего. Слева от стола стояла трибуна, от низа до верха завернутая в такой же красный материал.

Я посмотрел на эту трибуну и почувствовал, как сжалось сердце. Слова Маши не успокоили меня. Пугаться их нечего. Это так. Но им надо что-то рассказывать. И рассказывать так, чтобы было интересно. А что я расскажу, если за душой у меня ничего нет?

Мысли мои прервал высокий парень, вышедший откуда-то на сцену. С листком бумаги в руке он подошел к столу. И карандашом ударил по стакану. Нежное «дзинь» прошило гул, заполнивший зал.

— Саша Воронин! — послышались приглушенные голоса.— Саша Воронин!..

Саша Воронин — секретарь обкома комсомола. Я слышал о нем от Симонова. И вот теперь увидел его. Он показался совсем молодым, даже юным. Волосы — светлые, волнистые. Глаза — большие, тоже светлые и ясные. Губы — чуть надутые и розовые. На округлом подбородке — неглубокая ямочка. Одет он был в полувоенный костюм защитного цвета. Только на воротнике не видно было ни петлиц, ни знаков различия. От широкого ремня, который стягивал его тонкую талию, поднималась на плечо портупея. Костюм такой называли «юнгштурмовкой». И я уже видел его на некоторых участниках этой конференции.

Когда в зале водворилась тишина, Воронин открыл областную культурную конференцию. Предложил избрать президиум. И тут же зачитал список. Среди других прозвучала и фамилия Симонова. Мы с Машей коротко переглянулись. Приятно было за почет, оказанный и нашему району.

С докладом о предстоящем культпоходе выступил сам Воронин. Говорил он складно, без запинки, будто по газете читал. В зале часто раздавались хлопки, вспыхивал смех. Но я ничего не слышал. Страх заглушал все чувства. Может, удрать? В перерыве смыться? А потом сказать, что заболел? Голова закружилась или живот схватило? Но я не решился на обман. И покорился судьбе. Что ж делать, если она пока что сильнее человека?

Но перерыва не стали делать. И сразу же после доклада приступили к прениям. Я весь напрягся, словно на меня должен был обрушиться потолок. Но Воронин назвал другую фамилию. Это была какая-то учительница, похожая на школьницу. Немного отлегло. Послушать, о чем будет говорить, и прикинуть.

И вторым был не я. Воронин вызвал какого-то Лейкина из Хавского района. Совсем полегчало. И я весело посмотрел на хромого делегата, поднимавшегося на трибуну. Когда он взошел на нее и повернулся к нам, я увидел настоящего цыганчонка. Такой же черный и такой же лупоглазый. Ни дать ни взять. Но говорил Лейкин без цыганского акцента. Слова выговаривал не только правильно, а и чисто, звонко. И речь его была деловой.

Видно было, он хорошо знал, о чем рассказывал. Я даже позавидовал ему. Мне бы такой голос и такую складность.

И третьим Воронин не назвал меня. Это был председатель облпотребсоюза. Он обещал, что теперь потребиловка всерьез займется культтоварами. Я слушал и с затаенной надеждой думал, что, может, про меня забыли? Может, как-нибудь я вычеркнулся из списка? Бывают же все-таки чудеса на свете. Как бы это было здорово! Я бы тогда вот так же, как все, беспечно сидел бы на своем месте. Смеялся бы, как другие. И, как некоторые, даже выкрикивал бы какие-нибудь замечания. И про себя я решил: если и четвертым окажусь не я, значит, пронесло. Значит, беда миновала. Значит, можно вздохнуть спокойно.

Но вздохнуть спокойно не пришлось. Четвертым был я. Воронин произнес мою фамилию внятно, громко. Но я продолжал сидеть на месте, как будто не расслышав. Маша толкнула меня в бок. И тревожно прошептала:

— Ну, что же ты? Иди же!

Я встал. И пошел, не чувствуя ног. Взошел на трибуну. С тоской посмотрел в зал. Он гудел, как пчелиный улей. Ребята о чем-то переговаривались. Некоторые показывали на меня, будто я был артистом. А мне они представились как на картине. Чубатые, всклокоченные, с конопушками и угрями, в поношенных пиджаках, рваных кацавейках. И в этой серой массе там и сям, как маки, вспыхивали красные косынки.

Воронин глянул на меня. И сказал:

— Пожалуйста, товарищ Касаткин! Можно говорить.

Внезапно я встретился с глазами Маши. Она смотрела на меня с улыбкой. И ободряюще кивала. Я вспомнил наш разговор по пути на станцию. И, не отдавая себе отчета, сказал:

— Раньше, чем говорить о культуре, надо самих себя окультурить. А то гляньте, какие мы с вами. На что похожие. Многие, должно, со дня рождения не стриглись. А купались, поди, один раз в жизни. Да и то в церковной купели.

В зале поднялся смех, гул, гомон. Делегаты поглядывали друг на друга. Один другого дергали за волосы. Воронин, тоже улыбаясь, постучал карандашом по стакану.

— Будем вести себя культурно, товарищи! — И, кивнув мне, предложил: — Валяй дальше, Касаткин!

Но раньше чем я снова раскрыл рот, кто-то из дальнего ряда спросил:

— А сам-то ты когда подстригся?

Зал снова вперил в меня веселые глазищи. А я, пригладив назад коротко подрезанные волосы, ответил:

— Сам? Сам подстригся нынче. Перед самой конференцией.

Делегаты снова закатились хохотом. Мне тоже стало весело. И мы долго смеялись. А когда насмеялись, Воронин опять постучал по стакану. Но его опередил все тот же задиристый делегат:

— А сам додумался? Или кто надоумил?

Ребята снова уставились на меня. Я же, переступив с ноги на ногу, произнес:

— Нет, не сам. Маша пристыдила. Наша комсомолка. Тоже тут корпит. Вот в пятом ряду.

Делегаты завертелись на стульях, вытягивая шеи, чтобы поглазеть на Машу. А она еще ниже опустила голову, пряча в ладонях лицо.

Воронин же серьезно заметил:

— Это неважно, кто надоумил. Важен сам факт. А факт — налицо.

Поддержка Воронина приободрила меня. И я более уверенно продолжал:

— Вот о том, стало быть, речь. За себя надо сперва взяться. В том смысле, чтобы себя привести в порядок. И другим пример такой подать. Даже товарищ Ленин указывал, что личный пример всегда решает. Всегда и в любом деле...

С Лениным получилось для самого меня непонятно как. Я не знал, говорил ли он о личном примере или нет. Но ребята поверили. И совсем затихли. Некоторые даже рты пораскрывали. Дескать, смотри, какой начитанный. А я еще напористей продолжал:

— Среди нас есть такие, которые невежеством своим щеголяют. Неграмотность свою выпячивают. И бескультурьем кичатся. Глядите, мол, какие мы пролетарии. А что в этом пролетарского? Да совсем ничего. Пролетарии — это же сознательные люди. А какая у нас сознательность? Куцая, как хвост у зайца.

В середине зала поднялся черниявый парень и сердито сказал:

— Насчет сознательности ты это брось. Мы за советскую власть жизни не пожалеем. И борьбе за дело пролетариата все силы отдадим. А тебя, ежели будешь так трепаться, с трибуны стащим.

В зале снова поднялся шум. Делегаты заспорили между собой. Воронин изо всех сил бил по стакану. Но нежное дзиньканье беспомощно тонуло в гаме. Я же, переминаясь на трибуне, думал. Да, насчет сознательности, пожалуй, получился загиб. Разве ж они не сознательные, эти ребята? Только дай клич да вложи в руки оружие, как все до одного ринутся на врага. И умрут за советскую власть. Но сознательность тоже надо поднимать. Она не может топтаться на месте. И теперь уже мало умереть за советскую власть. Да и не требуются такие жертвы. Теперь надо укреплять ее, нашу власть. И, не жалея сил, бороться за новую культуру.

— Я не хотел никого обидеть,— сказал я, когда делегаты успокоились.— А если кому мои слова показались обидными, прошу простить. Но опять же насчет сознательности. Ее надо не горлом, а делами доказывать. И не только политическими, трудовыми, а и культурными. Вот так я думаю. А теперь — о самой культуре. Это ж такая штука. Голыми руками не возьмешь. Требуется кое-что серьезнее и надежнее. Скажем, вечера, диспуты, драмкружки, о каких говорилось в докладе. Для всего этого нужно помещение. А где его взять? Вот у нас, в Знаменке, есть церковноприходская школа. Стоит без всякой пользы под замком. А молодежи собраться негде. А почему бы не забрать эту школу и не перестроить под клуб?

— А почему бы не забрать и не перестроить? — переспросил Воронин.— Что вам мешает?

— Так ведь школа-то церковная,— пояснил я.— То есть церкви принадлежит.

— Она принадлежит народу,— сказал Воронин.— Кто ее строил? Не церковники же сами, а народ. Стало быть, народ и хозяин ей. И надо вернуть ее народу. И комсомол должен проявить в этом деле инициативу.

— Если так,— обрадовался я,— тогда другое дело. Тогда мы попробуем. И постараемся вернуть народу народное...

Я хотел сказать еще что-то. Но что — не вспомнил. И, махиув рукой, сбежал по ступеиькам, ведшим к трибуне. В зале почему-то засмеялись. Потом — захлопали. А когда я сел, позади вспыхиул девичий голос:

— Молодчииа!

В ответ ему хлестиул бойкий ребячий выкрик:

— И чудачина!

И опять дружные хлопки взметиулись в зале. Делегаты словно хотели заглушить и похвальное и обидное слово.

* * *

На следующее утро, едва мы с Машей вошли в столовую и присели к столику у окна, как к нам подошел Симонов. Поздоровавшись, он сказал мне:

— Поживей заправляйся, Федя! И подиимайся ко мне. Вместе пойдем в обкомол. Вороиин просил заглянуть.

Я пообещал не задерживаться, и Симонов ушел. Маша метнула на меня сверкнувший взгляд и сказала:

— Выступление вчера поиравилось. Вот и приглашает.

Я невольно рассмеялся. И ответил, оправдываясь:

— Это как сказать. Может, наоборот? Вызывает затем, чтобы отчитать. И поучить, как выступать на таких конференциях.

— Нет, нет! — горячо возразила Маша.— Я видела по его лицу. Он же так смеялся... Да и не могло не понравиться. Ты ж так распалил ребят. Как они против бескультурья ополчились!

— Не все ополчились,— сказал я.— Нашлись и защитники. Слыхала, как тот косоглазый иабросился на меня? Подумаешь, говорит, подстригся. Ты бы еще духами сбрызиулся. Тогда, говорит, и совсем культурненьким стал бы. А мы, говорит, бойцы. Мы, говорит, будем драться. А для драки нам не нужны фраки.

— Да,— сказала Маша.— А как Воронин одернул его? Слыхал? Ты, говорит, глянь на себя. Разве ж ты похож на бойца? Скорей у тебя вид бродяги. Молодец Воронин! Не зря мы похлопали ему.

Подошла девушка в белом передиике. Взяла наши

талончики. И неслышно умчалась куда-то. А Маша, усмехнувшись, продолжала:

— А этого горбоносого помнишь? Вот рассмешил-то. Давай, кричит, всей конференцией к парикмахеру.

— Он сказал: к паликмахеру.

— Ну да! Становись, говорит, в очередь. И всех — под ежика. А ребята гогочут. И на тебя заглядывают. Распек ты их.

— Ну, уж если так, то не я, а ты распекла их.

— Как же я?

— А так... Ты ж меня заставила подстричься. А с этого и началось.

Маша снова весело глянула на меня.

— А тебе так куда лучше. Ты стал прямо-таки симпатичный.

Я погладил подстриженный затылок. И нарочито громко вздохнул.

— А сколько денег пришлось отвалить?

— Перестань! — приказала Маша.— А то рассержусь...

Официантка принесла жареное мясо с картошкой и чай. Мы ели молча. А когда все съели и принялись за чай, Маша спросила:

— А почему Симонов называет тебя Федей?

Я рассказал о первой встрече с ним в райкоме комсомола. Маша развела плечами. И сложила пухлые губы трубочкой. А потом спросила:

— А его самого-то как зовут, Симонова?

— Николай,— сказал я.— Николай Симонов.

— Николай,— повторила Маша.— А у нас цари были Николаи. Первый и Второй. Почему же он не меняет свое имя?

— То хоть русские,— возразил я.— А тут все иностранные. Да еще такая пропасть. В сундуке я раскопал учебник по истории. Так вот, этих королей и императоров Филиппов оказалось тринадцать штук. Чертова дюжина. И каких только нет. Филипп Красивый. Филипп Смелый. И даже Филипп Длинный. И я из-за жадности попа влип в эту компанию.

Маша весело рассмеялась:

— Так ты ж не король.

— Не король, а Филипп. И Симонов так же считает. Потому и зовет меня Федором.

Маша подумала и серьезно заметила:

— Федор, Филипп — какая разница? Важно, какой ты человек. Настоящий или фальшивый.

Возражение Маши прозвучало убедительно. Но и Симонов казался правым. И я нисколько не обижался на него. Даже наоборот, было приятно, когда он называл меня Федей. Мне и самому имя мое не нравилось. К тому же не хотелось признавать сделку попа с крестным. И я, осторожно взглянув на Машу, попросил:

— А может, и ты будешь звать меня Федей? В конце концов, по закону-то мне положен не Филипп, а Федор. И мне так больше нравится. И я прошу тебя, Маша!

По соседству за сдвинутыми столами пировала целая группа делегатов. Говорили ребята громко, шутили друг над другом, смеялись. Некоторые из них время от времени поглядывали в нашу сторону.

И вот долговязый и рыжеволосый парень вдруг сказал:

— Чудаковатый малый!

— Чудаковатым прикидывается,— возразил ему низкорослый крепыш с темным пушком на верхней губе.— А на самом деле, видать, продувной. Такому палец в рот не клади. Всю руку оттяпает...

Маша глянула на меня. И торопливо, будто стараясь заглушить судачество соседей, затараторила:

— И про церковную школу — тоже правильно. Надо забрать ее. И вернуть законному хозяину — народу. И сделать это надо как можно скорее.

— Да,— согласился я, с обидой думая о замечаниях делегатов.— Только как это сделать?

— А очень просто,— сказала Маша.— Нагрянуть. И сломать все нутро. И так, чтобы церковники не успели опомниться...

В вестибюле я спросил Машу:

— А может, и ты пойдешь с нами в обком?

Маша удивленно раскрыла глаза.

— Так меня ж не приглашают.

— А ты без приглашения,— посоветовал я.— Не в гости ж домой к Воронину идем. И разговор будет не о чем-либо, а о делах.

Маша заметно колебалась. Ей и хотелось пойти с нами. И что-то останавливало. Наконец она, покачав головой, сказала:

— Нет. Ступайте одни. А я поеду к двоюродной. Иначе не побываю у нее. Будет обижаться...

Я пожалел, но не настаивал. Условившись встретиться в гостинице перед отъездом на вокзал, мы разошлись.

* * *

У Воронина кто-то был. Секретарша попросила меня подождать. А Симонову кивком показала на дверь кабинета. Он был членом обкома и держался тут как свой.

Я присел на стул и задумался. Зачем Воронин вызвал меня? Чтобы похвалить за выступление на конференции? Или чтобы пожурить за это выступление? Самому мне речь моя казалась несерьезной. Не зря же никто после меня не выступал так. Все говорили как по писаному. И в зале уже не было ни смеха, ни шума. А я устроил делегатам цирк. В цирке я никогда не был. Но по книжкам знал, что это веселое заведение. Так вот и я вчера, как циркач, превратил конференцию в веселое заведение. А ради чего? И как можно было хвалить за это? Можно только удивляться, как Воронин там же, на конференции, не оборвал меня. Все же я не волновался. Ну и пускай пожурит. Даже отругает. Не слиняю же я от такой критики. Зато впредь буду серьезней и строже к самому себе.

Ждать пришлось долго. Я даже рассердился. Что он, забыл обо мне? Или такой у них порядок? Если так, то это бюрократизм. А бюрократизм и комсомол — непримиримые враги. Об этом сам же Воронин говорил на конференции. Или это касается других, а не обкомовцев?

Когда мое терпение готово было лопнуть и я собрался уйти, дверь кабинета распахнулась и в приемную вышли трое загорелых, румяных парней. На них была железнодорожная форма, а в руках одного из них — маленький, точно игрушечный паровоз. Ребята пошептались о чем-то и вышли в коридор. В ту же минуту где-то под потолком задребезжал звонок. Секретарша встала и юркнула в кабинет. Но возвратилась тут же, чему-то улыбаясь. И, оставив дверь открытой, сказала:

— Пожалуйста, товарищ! Заходи!

Я вошел в кабинет. И первое, что увидел, был дым. Он заполнял всю комнату. В дыму, как в тумане, еле

видны были Воронин и Симонов. Они сидели за боковым столом друг против друга и курили. Воронин сразу же встал. Подошел ко мне. Поздоровался за руку.

— Прости! Задержались с ребятами. Деповские рабочие. Паровоз новый сконструировали. Демонстрировали...

Он усадил меня рядом с Симоновым. Сам вернулся на свое место. И с улыбкой глянул на меня. Я тоже улыбнулся. Все же злость не вся вышла из меня. И я сказал с осуждением:

— Между прочим, как я понимаю, это тоже относится к культуре.— И показал на дым, который заволакивал нас.— Не мешало бы обкому и в этом показать пример.

Воронин посмотрел на только что начатую папиросу. Сунул ее в пепельницу. Встал и раскрыл оба окна. А Симонов растер свою папиросу в пальцах. И, усмехнувшись, сказал:

— Очень прошу тебя, Касаткин! Я рекомендовал тебя тут. Ручался за твою выдержку и тактичность.

Воронин опустился на стул. И, снова улыбнувшись, возразил:

— А он прав. Пора и нам за ум взяться. Днями и ночами дышим таким воздухом. Отравляем себя.

Дым быстро схлынул. И я лучше рассмотрел Воронина. Теперь он показался еще моложе. Лет девятнадцати. От силы — двадцати. Но не очень-то стройный. Даже малость неуклюжий. Гнется, как пожилой. А ему бы держаться прямо. Плечами — вразлет. Грудью — вперед. И тут он не служил примером. Хотелось так и сказать. Но я удержался. За это он наверняка обиделся бы.

— Вчера ты хорошо выступил,— сказал Воронин.— Правильно и здорово. Особенно насчет личного примера. И удачно на Ленина сослался. Надо было привести хотя бы одну цитату из его высказываний об этом. Тогда бы это был бы гвоздь. Но и так неплохо.— И рассмеялся — звонко, задорно.— Сегодня у меня побывали несколько секретарей райкомов. Все такие подстриженные, аккуратные. Любо посмотреть. Теперь бы научить их регулярно умываться и зубы чистить.

— И отучить курить,— сказал я, окончательно успокоившись.— От отравы этой избавиться.

— А вот это труднеей,— нахмурился Воронин.— Такая зараза... Комсомол уже проводил кампанию против курения. Во всесоюзном масштабе. И ничего не получилось. Неустроенность быта мешает. Плохо пока что живут наши активисты. Лишения всяческие испытывают. Часто голодают. И говорят: покуришь — и голод отступит.— И вдруг впился в меня ставшими острыми, будто стальными, глазами.— А ты что ж это в кулацкую упряжку впрягся?

Я метнул взгляд на Симонова. Но тот сделал вид, что ничего не почувствовал. И продолжал смотреть на Воронина.

— Как же это так? — спрашивал тот.— Если бы не Коля, ты и по сей день батрачил бы?

Я сжал под столом кулаки. И ответил сорвавшимся голосом:

— Вы же сами только что сказали, что люди у нас еще плохо живут.

— Это еще что такое? — спросил Воронин.— В комсомоле не «выкают». Тут все равны и одинаковы. Будь добр говорить мне «ты». И называть Сашей. Тебя-то как зовут?

За меня ответил Симонов:

— С именем у него чехарда.— И рассказал обо всем, что знал.— Так что ребята зовут его по-деревенски Хвилей. А я не признаю этого иностранного Филиппа. И зову его по-русски Федором.

— Филипп тоже русское имя,— возразил Воронин.— Правда, царей с таким именем у нас не было. Но видные русские люди были.— И назвал нескольких Филиппов, известных в России.— Кстати, мой отец тоже был Филиппом.

— Что ты говоришь! — раскрыл глаза Симонов.— Неужели правда?

— Правда,— подтвердил Воронин.— Я же Александр Филиппыч. Могу показать партбилет. А отец мой был Филипп Андреич Воронин. Старый революционер. Член партии большевиков с девятьсот пятого года. Участник двух революций. Комиссар полка в гражданскую войну. Погиб в бою с мамонтовцами.— И снова улыбнулся мне.— И Хвиля мне нравится. Хорошо звучит. Я буду звать тебя так. Если не возражаешь?

— Не возражаю,— пробормотал я, возбужденный его рассказом.— Даже рад буду.

Но улыбка слетела с лица Воронина. И он снова насупил черные брови.

— Так как же это, Хвиля,— повторил он.— Если бы не Коля, ты что ж, до сих пор работал бы у кулаков?

— Не знаю,— признался я.— Может, и работал бы.

— Первый случай на всю область,— сказал Воронин.— Секретарь ячейки — и батрак кулака.

— А я бы не был секретарем,— сказал я.— Ребята сняли бы меня.

— И ты бы допустил до этого? — спросил Воронин и снова просверлил меня острым взглядом.— Пожертвовал бы доверием комсомольцев?

Я не знал, что ответить. Доверие комсомольцев — большая честь. Но и родная семья — не пустой звук.

— Долги же, Саша! Они же как капкан. Душат.

— А как же теперь-то с долгами? — спросил Воронин.— Другой кто из семьи отработает?

— Других нет,— сказал я.— Отчим — старый. Мать и так всю жизнь гнула спину на кулаков. Здоровье на них потратила. Сестра — невеста. Стыдно посылать батрачить. А братишка еще не вышел годами.

— Значит, выплачивать придется?

— Часть уже выплатили. Почти всех овечек продали. Остались на развод. А что дальше, не знаем.

— А ты получаешь за свою работу что-нибудь?

Опять за меня ответил Симонов. Рассказал о своих переговорах с Лобачевым. И выразил надежду, что скоро я получу какое-нибудь платное дело.

Воронин побарабанил пальцами по столу.

— А нельзя ли как-нибудь помочь им выплатить этот долг?

Симонов безнадежно пожал плечами:

— Как его поможешь? Шапку по кругу среди комсомольцев? А у них самих — ни копейки. В комсомоле-то — батраки да бедняки. Бывает, что взносы нечем платить. Да и многие из них сами в долгах, как в шелках.

Воронин встал. Подошел к окну. Посмотрел на улицу, откуда в комнату залетал приглушенный шум. Вернулся за стол хмурый, насупленный.

— Сволочи это кулачье! — произнес он, и в глазах его сверкнул огонь.— Алчные твари! И когда только мы

с ними разделаемся? — И взмахнул головой, забрасывая назад сбившиеся на лоб волосы.— Расскажи о ячейке, Хвиля! Чем занимается, что намечает?

Я чувствовал себя среди них равным. И рассказывал без принуждения. Как друзьям и товарищам. Все же рассказывать особенно нечего было. И я скоро выдохся. Воронин кивнул, словно поблагодарил. И сказал:

— А школу церковную вы заберите. Она народная. И народ имеет право использовать ее, как считает нужным. Вот так. И не бойтесь церковников. Они, известно, коварные враги. Легко не дадутся. Но вы действуйте смелей. Не бойтесь дать им в зубы. В переносном и буквальном смысле. А райком поддержит, если туго будет. Да и мы не за горами. В случае чего нажмем и отсюда...

Простились тепло. Воронин попросил заглядывать в обком, когда придется бывать в областном центре. Я пообещал. И двинулся к выходу. Закрывая дверь, увидел, как они разом потянулись к папиросам, лежавшим на столе.

* * *

В поезде, когда я стоял у окна и смотрел, как за ним в сгущающейся темноте проплывал густой, еще безлистый лес, ко мне подошел Симонов. Крепко обнял за плечи, заглянул в лицо. И спросил:

— Как Воронин? Понравился или нет?

Я подумал. В памяти возникла шумная конференция, дружеская беседа в обкоме. И в душе вдруг появилось какое-то новое ощущение. Это было похоже на чувство гордости. Сын бедного крестьянина, сам батрак с детства, забитый и подавленный нуждой, я становился бойцом за новую жизнь. И хотя эта жизнь казалась далекой, она манила, поднимала дух.

— Как Саша-то? — повторил Симонов, не дождавшись ответа.— Пришелся по душе или нет?

В свою очередь я глянул в его круглое, расплывшееся в улыбке лицо. И откровенно сказал:

— Хороший парень. И, видать, толковый.

Симонов почему-то рассмеялся. И снова стиснул меня короткой и сильной рукой.

— Свой в доску,— сказал он.— Редкий умница. В делах рукастый. И это несмотря на возраст. По возрасту

он чуть ли не мальчишка. Самородок...— И, подумав, продолжал: — А знаешь, я, пожалуй, тоже буду звать тебя Хвилей. Почему-то тоже стало нравиться. А сделка попа и крестного твоего... Леший с ними, попом и крестным!

Я усмехнулся. И вспомнил Машу, которая уже спала на нижней полке. Сегодня я попросил ее называть меня Федей. А просьбу подкрепил Симоновым. Что ж, пусть она одна называет меня Федей. Когда мы вдвоем и когда никто не слышит нас.

* * *

Перед вечером мы с Прошкой незаметно проникли за церковную ограду, где стояла школа, взобрались на высокий фундамент и принялись изучать внутренность здания. Но через окно трудно было что-либо рассмотреть, и мы стали пробовать створки окон. К нашей радости, одно оказалось незапертым.

— Хорошая примета,— изрек Прошка.— Быть удаче...

Мы перелезли через подоконник и, стараясь не шуметь, начали осмотр. Учебные классы. Они разделены дощатыми перегородками. Перегородки отделяли переднюю и учительскую. А дальше была пришкольная квартира: две комнаты, прихожая и кухня. Пол всюду — на одном уровне. Потолок — тоже без перепадов.

— Не дом, а домина! — с восторгом прошептал Прошка.— Клуб получится хоть куда!..

Неожиданно в ограде возникли голоса. Выглянув из-за простенков, мы увидели отца Сидора и косоглазого пономаря Лукьяна. Они медленно двигались к главному входу в церковь. И о чем-то спорили. Поп — мягко, елейно, а пономарь — густо и отрывисто. Напротив школы остановились, и отец Сидор сказал:

— Вот жалуешься, сын мой. А обязанности свои плохо блюдешь. И о хозяйстве церковном не радеешь. Пошто окно школы открытым оставил?

— Как же открытым, ежели ноне было заперто? — прогудел Лукьян.— В аккурат поутру наведывался. Все было чин чином. Не иначе кто открыл, сатану ему.

— Так пойди закрой,— предложил поп.— Да хорошенько.

— А как закрыть-то? — угрюмо возразил Лукьян.— Ключи-то у Комарова.

— А ты влезь в окно и запри оттуда.

— Ишь ты какой, батюшка! — хохотнул пономарь.— Думаешь, молебен тебе? Заучил и бубни. А тут соображение требуется. Ну, влезу, запру оттудова, а сам куда денусь? Двери-то — на замке.

— Тогда хоть так прикрой,— терпеливо предложил отец Сидор.— Чтобы ветром стекло не разбило.

— Прикрыть можно,— согласился Лукьян.— А только я хотел сказать. И зачем это вы бережете такую громадину? Отдали бы на мирскую потребу. И лишние хлопоты — с плеч.

— Не торопись, сын мой,— остановил пономаря поп.— Здание это еще послужит святой вере.

— Да чем же послужит-то?

— Не вечно будут царить антихристы. Услышит господь и наши молитвы. И тогда тут опять воскресиет рассадник божий.

— Эк куда хватил, батюшка! — изумился Лукьян.— Услышит молитву! Как же, дожидайся. Десять лет не слышал, а теперь и подавно не услышит.

— Не богохульствуй, сын мой,— предупредил поп.— И терпи. Ибо в терпении — спасение. И старайся во славу божию.

— Ладно,— хмуро перебил Лукьян.— Буду стараться. Да только за старание мзда положена. А то не побожески получается. И ты грех на себя берешь, батюшка. С Комаровым и Лапониным снюхался. А меня обносите. Это меня-то, страждущего и жаждущего. Разве ж господь так велит?

— Знаешь что? — вдруг рассвирепел отец Сидор.— Иди-ка ты к... Что я тебе, послушник какой? Страждущий, жаждущий. Да мне-то что за дело? Требуй с Комарова и Лапонина. Они и меня надувают. А ты пристаешь, как банный лист. Будто я не простой смертный, а бог Саваоф...— И торопливо, словно опомнившись, перекрестился.— Прости, господи. Дьявол вводит во искушение...

И, бормоча что-то, поплыл к железным вратам храма. А Лукьян с минуту озабоченно смотрел перед собой. Потом смачно сплюнул и двинулся к школе. Взобравшись на фундамент, он взялся за створки окна и проворчал:

— Все на господа уповают. А сами карман набивают. Жулики как на подбор. Один я честный и то дурак...

Он закрыл раму, кулаком постучал по ней, точно грозя нам. Затем неуклюже сполз с фундамента и тоже поплелся в церковь.

Когда он скрылся, Прошка с возмущением сказал:

— Слыхал, о чем мечтает? Господь услышит молитву. И тут опять будет рассадник божий. Чего захотели, а!..

Перед глазами моими вдруг промелькнула картина. Это было не так уж давно. Церковноприходская школа еще продолжала одурманивать ребят. Закону божьему учил здесь отец Сидор. Нет, не учил, а всеми силами вбивал в наши головы святые бредни. Вбивал в прямом смысле. Не было урока, чтобы по чьей-либо голове не прошлась поповская линейка.

И вот как-то, рассказав о рождении Христа во хлеву Вифлеемском, отец Сидор спросил, оглядывая нас маленькими колючими глазами:

— А ну-ка, дети, кто знает, кто была дева Мария?

И неслышно поплыл, переваливаясь между партами. А мы молчали. Молчание тревожно затягивалось. Еще немного, и поп сам вызовет кого-нибудь. И заставит отвечать. А потом огреет по голове линейкой. И даже не скажет, за что.

Тишину разрезал звонкий голос Андрюшки Лисицына:

— Я знаю, батюшка, кто была дева Мария!

Андрюшка не отличался знанием божественной азбуки. Ему ничего не стоило перепутать Адама с Ноем и Голгофу с Вифлеемом. Потому-то мы со страхом уставились на него. Но Андрюшка держался уверенно, даже озорно. Вскочив с места и вскинув голову, он выпалил:

— Дева Мария, батюшка, это Мария Магдалина!

Хохот зазвенел в окнах. На этот раз Андрюшка перещеголял самого себя. И спутал непорочную богоматерь с великой грешницей. Было над чем посмеяться. Но смех так же погас, как и вспыхнул. Над Андрюшкой взметнулась линейка. Послышались частые удары. Поп вкладывал в них всю силу. И линейка разлетелась на части. Тогда отец Сидор, засучив рукава рясы, со всего размаха ударил Андрюшку кулаком. Тот вылетел из-за парты

и грохнулся на пол. Но тут же вскочил и, закрывшись рукамн, выбежал нз класса.

Расправа с Андрюшкой взволновала родителей. Даже богомольные и те отказалнсь посылать детей в церковноприходскую школу. Вскоре она и совсем закрылась. А мы с радостью перекочевалн в земскую, где не было закона божьего. Что касается отца Сндора, то он едва не угоднл под суд. Спас попа мельннк н церковный староста Комаров, у которого былн в райцентре свон людн. Помог н косоглазый пономарь Лукьян. Задобрив роднтелей Андрюшкн подаркамн, он уговорнл нх простить батюшку.

Вспомннв обо всем этом, я уверенно ответнл Прошке:

— Пускай мечтает преподобне. А только мечте его не сбыться. Скорее свннья попадет на небо, чем вернется старое. А что до рассадннка, то он будет тут. Только не божнй, а нащ, комсомольскнй.

Вечер с каждой мннутой сгущался. Мнмо проплыло стадо коров. Выстреламн прозвучалн хлопкн пастушьих кнутов. Над колокольней в последннй раз с клекотом прокружили галкн. Мы неслышно прошмыгнулн в квартнру, спустились нз окна в черемуховые зарослн и через боковую дверь в ограде выскользнули на площадь.

* * *

Нашн только что закончили работу на огороде. Мать гремела на кухне посудой, готовя ужнн, а Нюрка доила корову. С база доноснлось мерное журчание молока. Отчнм сидел на завалннке н попыхивал трубкой. После работы он любил вот так посумерничать. И только Дениса не было дома. Наверно, во главе «красных» уже атакует «беляков»...

Мать освободила меня от домашннх дел. Она примнрилась с тем, что я сделался общественником. И даже потихоньку горднлась этим. Односельчане-то нередко обращались к сыну с просьбами. Да и надеялась, что рано или поздно и мне положат зарплату. Нельзя же, чтобы человек за так труднлся. И лншь одно переносила с трудом. Я без креста садился за стол, без креста вставал из-за стола. Каждый раз в таких случаях она хмурилась, громко вздыхала, но все же удерживала себя.

Я подсел к отчиму и рассказал о перебранке между попом и пономарем. Тот довольно ухмыльнулся и спросил, как это мне удалось подслушать. Поняв, что проговорился, я признался:

— Школа без дела пустует, а молодежи собраться негде. И это в то время, когда культпоход начинается...

Отчим попыхтел трубкой и сплюнул чуть ли не на середину двора.

— Да-а,— протянул он, скомкав бороду в кулак.— Клуб выйдет что надо. Такой, что закачаешься. Материал-то первосортный. Весь до бревнышка дубовый...— Он снова звонко почмокал губами и с шумом выпустил дым в усы.— Хорошо помню, как строили. Всем обществом старались. Да и как было не стараться? Для своих же детишек. Я в то время как раз в волости работал. Гляжу, являются ходоки. Так, мол, и так. Помоги, посодействуй. Детишек желаем вразумлять. Одной земской не хватает. Вот и порешили новую строить. Ну, я взялся за это дело. Начальству доложил, слово замолвил. И закрутилась карусель. Да только остановилась не там, где надо. Поп, будь он неладен, встрял в историю. Земская, говорит, имеется. Давай церковноприходскую. Будем, говорит, не только к наукам, а и к богу любовь прививать. Вот так, стало быть, дело повернулось. Я, понятно, к начальству. Не для поповской брехни, говорю, народ на большие траты решился. Просвещать, а не затуманивать ребятишек люди намереваются. А начальство косится на меня, как на бунтаря какого, и дает приказ: разрешить церковноприходскую. Что тут поделаешь? Почесали мужики затылки и сдались. Лучше уж церковная, чем никакой. Собрали денежки, купили лес и своими руками отгрохали сруб.

— А церковь-то помогала? — спросил я, радуясь тому, что услышал.— Деньгами или еще чем?

Отчим замотал головой:

— Ни гроша не отпустили. Богом клянчили на стекло и железо. Как раз не хватало. Так куда там! Церковный совет отписал отказ. Своих нужд, видишь ты, пропасть.

— Почему же тогда церковники считают школу своей?

— А потому, что называется приходской. И еще потому, что стоит за церковной оградой. А по правде ска-

зать, так без всякого на то права. Захапали народное добро — и все тут. А школа и в самом деле народная. Потому как на народные деньги куплена и народом построена...

Трубка его потухла. Он ударил кресалом о кремень. Веером вспыхнули искорки в сумраке. Воздух наполнился терпким запахом дымка. Отчим положил тлеющий трут в трубку, придавил его большим пальцем и весело зачмокал губами.

— Так что дело совсем ясное,— продолжал он.— И переделать ее, школу, ничего не стоит. Сломать перегородки — и вся недолга.

— Сломать-то мы сломаем,— сказал я, ободренный поддержкой отчима.— А вот как потом? Сцена, печки, скамейки.

— А вы ломайте, — посоветовал отчим. — А потом видно будет. Сцена, печки, скамейки. Все это не бог весть какая штука. Как-нибудь сладим. Главное — начать...

Ну, конечно, главное — начать. И сломать внутренности. Если это удастся, остальное придет само собой. Тот же отчим подскажет, что и как. А ему-то ума не занимать. В таких делах он, как говорили, собаку съел.

— Ломать старайтесь аккуратно,— наставлял отчим.— Чтобы весь материал в работу пошел. Доски, кирпич, гвозди — все надо сохранить. И день выберите подходящий. Лучше всего — большой праздник. Скоро будет покров день. Как раз то́, что надо. В этот день в городе собирается большая ярмарка. Наши богатеи, понятно, подадутся туда. А те, кто останется дома, после обедни нажрутся и завалятся дрыхнуть. И не быстро расшевелятся, если даже церкву разрушите...— Он вдруг с опаской оглянулся на дверь и полушепотом попросил: — Смотри, матери не проговорись. А то заругается. Скажет, с безбожниками спутался, старый хрыч. Так что держи язык на привязи, сынок!..

* * *

Сигналом был звон колоколов, возвещавший об окончании обедни. Поодиночке ребята, соблюдая осторожность, неожиданно появлялись перед церковью. И неза-

метно проникали за ограду через боковые, никогда не запиравшиеся двери. А оттуда — в пришкольную квартиру, вход в которую открыли раньше всех явившиеся туда Илюшка и Андрей.

Собрались быстро. У каждого в руках был либо топор, либо молоток, либо ломик. Помочь нам вызвались Митька Ганичев и Гришка Оричков. Незадолго до этого оба попросились в комсомол. И мы решили проверить их на боевом деле. Не было только Маши Чумаковой. Конечно, она тоже горела желанием. Но мы отказали ей. Мало ли что может случиться?

Ребята были заметно возбуждены. Никто не сомневался в удаче. Но уверенность еще не означала победу. Да и победа наверняка нелегко достанется. Рано или поздно, а враг обнаружит нас в своем владении. И не станет спокойно взирать на проделку богохульной комсы.

Когда мы, распределив между собой работу, готовы были приступить к делу, перед внутренним окном внезапно показался Дениска. Улыбаясь всем своим конопушечным лицом, он показывал клещи. Я раскрыл окно, помог брату перелезть через подоконник. Он остановился передо мной и сказал:

— Ты позабыл клещи. А они ж понадобятся. Гвозди-то надо будет дергать.

Оказалось, никто из нас и в самом деле не догадался прихватить с собой эту нужную вещь. Ребята похвалили Дениса за смекалку. Братишка весь зарделся от радости и сказал:

— А за это дозвольте с вами. Дайте какую-нибудь работу. А я вам еще и желудей дам.— Он сунул руку в карман холщовых штанов и достал целую горсть желудей.— Жареные. И дюже вкусные. Как проголодаетесь... Только дайте работу.

Я сунул ему в руки клещи и сказал:

— Будешь дергать гвозди и складывать в одно место. Пригодятся.— И обратился к ребятам: — Итак, миром господу помолимся!

— Да ниспошлет он нам удачу! — шутя подхватил Прошка Архипов.

— И да поможет победить супостатов! — добавил также весело Володька Бардин.

И началось. Прошка и я стали отбивать штукатурку на перегородках. Андрей, Сережка и Илюшка наброси-

лись иа учительскую квартнру. Митька н Гришка прииялнсь разрушать печи. Все вокруг наполнилось грохотом н стуком. От штукатурки и печей клубамн подиялась пыль. Скоро она стала такой густой, что солице ие пробивало ее. Но мы ие открывали окна. Они заглушали шум, уберегали от любопытных.

И в самом деле мы долго работали без помех. Уже почти иа всех перегородках была отбита штукатурка. Наполовиину рухиули печи. Уже иечем было дышать в пыли и саже. А сами мы выглядели не чище трубочистов. Только тогда на площади перед оградой замелькали люди. Молчаливые и озабоченные, оии с удивлением, любопытством и враждебиостью глазели иа запыленные окиа.

Не без опаски поглядывал я в протертый глазок. Недолго богомольцы будут спокойио взирать иа проказы греховодииков. И опасения мои подтвердились. Вдруг перед толпой возиикла рыжеволосая Домка Землячиха. Да, это была оиа, иоровистая и заиозистая вдова. Несколько мииут она смотрела иа школу. Потом обериулась к толпе и замахала иад головой руками. И тотчас, словио подчиииившись ее команде, группа парией бросилась к ограде, а потом к школе. И сразу же дверь загудела от тяжелых ударов.

— А иу, отпирай, комса! И готовься на небеса!

— Отчиняй двери, дьяволы! Не то порешим всех до едииого!..

Я сиова припал к наблюдательному глазку. И в ту же мииуту увидел Машу. Оиа промелькнула перед окиом. Сразу же доиесся ее голос:

— Убирайтесь, кулачье! Уносите ноги, пока целы!..

Я продолжал смотреть в окио. В поле моего зреиия появнлись две фигуры. Маша тащила от крыльца Дему Лапонина. Он зло отбивался, ио Маша не отставала. Тогда Дема ударил ее в лицо. Оиа отлетела иазад и упала иа спииу.

Я распахнул окио, выпрыгиул в ограду, подбежал к Маше. Она обрадованно улыбнулась и протянула руки.

— Федя!

Я помог ей встать. Она вытерла окровавлеииый рот и кивком показала в сторону:

— Беги иа подмогу!..

А повыскакивавшие вслед за мной из окои ребята ата-

ковали врага. Не ожидавшие отпора, те отступали. Но отступали с боем, с каждой минутой усиливая сопротивление.

Передо мной оказался Миня Лапонин. Внутри у меня взорвалось что-то, и я принялся усердно работать кулаками.

— Вот тебе, гад! Будешь знать. Прыщ! Надолго запомнишь, вражина!..

Я бил Миню по чем попало, не чувствуя его ударов. В душе кипело желание уничтожить кулачонка. Оно рождало силы, смелость. А страх, только что подкашивавший ноги, куда-то улетучился, будто его и не было.

Слева от меня дрался Володька Бардин. Он хладнокровно отбивал наскоки Петьки Душина, щеголя и хвастуна. И на этот раз Петька выглядел разнаряженным. Хромовые сапоги с галошами, резиновые подтяжки на голубой косоворотке. И дрался Петька не ради дела, а ради девок, заполнивших ограду.

А справа пыхтел Прошка Архипов. На него наседал Ванька Колупаев, гармонист и сплетник. Гармонь висела у него за спиной. И при каждом его ударе рявкала. Оттого Ванька казался грозным. Но это не смущало Прошку. Он стойко принимал удары. И сам не оставался в долгу.

А дальше Илюшка Цыганков и Митька Ганичев вдвоем сдерживали Дему Лапонина. Весь красный от ярости, тот двигал кулачищами, как гирями. И ребятам приходилось несладко. Но они держались стойко. И не уступали врагу. И даже сами нападали, принуждая того пятиться назад.

Внезапно Миня схатился за голову. Я воспользовался этим и нанес ему несколько ударов по лицу. Прыщ рассвирепел. И беспорядочно замахал длинными руками. И вдруг снова схатился за голову. Будто кто-то еще, кроме меня, угостил его. Глаза кулацкого отпрыска расширились не то от боли, не то от изумления. И он отступил. Показалось, сейчас он бросится наутек. Это было бы неплохо. За ним наверняка побежали бы и другие. Но я не дал ему повернуться. И, не отступая, продолжал молотить его изо всех сил.

С этого момента чаша весов склонилась в нашу пользу, как будто не только Мине, а и другим сытым молодчикам кто-то невидимый наносил чувствительные удары.

Вражеский строй дрогнул, сломался, попятился назад. А мы еще яростней набросились на противника и под одобрительные выкрики толпившихся в ограде парней и девок стали теснить его к церковной паперти. И когда уже прижали к нижней ступени, на верхней неожиданно появилась фигура мельника и церковного старосты Комарова. С минуту он строго смотрел на дерущихся, как бы решая, к кому присоединиться. Потом поднял руки и властно крикнул:

— А ну, перестать! И разойтись!..— И как только мы расступились, гневно добавил: — Что за безобразие! Кто позволил бесчинство?..

Косясь друг на друга, мы отходили дальше. Миня вытирал распухший нос и не сводил с меня злобных глаз. Но я уже был прикован к мельнику. Кто-то донес ему, и он явился, чтобы помешать не драке, а ломке школы.

А Комаров решительно наступал на толпу:

— Убирайтесь отсюда! Все убирайтесь! Нечего тут делать!..— И когда в ограде остались только мы, подошел к нам и сердито спросил: — А вам что надо?

Мы не удостоили его ответом. Я махнул ребятам:

— Айда!..

Комаров последовал за нами. За порогом остановился, весь побагровел от гнева.

— Это что же такое? Да кто же вам позволил?

Я смело шагнул к нему и с вызовом ответил:

— Народ. Народ позволил!

— Сейчас же прекратите! — топнул ногой мельник.— Здание принадлежит церкви.

— Здание принадлежит народу.

— Я приказываю! — заорал церковный староста, поднимая кулаки.— Сейчас же убирайтесь отсюда!

— Не кричите, гражданин Комаров! — сказал я, тоже повышая голос.— Тут не мельница. И мы вам не работники...— И, повернувшись к ребятам, скомандовал:— По местам!..

Ребята старательно принялись за дело. Комаров некоторое время смотрел на нас выпученными глазами. Потом круто повернулся и выбежал из школы.

— За богомольцами ринулся, — сказал Андрюшка Лисицын, поеживаясь, как от холода.— Притащит самых ярых. И поломают они нас за эту поломку.

— Не поломают, — возразил Илюшка Цыганков. — Духу не хватит. А коль дойдет до того, дадим сдачи...

— Ладно! — хлопнул в ладоши Прошка.— Не будем гадать и разгадывать.— И повернулся к Денису: — А ну-ка, давай свои желуди. После такого боя самый раз подкормиться.

Дениска виновато ухмыльнулся. И сунул руки в пустые карманы.

— Нету желудей,— сказал он, переступив босыми ногами.— На врагов истратил.— И достал из-под картуза рогатку.— Из нее пулял.

Ребята с удивлением смотрели на подростка. Чуть ли не каждый из них видел, как враг хватался за голову. Теперь стало ясно, кто жалил их. Это были желуди Дениса, вылетавшие из его рогатки.

— Молодец! — за всех ответил Прошка, сжав плечи Дениса.— Ты помог нам выиграть сражение. За то тебе благодарность комсомола.

Робко вошли Яшка Поляков и Семка Судариков. Они часто откликались на наши дела. И сегодня чуть ли не первыми поддержали нас. И дрались геройски, о чем говорили ссадины на лицах.

Семка, точно угадав наши мысли, сказал:

— По верхней улице рысака бросил. Должно, кудысь за управой подался.

— А мы к вам,— вставил Яшка, виновато ухмыляясь.— Помочь поскорее закончить. И выручить, ежели коршуны опять слетятся...

* * *

Мы работали долго и упрямо. Гулко стучали топоры. Со звоном падали на пол высохшие доски. Я поглядывал на ребят и радовался. Они не дрогнули, а смело ринулись в атаку. Эта работа была продолжением атаки. И ничего, что на лицах у них были синяки. Раны, добытые в бою,— почетные раны. Я даже пожалел, что сам оказался невредимым. Миня больше оборонялся, чем нападал. Но зато ему-то уж досталось!

Внезапно к школе подкатил легкий тарантас, запряженный карим жеребцом. Из тарантаса выпрыгнул щеголеватый милиционер с ремнями крест-накрест. На ремнях висели шашка и наган.

— Моська Музюля! — хором вырвалось у иас.

Да, это был Максим Музюлев, а по-улнчиому — Моська Музюля. Наш же, зиамеиский, ои заиосился перед нами и придирался к мелочам. Я предложнл ребятам иичем не раздражать мнлнциоиера.

— Ииаче — труба!

Максим вошел в школу и, остаиовившнсь перед иами, крикиул:

— Именем начальинка мнлицнн прррриказываю! — Свирепо вращая глазамн, он осмотрел иас. — А ну, кто тут главиый иарушитель?

Я шагиул к иему и протяиул руку:

— Здорово, Максим! С приездом!

Музюлев окииул меия грозиым взглядом и, не прнияв руки, отрывисто спросил:

— Фамилиё?

— Что ты, Максим? — уднвился я. — Глаза заслепило?

Музюлев лязгиул клинком и завопил:

— Отвечать, как иа допрросе! Не то я вр-раз!

Я покорио иазвал себя. С этим Моськой шутить опасно. А Максим ехидио сказал:

— Так и есть, Касаткин! — Он расстегиул кобуру н тут же застегиул ее. — По какому прррраву беззакоине?

— Это не беззакоине, — возразил я. — Это культпоход.

— Какой еще такой культпоход?

— Натуральный, — пояснил я. — Поход за культуру. Вот мы н иачиииаем его. Перестраиваем заброшеииый дом в клуб. Потому что какой может быть культпоход без клуба.

Некоторое время Музюлев оторопело смотрел иа меня, словно не решаясь, верить или нет.

— А почему в райцентре не слышио об этом культпоходе?

— Как это ие слышио? — возразил я, радуясь, что сбил с Моськи гонор. — На днях там же собраиие по культпоходу проходило. И решеиие было.

Максим растеряино поморгал глазами н виновато ухмыльиулся.

— Ну да. Это было без меия. Я в эти дин отлучался. По спецзаданию начмила... — Ои позвал дожидавшегося на крыльце Комарова и, когда тот вошел, серднто ска-

зал: — Слушай, как же это? Они же не просто ломают, как ты брехал, а заброшенный дом в клуб переделывают. Культпоход!

Комаров приложил руку к груди и поклонился милиционеру.

— А где у них на это разрешение?

— Это какое такое разрешение? — возмутился Максим.— Разве на советскую власть мы просили у вас разрешения?

— Я не в том духе,— поспешил Комаров, снова сгибаясь.— Школа принадлежит церкви.

— Школа принадлежит народу,— вставил я.— Народ ей хозяин.

— И требуется разрешение церковного совета,— продолжал мельник, будто не расслышав меня.— А они самочинно. И начальник милиции приказал...

— Хватит,— перебил Музюлев.— Знаю, что начальник приказал. Ступай и жди...— А когда Комаров вышел, гаркнул:— Прекрратить анарррхию!

Я отказался подчиниться. Глаза Моськи опять пришли во вращательное движение.

— Арррестую! — снова заорал он, хватаясь за кобуру.— Сейчас же арррестую!

— Не имеешь права! — крикнул я, стараясь тоже вращать глазами.— Я секретарь ячейки. Без райкома не имеешь права!

Отпор озадачил Музюлева. С минуту он молчал, вперив в меня уже не вращающиеся глаза. Потом как-то сник, переступил начищенными сапогами.

— Что ж мне делать с тобой? — досадливо спросил он.— Начмил приказал прекратить и арестовать. А ты не прекращаешь и не арестовываешься. Как же быть?

Мелькнула заманчивая мысль. Выиграть время, чтобы больше сделать. И, не раздумывая дальше, я сказал:

— Могу выручить по-дружески. Поеду с тобой к начальнику. Но поеду добровольно, а не арестантом.

— Вот и хорошо,— обрадовался Музюлев.— Я знал, что мы сладимся. Свои же люди. Поедешь и сам расхлебаешь кашу. А то начмил меня вместо тебя посадит.

— Только уговор,— предупредил я. — Ребята будут продолжать культпоход.

Максим решительно махнул рукой:

— Валяй, бррратва! Пррродолжай культпоход!

И выбежал из школы. А я принялся охорашиваться. Торопиться было некуда. Да и пусть мельник позлится. Уж он-то сидит теперь в своем фаэтоне как на иголках.

Андрюша старательно смахнул с меня пыль картузом. Маша вытерла платком мое лицо. Платок сразу стал серым. Ее же гребешком я причесал волосы.

— А вы тут нажмите,— сказал я ребятам, смотревшим на меня так, как будто я отправлялся на казнь.— Чтобы поскорее закончить...

Только после этого, не спеша и вразвалку, как ходят независимые люди, я двинулся к выходу. Комаров и Максим дожидались в тарантасе. Мельник кнутовищем показал на козлы:

— Садись там.

Я покачал головой:

— Там не сяду. Не работник. Сами садитесь там.

Комаров весь затрясся от злости.

— Садись, тебе говорят!

— Нет! — решительно заявил я.— Там не сяду. Не мое место.

Максим тоже рассердился.

— Ну, что пристал? — остановил он мельника. — Он же и правда тебе не работник. Так садись сам туда и погоняй.

Скрипнув зубами, Комаров полез на козлы. Я же уселся рядом с Музюлевым. И сразу почувствовал себя наверху блаженства.

— Поехали! — предложил Максим, ткнув мельника в спину.— Да поживей! А то начмил соскучится...

Комаров взмахнул кнутом. Испуганно всхрапнув, жеребец с места рванул рысью..

* * *

Несколько лет Максим Музюлев провел в бродяжничестве. Вдоль и поперек исколесил русское Черноземье, побывал во многих городах Украины и Кавказа. Что искал он, непоседа, так и осталось тайной. Скорее всего легкую и красивую жизнь, до которой был охотник. Но жизни красивой и легкой нигде не оказалось. Это было время послевоенной разрухи, страна только вставала на ноги. И Максим вернулся домой в родную Знаменку, где жила его мать.

Остановился Музюлев у первого плетня и залюбовался знакомым с детства селом. А оно уже купалось в синих сумерках. Белые хаты, рядами тянувшиеся вдоль улиц, погружались в дремоту и неярко поблескивали окнами. Кое-где на дальних огородах дымили костры. Наверно, там ребята жгли ботву и пекли картошку. По бурому выгону за селом медленно двигались подводы. Последние пахари возвращались с поля. Над высокими дубами у комаровского пруда черными тучами кружили грачи. Даже тут, в конце верхней улицы, ухо улавливало их карканье. А на золоченых крестах церкви, властно возвышавшейся над селом, догорали последние отблески вечерней зари.

Засмотревшись, Максим не слышал, как подкрался к нему мирской бык. И очнулся, когда тот с ревом бросился на пришельца. Должно быть, разъярили коровьего властелина красные галифе, ладно сидевшие на Максиме. Может, чем-то не потрафила и гитара, на бархатной ленте переброшенная за спину незнакомца. Как бы там ни было, а бык самым определенным образом намеревался вспороть Музюлеву живот. Но того это, конечно, не устраивало.

И завязалась неравная борьба.

Схватив быка за рога, Моська всей тяжестью повис на них. Бык же, стараясь сбросить человека, яростно мотал головой. Видя прямо перед глазами красные штаны, он ревел. Максим же, цепко держась за рога, метался из стороны в сторону. Малейшая ошибка могла привести к катастрофе. Но Музюлев был не из трусливых. Он не терялся даже в минуты страшной опасности. Не растерялся он и теперь. Изловчившись, он схватил быка за ноздри и вонзился ногтями в скользкую и нежную переносицу. Взревев, бык попятился назад. И задними ногами угодил в яму, из которой брали глину. Воспользовавшись этим, Музюлев подбежал к быку сзади и с силой ударил его сапогом. Бык выпрыгнул из ямы и хотел было снова наброситься на красные галифе, но было уже поздно. Максим схватил его за хвост у самого корня и заорал во все горло:

— Урррааа!

Этого бык уже не мог вынести. Спасаясь бегством, он со всех ног бросился по улице. Музюлев же, продолжая кричать «ура», во весь опор несся за ним. В сгущав-

шемся сумраке мелькали красиые галнфе. А гитара за спнной бренчала всемн семью струнами.

У переулка бык вдруг круто свернул. Не удержавшнсь, Моська сорвался с хвоста и кубарем покатнлся по земле. Подиялся в жалком, даже непрнстойиом внде. Гитара обломкамн внсела на шее. А галифе лопнулн сразу на обенх ягодицах.

Так Музюлев вернулся на родину. Над этнм долго потешалнсь. Но сам Макснм ие очень сокрушался происшедшим. Через иекоторое время он поступнл в мнлнцню н получнл новое форменное обмунднрованне. Красиые же галифе распорол по швам и заставнл мать сшить в полотннще. Полотнище прнбнл к палке. И в первый же революцноиный праздннк, а это был день Октябрьской революцни, вывесил этот флаг иад крыльцом хаты. А только иедолго красная тряпка трепыхалась на осеннем ветру. На другой день к Музюлевым явился Лобачев, председатель сельсовета. И потребовал немедленно снять ее.

— Не то я вынужден составнть протокол. И привлечь тебя к ответу за оскорблеине советской власти...

Максим недоуменио пожал плечамн и подчиннлся. А потом завериул в красиый лоскут осколки гитары, перевязал струнами н закопал в землю. И кто зиает, может быть, вместе с остатками бродяжннчества захоронил он и ту часть душн, которая так долго не давала покоя?

Обо всем этом я вспоминл, сндя в комаровском тарантасе рядом с Музюлевым. Вскоре тараитас подкатнл к милицейскому дому и остановнлся у главиого подъезда. Макснм первым спрыгиул на землю н приказал нам следовать за ним. Я двинулся в обход лошадн, беспокойно бнвшей копытом. Виезапио лнцо полоснула боль. Я схватнлся за щеку и увидел, как осклабнлся мельннк.

— Да стой же ты, дьявол! — выругался он, вожжами осажнвая жеребца.— Не то еще раз огрею!..

Да, он умело огрел его. Так огрел, что обжег н меня. Щека пылала, как разрезанная. Но я ничем не показал болн. Пусть не ждет, что комсомолец расплачется. Этого иикогда ие будет.

В передней за столом сидел молодеиький мнлиционер и двумя пальцами тыкал в пишущую машиику. За дверью с таблнчкой «Начальннк И. М. Малннин» слышались голоса. Музюлев докладывал о зиамеиской операцин.

В результате этой операции в райотдел милиции доставлены представители враждующих сторон.

В переднюю вошел и Комаров. Присел на скамью у самой двери кабинета, благоговейно сложил руки на коленях. А я стоял у окна и с тяжелым чувством ждал. Лицо горело, обида сжимала горло. Но я старался не показывать возмущеиия. И прятал щеку от мельника. Конечно, он ударил умышленно. Но пусть лучше думает, что промахнулся.

Из кабинета выбежал Музюлев. Оставив дверь открытой, он кивнул мне:

— К иачальнику!

Я вошел в комнату и увидел огромного человека. Затянутый в ремни, он стоял за столом и строго смотрел на меня. Длинные рыжие усы его шевелились, а острые глаза пронизывали меня насквозь. Ноги мои сразу отяжелели, а по спине волной прокатился холод.

— Что стал? — сказал начальник густым басом, не предвещавшим ничего хорошего.— Шкодить мастер, а отвечать — в кусты! А иу подойди, подивлюсь...

Ноги кое-как пододвинули меня к столу, а глаза со страхом уставились в мясистое лицо. Еще раз оглядев меня, начальиик сердито сказал:

— Ты что там партизанишь? Кто дал тебе право нарушать законы? Что ж молчишь? Или ты думал, что это сойдет тебе с рук? Черт знает что! Безобразничают, своевольиичают. А за иих тут оправдывайся и выверты-вайся. Ну, отвечай. Что натворил там?

С огромным усилием я выпростал язык и зачем-то переступил с ноги на ногу.

— Мы хотели... У иас нет клуба... А школа народиая... На конференции по культуре...

Я хотел было сказать, что это Симонов подсказал нам, но начальник остановил меня:

— А это что такое? Кто тебя так?

Я невольио провел по щеке рукой.

— Он, Комаров.

Широкое лицо Малинина потемиело.

— Как же это?

— Ударил жеребца, а попал в меня.

По губам начальника скользиула усмешка.

— Ишь ты, ловкач! Ударил жеребца...

Он вышел из-за стола и позвал Музюлева. Тот в ту же минуту вырос на пороге.

— Слушаю, товарищ начальник!

Малинин решительно махнул рукой:

— Комарова!..

Мельник вошел спокойно и уверенно. Остановился посреди комнаты и угодливо улыбнулся. Но Малинин ничего не заметил. Подойдя к Комарову, он качнулся на скрипучих сапогах, будто собираясь ударить, и насмешливо сказал:

— Так, так. На других — с жалобой, а сам — за рукоприкладство?..

Комаров попытался было что-то возразить, но Малинин остановил его:

— А ну-ка, гляньте на свою работу. Гляньте хорошенько...

Я повернулся к мельнику щекой. Тот побледнел и потупился.

— Нечаянно, гражданин начальник!

— Ага, нечаянно! — злорадно повторил Малинин.— Метил в жеребца, а угодил в комсомольца! Да еще в секретаря ячейки? Ну, знаете!..— Он зашел за стол, костяшками пальцев постучал по нему.— Жалуетесь на беззаконие, а сами... Или законы только для нас, а вы от них свободны?..— Он опять вызвал Музюлева и приказал составить протокол.— И арестовать. Арестовать обоих. До особого распоряжения!..

* * *

Музюлев водворил нас в одну камеру. Пожелав арестантам всего хорошего, он закрыл дверь и звякнул замком.

Комаров злобно хихикнул и сказал:

— Вот уж никогда не думал, что придется сидеть с каким-то комсомольцем.

— А мне никогда не приходило в голову, что буду наедине с кулаком под запором.

— Я не кулак! — рассвирепел мельник. — Слышишь ты, голодранец? Я хозяин! И всегда буду хозяином!

— Что кулак, что хозяин — одна сволочь,— выпалил я.— А вот будете ли вы хозяином всегда, это еще мы посмотрим.

— Кто это — мы? — зашипел Комаров, покрываясь красными пятнами.— Кто, я спрашиваю?

— Народ,— стараясь быть спокойным, ответил я.— Народ решит, хозяйничать вам или нет. А скорее всего, выбросим всех вас на свалку и сами станем хозяйничать.

Комаров весь затрясся. И сунул мне под нос кукиш.

— А вот на-ка, выкуси! Сам и со своими бандитами. Не быть тому, чтобы вы добром моим пользовались! Никогда не быть! Ишь чего захотели! Хозяйничать! Да мы вас скорее в порошок...

— Но, но, гражданин Комаров! — сказал я. — Осторожней. Вы не на мельнице, а в милиции. Держитесь поприличней.

Комаров зло расхохотался.

— Слыхали? Щенок учит меня! Меня, Комарова!..— Он подступил ко мне и заскрежетал зубами.— Я вот сейчас возьму и удавлю тебя, как... как... как...— И протянул руки с пальцами, похожими на когти.— Вот сейчас покажу тебе народ.

Я отступил в угол и невольно оглядел камеру. Тесная, с маленьким оконцем, забранным железной решеткой. Ускользнуть в такой тесноте немыслимо. В самом деле, схватит и удавит. Вон они у него какие, ручищи! Да и сам — крупный, плотный, как дуб. Нет, с таким не справиться!

А Комаров шипел, брызгал слюной:

— Всех уничтожим, всю коммунию и комсомолию! Чтобы никогда не соединялись, пролетарии!

Глаза его наливались кровью, грудь вздымалась. Казалось, он лишился рассудка и готов был на что угодно. Надо было как-то оглушить его, чтобы опомнился, и я спокойно сказал:

— Погодите уничтожать. Сперва три года отсидите.

Мельник вздрогнул, как от удара. Сжал кулаки и опустил их.

— У-у-у, дьяволы! — простонал он.— Холеру бы на вас! И всех до одного!..

Он тяжело опустился на топчан и затих. А я вышагнул из угла и насмешливо спросил:

— Что же вы, гражданин Комаров? За собственную шкуру сдрейфили?

Комаров не ответил. Он будто сразу оглох. Я присел на противоположный топчан.

— Времеиа ваши улетучились. И вам уже ие сладить с нами. Руки стали короткими. А у нас выросли. И еще будут расти...

Комаров молчал. Весь съежившийся, ои уже не казался страшным. Я вытянулся иа голых досках, подложил руки под голову. Усталость валила с ног. Сколько труда и волиеиий! И все за один день.

Вспомнились ребята. Конечно, они уже разорили внутренность школы. Остались стены, пол да потолок. Скоро эту коробку мы иаполним новым делом. Каким будет это дело, я еще не зиал. Но твердо верил: оно будет интересным и полезным.

Я снова бросил взгляд иа Комарова. А может, и правда народ скоро расправится с богатеями? И станет сам распоряжаться их богатством, нажитым чужим трудом? Словно почувствовав мой взгляд, Комаров выпрямился, посмотрел на меня и скривился, будто проглотил какую-то гадость.

— Слушай ты, малый! Тебе говорю, хамлетина!

Я ничем не показал готовности к разговору.

— Оглох, что ли? — продолжал мельиик.— Или язык прикусил от страху?

Я презрительно фыркиул:

— Ошибаетесь, граждании Комаров! Я-то не испугался. А вот вы дали трепака.

Комаров что-то проворчал, должио быть выругался. Потом сказал, поерзав на шершавых досках:

— Ладно, черт с тобой! Слушай, что говорю...

— Между прочим, у меня есть имя.

— Зато у тебя нет учтивости, босяк!..

Я ие отозвался и продолжал пялить глаза в потолок. Мое равиодушие бесило мельника. А мие это и надо было. Не всегда сила солому ломит. А дух возвышает даже иемощных. Но Комаров тоже умел сдерживаться.

— Хорошо. Как тебя там? Ну, Хвилька.

— Не Хвилька, а Филька, раз на то пошло,— разозлился я.— И без всякого иу. Я вам ие батрак, чтобы иукать.

Комаров весь передернулся. Даже расправил пальцы, как стервятник когти. Но сиова сдержался, подавил ярость.

— Ну, слушай же, Филька,— с шумом выдохнул он.— Я предлагаю мировую.

— Мы непримиримые враги.

— А, дьявол! Ну, не мировую, а так... Сделку, что ли?

— На сделку с классовым врагом не пойдем.

— Да чтоб тебе, поганец! — прохрипел мельник.— С ума сведешь, собака! Ох ты, мать божья! Ну, как там? Договор, что ли? Давай договоримся. Отдадим школу. Делайте с ней что хотите. А за это скажешь, что ударил нечаянно.

— Как же нечаянно, когда с умыслом? — возмутился я.

— С умыслом,— подтвердил Комаров.— А почему? Обозлил ты меня. Расселся в тарантасе, как барин. А меня в кучера превратил. Вот и взяла злость. А ты скажи, что ненароком. И будем квиты...— Он подался ко мне, словно хотел, чтобы я понял все.— Ну, подумай, какая тебе выгода, что меня упрячут? Да и упрячут ли? Свидетелей-то не было. Отопрусь и выкручусь. Но школу тогда не получите. Ни за какие деньги.

Он четко выговаривал слова, будто хотел поглубже вогнать их в мою голову. Но этого и не требовалось... Я хорошо понимал его намерение. Выиграть на проигрыше. И все же не хотелось поднимать шума. Подумаешь, какой-то рубец! Мало ли их было, рубцов? Пройдет несколько дней, и от него не останется следа. Да и в суд тащиться из-за этого охоты не было. Тем более что там и меня самого по головке не погладят. Школу-то разорили мы самочинно. Нет, уж лучше обойтись без суда и прочего разбирательства. Но унижаться соглашением с кулаком тоже не было никакого желания. И потому я решительно заявил:

— Договариваться с вами тоже не намерены. А школу все равно заберем. Она не ваша, а народная. Понимаете? А вам лучше всего не противиться. И отдать ее подобру-поздорову. А что до вас лично... можете не трусить. Мы не такие, как вы, жлобы. Не занимаемся тяжбами.

— Спасибо,— пробурчал Комаров.— Я вижу, ты хоть и комсомолец... И в случае нужды...

— Благодарствуем,— в свою очередь сказал я.— Лично от вас нам ничего не требуется. И на этот счет можете быть спокойны...

После обмена такими любезностями мы снова за-

молчали. А рыжие пятна на потолке уже расплывались. Камера затягивалась мглою. Наступал вечер. Снова подумалось о ребятах. Как-то они там? Наверно, и не подозревают, что секретарь — в каталажке? В душе заворошилось беспокойство. Долго ли еще будут держать? И за что арестовали? И посадили под замок? Да еще вместе с заклятым врагом!

Но вот за дверью послышался скрежет, и она, взвизгнув, открылась. Из темноты выплыл Музюлев. Я обрадовался и кинулся к нему:

— В чем дело, Максим? За что меня посадили?

— Арестованный! — строго сказал Музюлев.— Здесь нет Максимов.

— Извини,— попятился я назад.— Хотел узнать, когда меня освободят.

— Я и пожаловал за твоей персоной,— сказал Максим и остановил Комарова: — А ты посиди еще. Твой срок не пришел...

В кабинете Малинина я увидел Симонова. Он кивнул мне в знак приветствия и раздраженно сказал:

— Все же это — безобразие. Хоть бы посадил в разные камеры.

— А где они у меня, разные камеры? — отбивался Малинин.— Одна была свободная. Что оставалось делать?

— Не знаю, ничего не знаю,— возмущался Симонов.— Посадить секретаря ячейки! Да еще вместе с кулаком! Это же черт знает что! Я поставлю вопрос в райкоме партии.

— Пожалуйста, ставь, твое право,— пожал плечами начальник милиции.— Но у меня не было другого выхода. Я должен был задержать обоих. И сделал это ради пользы...

Симонов, так и не успокоившись, ушел. А я сказал Малинину, что решил не жаловаться в суд. Начальник одобрительно закивал головой.

— Вот и правильно. Его нелегко зацепить. Скажет: ненамеренно. И все тут. А судья у нас такой... Формалист и буквоед...

Привели Комарова. Тот поклялся, что пальцем меня больше не тронет.

— Смотрите,— предупредил Малинин.— Еще раз... И не ждите пощады...

И приказал освободить обоих. Мы вышли на улицу. Комаров отвязал застоявшегося жеребца, сел в тарантас и покатил по вечерней дороге. А я, гордый победой, двинулся пешком.

* * *

Вскоре после этого церковный совет решил передать для нужд общества здание бывшей церковноприходской школы. Бумагу такую доставил в сельсовет косоглазый пономарь Лукьян. Лобачев даже растерялся от необыкновенной доброты церковников. А мне с необычайным возбуждением сказал:

— Ну молодцы! И как это вам удалось? Мы-то уже ломали о них зубы. Дважды пытались и ничего не добились. А все потому, что стоит это здание за церковной оградой. А туда наша власть пока что не распространяется...

Мы же прямо-таки ликовали. Еще бы! У нас теперь будет настоящий клуб. Скоро мы будем ставить спектакли, собирать молодежь, проводить разные вечера. А пока... Пока же мы работали не покладая рук. Благо, дома ничем не были заняты. В поле подсолнух уже прополот, а рожь лишь дымилась пыльцой. Луга же для сенокоса только подходили.

Мы строили сцену. Разметил ее отчим. Он явился в клуб как бы невзначай и проторчал с нами до вечера. Но дела продвигались все же медленно. Не хватало материалов. Не все можно было сделать своими руками. Лобачев всякий раз отнекивался и, скупо улыбаясь, говорил:

— Не паниковать, ребята. Раз уж взялись, так дуй до конца. На готовое и дурак сядет. А вы найдите выход из невозможного. Вот тогда будете герои...

Нужна была перекладина над сценой. А ее-то как раз и недоставало. Что было делать? В Хуторском лесу такую не добыть. Там — мелкота. Ехать в Хмелевое или Казенный лес — далеко. К тому же требовалось разрешение лесничества. А оно на порубку шло неохотно. И работа стала. Стала так, что хоть ложись да помирай.

После душевных мук я — будь что будет! — отправился искать счастья на мельницу. Я не знал, что скажу

мельнику. Но верил в успех. Да, это унижение, но во имя чего? Не личная же выгода толкала меня. А отказать Комаров не мог. Ведь я же выручил его тогда. Не будь моего согласия, сидеть бы ему в тюрьме. А то и штраф не заплатил. Ничем не пострадал. Как же тут жадничать? Даст бревно, непременно даст. И никому не проговорится. Не будет же церковный староста бахвалиться тем, что помогал богопротивное заведение строить.

Подойдя к забору, я увидел Клавдию. Она сидела на скамье у дома и читала книгу. Я окликнул ее.

Она подошла и озабоченно посмотрела на меня:

— Что угодно?

— Гражданина Комарова.

— А ты кто такой?

— Секретарь ячейки.

— Какой ячейки?

— Известно какой, комсомольской.

Клавдия открыла калитку и сказала:

— Пожалуйста. Заходи...

Мы подошли к дому и присели на решетчатую скамью. Клавдия спросила, как меня звать. Я назвался. Она перелистала странички книги и сказала, что отца нет дома.

— Но он скоро будет,— добавила она торопливо, словно боясь, что я уйду.— А мне приятно познакомиться...— И, глянув на меня, замялась.— Я даже собиралась повидаться... По делу... Не смогли бы вы принять меня в комсомол?

— Нет,— сказал я, скрыв удивление.— Классовых врагов не принимаем.

Клавдия обиженно вздернула черными бровями:

— Да какой же я классовый враг?

— Дочь классового врага. А это одно и то же...

Теперь брови ее сошлись на переносице.

— А отец мой, какой же он классовый враг?

— Хозяин мельницы. Богач чуть ли не на весь район.

— Хозяин, богач,— подтвердила Клавдия.— Но почему же из-за этого враг? Даже наоборот. Он согласен с советской властью, поддерживает ее...

Я рассмеялся, вспомнив, как Комаров грозился уничтожить коммунию и комсомолию. А Клавдия, недоуменно пожав плечами, продолжала:

— Ну да, и людям пользу приносит. Мелет муку, дает взаймы хлеб. Правда, за плату. Но как же без платы?

— И работников держит. А стало быть, эксплуатирует. Иначе сказать, наживается за счет чужого труда.

— Но кто-то должен работать на мельнице. Потом какая же это эксплуатация, если работники получают зарплату? И немалую.

— А зарабатывают твоему отцу во много раз больше.

— Но если бы мельница была государственной, они также работали бы и зарабатывали.

— Да. Они также работали и зарабатывали бы. А только польза была бы не одному человеку, а всему народу...

Клавдия сузила карие глаза:

— А ты, оказывается, грамотный.

Я равнодушно развел руками:

— Да уж какой есть...

Помолчали. Потом Клавдия вкрадчиво спросила:

— А если я уйду от отца, порву с ним? Тогда примете?

Я мельком взглянул на нее. Неужели она способна на такой шаг? А может, дурачит меня? И я решил не раскрываться перед ней. И сказал:

— Нет, не примем.

— Почему?

— А все потому. Порвать с отцом — этого мало. Надо еще заслужить...— И снова с любопытством посмотрел на нее: — А на что тебе комсомол?

Клавдия снова замялась. Опять перелистала книгу, которую держала в руках.

— В этом году я собираюсь поступить в университет. И вообще,— поспешно добавила она, видно решив, что проговорилась.— Я бы очень хотела вступить. Мне очень нравится в комсомоле.

— Ничего не выйдет,— сказал я.— Богачей не принимаем. Они наши классовые враги.

Клавдия закусила губу. Так сидела некоторое время. Но вдруг, словно вспомнив что-то, спросила:

— А ты любишь читать книги?

— Люблю,— признался я.— Даже очень.

— А что читал?

— Разное. «Тайну пятиадцати», «Дон Кихота», «Капитанскую дочку». Еще кое-что.

— «Тайну пятиадцати» не знаю. А «Дон Кихот» и «Капитанская дочка» — это хорошо. Интересные книги. И полезные.— Она снова резанула меня узкими глазами.— А стихи любишь?

Я признался, что люблю и стихи, назвал Пушкина, Некрасова и Кольцова. Все эти книги были в сундуке, который переехал к нам вместе с отчимом. Клавдия показала мне книжку и спросила:

— А вот этого поэта читал? Сергея Есенина? Вот, посмотри.

Я глянул на голубой томик и повертел головой:

— Есенина не читал. Не знаю такого.

— Очень интересный поэт. Можно сказать, гениальный. Вот послушай...— Она раскрыла книгу и, странно завывая, прочитала короткое стихотворение.— Чувствуешь, какая сила? А какая глубина проникновения! Настоящий певец России!..— И опять скосила карие глаза.— А он был богатым. Даже очень. За стихи получал много денег. И не только в России, а и за границей. Отовсюду рекой текло к нему золото. И никто его за это не считал врагом. Наоборот, советская власть даже гордилась им. Как же тогда понять? Богатый мельник — классовый враг, а богатый поэт — классовый друг. Где же тут логика?

Я не ожидал такого оборота. К тому же не знал, что такое логика. И конечно, стушевался. Но скоро овладел собой и сказал:

— Про Есенина ничего не знаю. Какой он — гениальный или нет, богатый или бедный — ничего сказать не могу. А вот про отца твоего, тут ясная логика. Классовый враг. Да к тому же заклятый...

Клавдия нахмурилась, с пренебрежением оглянула меня и вдруг спросила:

— А ты драные брюки носишь, чтобы хвастать своим пролетарским происхождением?

Я внимательно осмотрел свои штаны. Действительно, драные вдоль и поперек. Но дыр-то не видать. Все аккуратно залатаны. И латки такие ладные, даже разноцветные. Просто залюбуешься. Нет, что ни говори, а мать, видно, на такие дела мастерица. Только сзади малость сплоховала. На обеих половинках посадила круглые, тем-

но-синие заплаты. Будто глаза какого-то зверюги. Вот тут, как видно, перестаралась. А во всем другом... Нет, мне заплаты даже нравились. Бывает куда хуже. И потому я не без гордости ответил:

— Да, брюки драные, это правда. А только ношу их не затем, чтобы похваляться. Нет. Щеголяю в них, чтобы отцу твоему угодить.

— Как это?

— А вот так. Он любит называть нас голодранцами. Ну, чтоб величал так не напрасно.

— А вы что ж, не голодранцы?

Меня забавляла ее злость, и я с нарочитой серьезностью сказал:

— Голодранцы. А только если уж на то пошло, то голодранцы не просто какие-то, а великие.

Клавдия громко рассмеялась:

— Понимаю. Великие потому, что заплат великое множество.

— Нет, не потому. Великие потому, что великое дело делаем. Старый мир разрушаем, а новый строим.

Но болтовня надоела мне, и я спросил, как скоро явится ее отец. Клавдия глянула на ручные часы и в свою очередь спросила, на что он мне.

— Хотел попросить у него бревно.

Клавдия с недоумением глянула на меня.

— Какое бревно?

— Обыкновенное,— сказал я и пояснил: — Церковную школу в клуб перестраиваем. Может, слыхала? Для сцены нужна перекладина. А ее нет. И достать негде. Вот я и решился. Может, отец твой расщедрится? У вас же их, бревен-то, на мельничном дворе — целая гора.

Клавдия не сразу ответила. Она заметно колебалась. Какие-то чувства боролись в ней.

— Про школу и клуб слыхала,— наконец сказала она.— Молодцы, что отвоевали. Одобряю. А насчет бревна... Я передам отцу. Но не ручаюсь. Он у нас не очень-то щедрый.

— А ты скажи: Касаткин, мол,— посоветовал я.— Секретарь ячейки.— И показал на незаживший рубец на щеке.— Про печатку эту напомни. Может, она подействует?

Клавдия нахмурила красивое лицо и пообещала передать отцу все так, как просил я.

* * *

А утром на следующий день, войдя в клуб, я увидел на полу кругляк длиной во всю сцену. На кругляке сидели Илюшка Цыганков и Митька Ганичев. Вид у ребят был усталый, но в глазах светилось торжество.

Напустив на себя равнодушие, Илюшка сказал:

— Проблема разрешена. Получай обрубок. И выделывай перекладину...

Я осмотрел дубок. Ошкуренный, ровный, выдержанный. Перекладина — на сто лет.

— Откуда он появился?

— Из Сергеевки приволокли,— ответил Илюшка.

— Где же вы его там раздобыли?

— А на мосту,— пояснил Илюшка.— Мост там новый начинают строить. Старый-то половодьем снесло. Вот общество и затеяло новый. На днях дубки завезли для свай. Ну, мы с Митькой и решились. Вечером он запряг лошаденку, и мы отправились. Понятно, не сразу туда, а в объезд. Долго колесили по полю, пока совсем не стемнело. Потом заехали в болото, скрыли лошадь в кустах и своим ходом незаметно подкрались к речке. Скатили сваю с насыпи, заарканили веревкой и потащили.

— Как пыжились! — добавил Митька, почему-то весь поеживаясь.— Дуб тяжелый. А тут — кусты да родники. Илюха два раза чуть не с головой нырял. Вон до сей поры мокрый. А мне по ноге этой сваей садануло. Да так, что и сейчас больно.

Он вытянул правую ногу. Ступня заметно вспухла и посинела.

— Все это ерунда,— не без гордости сказал Илюшка.— Главное — дело сделано. Цельный дубок. И такой, что звенит. Теши, строгай, укладывай на место...

Они рассказывали о краже, как о подвиге. А мне стало страшно. Оттого, что за это, может быть, придется отвечать, и оттого, что они не сознавали, что натворили.

— Погодите-ка, ребя! — остановил я Илюшку.— Как же это так? Это же воровство. Самое обыкновенное.

— Какое воровство? — возразил Митька.— Что ты выдумываешь? Мы выручили ячейку...

— Вы украли сваю,— перебил я.— Украли, понимаете? Совершили недостойный поступок!

— Слушай,— скривился Илюшка.— Не раздувай кадило. Подумаешь, украли! Какой-то дубок!.. А для чего взяли? Не для самих же себя!

— Для чего бы ни взяли,— горячился я.— А взяли без спросу. Стало быть, украли. Он не наш, тот дубок. Не наш, понимаете? И вы не имели права...

— А как же школа? — спросил Митька.— Школу-то мы тоже без спросу. Не сваю какую-то, а школу.

— Школа — другое дело,— настаивал я.— Ее захапали церковники. Ясно? Тут столкновение классовых интересов. И борьба культуры с невежеством. А мост...

— Ну, развел антимонию,— разозлился Илюшка.— Сколько пережили. Думали: получим пышки, а он нам шишки. Обидно...

А Митька, прихрамывая, прошелся вдоль кругляка и с горечью сказал:

— Знал бы, ни за что не поехал...

Я понимал их отчаяние. Но не мог заглушить возмущения. Украсть сваю! И у кого же? У таких же, как мы, людей, решившихся на общественное дело. Нет, такое оправдать нельзя. Ничем и ни под каким видом.

Когда явились ребята, я рассказал им о случившемся. Они долго и хмуро молчали. Первой собралась с духом Маша.

— А честь ваша где? — спросила она Илюшку и Митьку.— О ней вы подумали?

— Удивительно! — воскликнул Сережка Клоков.— Надумали — и помчались. И никому ни слова. А разве ж так можно? На что ж тогда ячейка?

— Ну ладно,— заметил Андрюшка Лисицын.— Хватит шпынять. Давайте думать, как быть.

— А что ж тут думать? — сказал Володька Бардин.— Вернуть сваю — и весь разговор.

— Как вернуть? — не понял Митька Ганичев.

— А как взяли, так и вернуть,— пояснил Володька.— Ночью. Через то же болото, чтобы никто не видел.

— Да,— согласился Прошка Архипов.— Ничего другого не остается. Вернуть так, чтобы ни одна душа не узнала. А самим — молчок. Иначе позор всей ячейке.

Илюшка сидел прямо и напряженно. Челюсти его были стиснуты, глаза блестели слезами. Расстроенным выглядел и Митька. Дотронувшись до ушибленной ступни, он прохныкал:

— Опять тащить. Он же такой грузный, дуб. А там болото. Вон какие мы грязные.

— Я пойду с вами,— сказал Прошка Архипов.— И помогу. Что ж теперь делать?

— И я,— обрадовался Андрюшка, словно вызываясь на прогулку.— Вчетвером сподручней. Двое — на одном конце, двое — на другом...

Спросили Илюшку и Митьку, как они думают. Илюшка обиженно усмехнулся и сказал, что сделает так, как решит ячейка. А Митька, тяжело вздохнув, повторил, что не решился бы, если бы знал, что все так обернется.

— Нынче же вернуть сваю,— заключил я.— Илюшке и Митьке помогут Прошка и Андрей. Больше никого не надо. Чтобы не было лишнего шума...— Я перевел дыхание и продолжал: — А еще предлагаю... Товарищу Цыганкову объявить выговор за то, что запятнал воровством комсомольскую честь. Вот так. А насчет товарища Ганичева... отложим прием его в комсомол на три месяца. Чтобы на ошибке этой воспитался...

Ребята угрюмо молчали. Илюшка опустил голову и свел плечи, будто наконец почувствовав тяжесть, свалившуюся на него. Митька весь залился краской, будто ему стало стыдно за самого себя.

— Итак, решаем,— сказал я дрогнувшим голосом.— Голосую, кто «за»?

Ребята с видимым усилием подняли руки, точно они вдруг стали непослушными. И только Прошка Архипов сидел со сплетенными пальцами на коленях. Мы повернулись к нему и, не опуская рук, замерли в ожидании. А он, поглядев на Илюшку, глухо сказал:

— Ладно. Голосую «за»...

Но руку так и не поднял. Может, потому, что в эту минуту в клуб неожиданно вошла Клавдия Комарова. Нарядная и веселая, она остановилась перед нами и дружески улыбнулась:

— Здравствуйте, великие голодранцы! — И запнулась, заметив нашу отчужденность.— Ой, простите! С языка сорвалось. Вчера ваш секретарь...— и кивком показала на меня,— вот он так назвал вас. Ну, я и повторила... Да не смотрите на меня так. Кажется, я человек, а не антилопа какая-то...— Она усмехнулась и подошла ко мне.— Я передала твою просьбу отцу. Сначала упрямил-

ся. И злился. А потом согласился. Так что можешь приехать и взять...

Краснея и путаясь, я сказал, что уже не требуется. Клавдия удивленно подняла крутые брови:

— Вчера требовалось, а сегодня не требуется?

— Вчера требовалось, а сегодня нет,— раздраженно подтвердил я.— И вообще... Не нуждаемся. Ясно?

Клавдия пожала плечами и наморщила лоб.

— Ну что ж. Была бы оказана честь.— И вдруг потупилась, словно чего-то смутившись.— А еще вот что. Насчет Есенина. Вчера я сказала неправду. Мне неизвестно, был ли он богат. Скорее — наоборот. Но душа у него была богатая. Потому-то он и писал так...— И протянула мне голубой томик.— Возьми. Я уже прочла. Да ну же, бери!

Ребята смотрели на меня во все глаза. А я глупо молчал и не знал, на что решиться. Принять подарок или отвергнуть? И все же любовь к книге взяла вверх, и я робко принял томик.

— Спасибо... А только зря... Я бы мог купить...

— Пожалуйста, читай,— сказала Клавдия.— Мне она не нужна. В городе у меня есть еще такая. Можешь совсем оставить. На память...

И кивнула ребятам, продолжавшим молча глазеть на нее. Показалось, она снова назовет нас великими голодранцами... Но она ничего больше не сказала и, шурша розовым платьем, вышла.

Когда за окнами проплыла ее фигура, Сережка Клоков спросил, с какой это просьбой я обращался к мельнику. Придумывать небылицу было стыдно, и я признался во всем. Точно оглушенные, ребята растерянно глядели на меня. Потом Прошка Архипов сердито произнес:

— Ну и ну! Скажи кто другой, не поверил бы. Непостижимо!

— Лучше украсть, чем лезть к кулаку за подачкой,— проворчал Илюшка.— Меньше позора.

— Нет, нет! — взволнованно воскликнула Маша.— И то и другое плохо. Даже противно! Но протягивать руку кулаку... Просить подаяния...

Негодовали все. И поносили меня на чем свет стоит. Идти за помощью к кулаку! Да еще к какому кулаку-то! К тому самому, с каким только что пришлось сразиться!

— А зачем поперся-то? — не унимался Прошка Архи-

пов.— За бревном каким-то. Ххха! Узнай люди — проходу не будет. Скажут: болтуны желторотые. Трубят о классовой борьбе, а к тому же классовому врагу за выручкой лезут.

Я понимал их возмущение и все же защищался. Мало ли еще приходится обращаться к богатеям? Почти вся беднота в кабале у них. Но никто же не осуждается. А тут всего-навсего бревно. Пустяк, мелочь.

— Дело не в мелочи, а в принципе,— сказал Володька.— И за бедноту не надо прятаться. Ты ж обращался к Комарову не от себя, а от комсомола. И поставил комсомол перед кулаком на колени.

— А видали, как эта птичка всучила ему подарок? — подбавил жару Илюшка.— Пожалуйста... На память...— И впился в меня черными, сверлящими глазами.— На какую память? Что промеж вас было? О чем ты должен помнить?..

Чаша переполнилась через край, и я перешел в атаку. Да, я ходил к мельнику не от себя, а от комсомола. Но просил то, что принадлежит народу. Даже мог не просить, а требовать. И недалеко время, когда мы потребуем у него куда больше. Так что в таком обращении нет ничего дурного. Что же касается подарка Клавдии, то тут они и совсем неправы.

— Гляньте на нее,— показал я на голубенькую книжку, в которую уже уткнулся Сережка Клоков.— Это же советская книжка. Советским поэтом написанная. Так что ж в ней опасного? Только то, что дала ее дочь мельника? Да и при чем тут я? Мало ли что взбредет ей в голову? А между нами ничего не было. И быть не могло. И помнить о ней я не собираюсь...

Восторженный выкрик Сережки прервал спор:

— Слушайте! Очень интересно! Честное слово!

И прочитал с радостным выражением:

Мы многое еще не сознаем,
Питомцы ленинской победы,
И песни новые
По-старому поем,
Как нас учили бабушки и деды.

— Слыхали? — спросил он, пробежав восхищенным взглядом по нашим лицам.— Правда, здорово? А вот дальше. Слушайте!

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране.
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

Голубые глаза Сережки светились, будто он поймал жар-птицу.

— Слыхали, а? Правда, здорово, а? Просто чудесно, а?..

И принялся снова читать. Чистый и ясный голос его звенел, переливался в большом зале. А мы слушали и успокаивались. Вот улыбнулась Маша Чумакова. Улыбнулась тепло, радостно. Просветлел и Володька Бардин. И взмахом головы забросил назад свой завидный чуб. Андрюшка Лисицын ближе придвинулся к Сережке, заглянул в книжку, точно не доверяя. И когда тот перевертывал страничку, задушевно сказал:

— Складно. Прямо песня...

Есенин утихомирил ребят. И все же они не забыли обо мне. И строго запретили обращаться к врагам за помощью.

* * *

Лобачев был один в комнате. Я принялся рассказывать о проделке Илюшки и Митьки. Рассказал без жалости и преувеличения. Все, как было, и ничего лишнего.

Лобачев слушал молча. Запавшие глаза его сужались и темнели. А скулы то и дело вздувались, будто он не только слушал, а и пережевывал новость.

Но глаза его снова широко открылись, когда я сказал, что ночью свая будет возвращена на место. Казалось, это удивило его больше, чем кража.

— Мы задали им перцу, Илюшке и Митьке,— говорил я, стараясь угадать, как отнесется ко всему этому председатель сельсовета и секретарь партячейки.— И постановили проделать все в обратном порядке. Конечно, это будет нелегко, но они сами виноваты во всем...

Лобачев встал и грузно зашагал по комнате. Он непривычно волновался. Схваченные за спиной руки перебирали пальцами.

— Сук-кины сыны! — наконец произнес он.— Что придумали! У самих же себя стащили. Одно за счет другого. И правильно, что задали им перцу. Так и надо стервецам...— Он посопел и добавил: — А насчет того, чтобы возвратить дубок... Это тоже правильно. Но... Раз уж так получилось... Да и вам же требуется... Не останавливать же работу в клубе из-за одного бревна... Поэтому ладно уж... Оставьте дубок у себя. И поскорей кончайте с клубом. А мы обойдемся. Выпросим у лесничего лишний. Придумаем что-нибудь и выпросим...

Трудно было сдержать радость. И все же я, как положено деловым людям, рассудительно заметил:

— Это нас здорово выручит. И настроение ребят поднимет. Вот только опасаюсь...

Лобачев снова остановился и с удивлением взглянул на меня:

— Чего опасаешься?..

Я выдержал его взгляд и даже помычал перед тем, как ответить.

— Как бы история не просочилась. Узнают люди...

— Да, да! — подтвердил Лобачев.— Узнают люди, и лопнет ваш авторитет, как мыльный пузырь.

— Вот этого и боюсь,— сказал я.— За ребят-то я ручаюсь: будут молчать до могилы.

— Ну, если ребята будут молчать, тогда чего же опасаться? — сказал Лобачев, усаживаясь на свое место.— Уж не думаешь ли ты, что я проболтаюсь?

— Нет, нет! — смутился я.— Но...

— Оставьте дубок у себя,— сказал Лобачев, принимаясь за какие-то письма.— И поскорей кончайте дело. Об остальном мы позаботимся сами...

Обратно я шел так быстро, как не ходят, пожалуй, иноходцы. Я бы даже пустился в рысь, если бы не мешало положение. Какой ни на есть, а все же руководитель. Приходилось сдерживаться. И отказываться от мальчишеских привычек. Да, да, мальчишеских. Давно ли я гонял взапуски со сверстниками? И не было никого, кто обогнал бы меня. А теперь приходится обдумывать каждый шаг. Время шло, и детство уплывало в прошлое. Кончался семнадцатый. Наступит страдная пора, и сровняются они, семнадцать. Мать говорила, что как раз в ту пору нашла меня под снопом. Вязала на помещичьем поле и нашла. И мне всегда представлялось, как вырос я

вместе с рожью. Уже давно знал, что это ие так, а с представлением таким не расставался. Почему-то хотелось думать, что ие мать, а сама земля родила меня.

Вспоминалась ребячья критика за обращеиие к мельиику. Да, конечно, они правы. Это ненамного лучше воровства. Клянчить у врага помощи. В камере я говорил Комарову, что иа сделку ие пойдем. А вчера решился иа такую сделку с собственной совестью. А почему так получается? С ребячеством еще ие совсем покончеио. К тому же опыта нет и знаний маловато. Зиачит, ума иадо набираться, к людям прислушиваться. И быть честным всегда и во всем. Подумав так, я иевольно покраснел, загорелись уши и щеки. Болтаю о честности, а только что поступил бесчестно. Об Илюшке и Митьке рассказал, а о себе умолчал. А почему? Забыл? Другие — на языке, а сам — в сундуке? Чужой котух протух, а свой — золотой?

«Ну хватит,— приказал я себе.— Все в меру. Еще будет время. Себя ие пожалею...»

Хотелось вбежать в клуб и закричать «ура». Но я опять подавил желание. Спокойно, дружище! Не мальчик, а секретарь. Держись, как положено. Я вошел медленио и деловито. Ребята разом прекратили работу и уставились на меня. А я взял с подоконника шнур, подал гирьку Прошке и подошел к дубку:

— Прикладывай в обрез...

Мелом я натер шнур и опустил у другого коица:

— Отбей!

Гришка Орчиков подскочил к середине кругляка, как тетиву, натяиул шнур и спустил его. Со звоиом ударившись о дерево, шнур отпечатал иа нем ровную меловую линию.

Отмерив десять вершков от первой меловой линии, я бросил аршии Прошке:

— Ставь на десять...

Прошка отмерил и поставил шнур с другой стороны дубка.

— Еще раз!..

Снова натянув шнур, Гришка отпустил его. Опять хлесткий удар, и новая меловая линия. Наматывая шиур на катушку, я сказал Илюшке и Митьке:

— Тесать!

Но ни Илюшка, ни Митька не тронулись с места. Не сводили глаз с меня и другие ребята. И тогда я сказал, сдерживая возбуждение:

— Сваю никуда не повезем. Сельсовет дарит нам этот дубок. Только чтобы это было в первый и последний раз. Ясно? А теперь — за дело. Я дал слово не канителиться...

* * *

Однажды в клуб вошли Лобачев и Дымов. Они остановились за порогом. И несколько минут молча наблюдали за нами.

Я первым увидел их. Лобачева, конечно, сразу признал. А Дымова, когда подошел к нам и поздоровался. Секретарь райкома партии не так давно прибыл в наш Потуданский район. И в Знаменке появлялся не часто. Я же видел его лишь один раз, да и то мельком. Как-то проходил мимо сельсовета. А он в сопровождении Лобачева и Родина, председателя селькресткома, подходил к тарантасу, запряженному парой сытых коней. Немного грузноватый, большелобый, с густыми, темными бровями и светлыми, чуть подсиненными глазами, он как-то сразу врезался в память. И теперь она живо воспроизвела, что запечатлела. И я сказал, обратившись к нему:

— Здравствуйте, Дмитрий Иваныч! Пожалуйста, заходите! Мы сейчас прекратим наш шурум-бурум!

— Здравствуй, товарищ Касаткин! — ответил Дымов и подал мне руку; назвал он меня потому, что Лобачев подсказал. Об этом нетрудно было догадаться. И все же это было приятно.— А шурум-бурум не надо прекращать. Мы как раз и заглянули затем, чтобы посмотреть, как вы тут шурумбурумничаете.

Шутка понравилась мне. Все же я остановил ребят. И они один за другим потянулись к нам. Дымов с каждым здоровался за руку. И мягким, немного низким голосом говорил что-либо приятное:

— Молодцы, ребята! Вот так и надо. А ждать будешь — ничего не получишь...— Или:— Смотри какие строители! Настоящие богатыри! Хоть усов и нет, а все же сами с усами!

А потом, когда поздоровался со всеми, закружил по залу, разоренному и захламленному. Трогал руками ост-

руганные доски, топал ногами, пробуя пол, задирал голову кверху, оглядывая потолок.

Внезапно он остановился перед Машей. Она одна продолжала работать. Стоя на подставке, глиняным раствором заделывала бороздки, оставшиеся в стенах от сломанных перегородок.

— А ты что же, сударыня, не приветствуешь начальство? — спросил он нарочито серьезно.— Или для тебя начальства не существует?

Только теперь Маша узнала его. Спрыгнула на пол. И, спрятав выпачканные руки под мешковиной, висевшей у нее на поясе, сказала:

— Здравствуйте, товарищ Дымов! Извините, не узнала!

— Охотно извиняю,— сказал Дымов, ответив на приветствие.— Тем более что беда не велика — не узнать начальство. Ты лучше скажи, как звать? Имя и фамилия?

Маша назвалась. Дымов кивнул. Точно хотел сказать, что имя и фамилия понравились. И снова спросил:

— Комсомолка?

— Комсомолка,— ответила Маша, почему-то краснея.— А если бы не комсомолка, не была бы тут.

— А еще есть комсомолки?

На это я ответил, что, кроме нее, других девчат в комсомоле нет.

— Одна она у нас,— сказал я.— Первая и единственная пока что.

— Да,— сказал Дымов, пристально глядя на Машу, у которой на лбу прилипли комочки глины.— Одна комсомолка — на все село. Мало. Совсем мало. Понимаю,— остановил он меня.— Не идут девчата? Боятся пересудов? Родители не пускают? Понимаю. Но надо преодолевать трудности. Надо работать и с девушками. Работать осторожно, вдумчиво. Чтобы не только пришли в комсомол, а и не вышли потом...— И, достав из кармана платок, вытер на лице у Маши глиняные комочки.— Платок чистый, не беспокойся.

Маша вся вспыхнула. И сказала смущенно:

— Спасибо! Но не стоило. Я ж все равно буду умываться. Смыла бы.

— А я в этом и не сомневаюсь,— сказал Дымов, пряча платок.— И сделал это не потому, что опасался, как бы такой не прошлась по деревне. Нет. Хотелось покреп-

че запечатлеть тебя в памяти. Чтобы потом, когда снова встретимся, сразу узнать. А кляксы эти помешали бы. Когда мы снова встретимся, их ведь на лице у тебя не будет. И я, чего доброго, не припомню. А это будет нехорошо.

Все это было сказано в шутку. И мы весело смеялись. Смеялась и Маша. Но краска не сходила у нее с лица. Она словно чувствовала себя виноватой, что предстала перед ним неумытой.

— Люблю, когда девчата смущаются,— сказал Дымов, дружески сжав плечи Маши.— Они от этого становятся милей и краше.— И, взяв меня под руку, подвел к раскрытому окну, выходившему в ограду.— А она не помешает вам? — спросил он, кивнув на церковь, громадой возвышавшуюся напротив.— Эта богоугодная цитадель?

Я не знал, что такое цитадель. Но догадался, что спрашивал он о церкви. И уверенно ответил:

— Нет. Мы не боимся ее. Наши спектакли будут получше ихних.

Дымов коротко рассмеялся. И озорно глянул на меня.

— А что! — воскликнул он.— Может, и правда так лучше? Потягаетесь, чья возьмет. Будут люди идти к вечерне. А уже тут, в ограде, возьмут да и завернут к вам на веселую комедию. А то постоят-постоят в церкви, позевают от скуки и подадутся сюда слушать песни вместо заунывных молитв.— И серьезно добавил:— Попробуйте. Как говорится, попытка не пытка. Ну а если обнаружится, что тягаться с ними на данном этапе трудно, можно перебазироваться на другое место.

Я слушал. А сам думал. Сказал ему Лобачев о сергеевской свае или нет? Не напомнит ли он об этом? И не учинит ли нам нагоняй?

Но Дымов ничего не напомнил. Или не знал. Или умолчал. Может, по глазам моим догадался, как нелегко было бы выслушать упрек? Допустили эту ошибку только двое, из коих лишь один комсомолец, а краснеть пришлось бы всей ячейке. И в первую очередь мне как ее секретарю.

В клубе Дымов оставался недолго. Он торопился куда-то. А может, не хотел, чтобы его видели здесь? Хоть церковный совет официально передал школу обществу, многие верующие негодовали. И осуждали не только наше вторжение в церковное учреждение, каким считали

приходскую школу, а и решение церковников, испугавшихся комсомольцев. И может, опасаясь, как бы эти недовольные не заподозрили районных руководителей в заговоре с нами, Дымов не задерживался? И простился с ребятами у выхода, попросив не устраивать ему шумные проводы.

Все же я последовал за ним. И увидел на площади у крайней хаты пару коней и кучера на козлах тарантаса.

По дороге Дымов наставительно сказал мне:

— С клубом поторопитесь. Чтобы до уборки урожая разделаться. А если не разделаетесь, закройте на время. В страдную пору надо, чтобы все комсомольцы работали в поле. Не сваливайте это трудное дело на одних родителей. А наоборот, помогите им вовремя убрать свой хлеб. Тогда все будут уважать вас...

Он говорил мягко, дружески. И так, как будто мы сами должны решать это. Но я воспринял его совет как указание. И заявил, что все комсомольцы в уборочную страду будут работать в поле. И не просто работать, а покажут пример другим. Дымов одобрительно кивнул. И когда мы остановились возле тарантаса, проницательно глянул на меня.

— Так и действуй, товарищ Касаткин! — сказал он, подавая на прощание руку.— И не забывай, что ты не просто секретарь ячейки. Ты в первую голову помощник партии. Непосредственный проводник ее идей среди молодежи. Вот так смотри на себя. И тогда успешней будешь решать трудные дела.

Он вскочил в тарантас. Лобачев сел рядом с ним. И кучер, усатый старик, дал волю застоявшимся лошадям. Они с места взяли рысью. И следом за тарантасом сразу же закурилась светлая дорожная пыль.

* * *

За этот день мы сделали больше, чем когда-либо. Прошка и я почти половину пола застлали досками. Илюшка и Митька уложили на место перекладину, выделанную из сергеевского дубка. Володька и Сережка отфуговали почти все бруски для рам. Одну такую раму Андрюшка и Гришка связали по всем столярным правилам. А Маша успела выровнять и побелить всю заднюю стену. И сделала это так, что позавидовал бы и маляр.

Когда иаступил вечер, мы уселись рядком иа край сцеиы передохнуть. Смущенио подергав носом, Андрюшка Лисицын сказал:

— Ннкак ие выходнт из башки. Надысь Клавка ляпнула: ие смотрите иа меня так, я не антилопа. А что это такое, антнлопа?

Ребята переглянулнсь, словио спрашивая друг друга. Володька Бардин неуверенно ответил:

— Кажнсь, породистая собака. Как Джек у мельинка.

Ребята заспорилн. Но Андрюшка остаиовнл их. И обратился ко мне:

— А ты, Хвиля, случаем не знаешь, что это за сатана?

Я тоже не знал, что это такое. Но ответил уклончиво:

— Читал в книжке, а ие запомиил. Прочту еще раз, тогда скажу.

— Нет, это не собака,— заметнл Сережка Клоков.— Скорей всего это звезда. Далекая и яркая.

— Что ж, она приравияла себя к звезде? — уднвился Андрюшка.— Почему ж тогда проснла не смотреть на иее так? Кажнсь, звезды-то мы любим?

— А собак разве мы не любнм? — возразнл Сережка.— Нет, антилопа — звезда. Далекая и недоступиая.

— Подумаешь, недоступная! — возмутилась Маша.— Да что в ней иедоступного? И совсем она не похожа иа звезду...

Маша отвечала Сережке, а жгла горящими глазами меия, будто я был виноват, что Клавдия выдумала какую-то аитнлопу.

* * *

Накануне мы отбили косы, наладнли крюки. Мать напекла чуть ли не целое снто коржиков. В свое время отчнм окрестил нх «жнримолчнками». А было так. Однажды Денис, уплетая такой коржик, спросил, как он иазывается. Мать, расстроеииая чем-то, сердито бросила:

— А, жри молча!

Отчнм тут же перевел ее слова на свой лад:

— Жирнмолчнк!

С тех пор и пошло. Но мы ие часто баловались коржикамн. Мать тратилась иа них лишь в редких случаях.

Начало же уборки урожая было редким из редких случаев. И потому-то она расщедрилась.

В поле вышли рано, когда на подорожнике блестела роса. Мы с отчимом несли крюки. Мне достался и жбан с водой. Мать и Нюрка с граблями на плечах двигались следом. В руках у них были узелки с едой. Позади всех плелся Денис. Недовольный, что разбудили чуть свет, он беспрестанно зевал и хныкал.

Утро занималось яркое и теплое. На высоком небе белыми барашками паслись редкие облачка. Горизонт на востоке расцветал радужными красками. Свежий воздух вдыхался легко, пробуждал во всем теле силу и бодрость.

Степь оживала с каждой минутой. По дорогам торопились косари и вязальщицы. Над хлебами, покачиваясь, плыли крюки и грабли. Лошадники весело обгоняли пешеходов. Им, конечно, хорошо, лошадникам. С урожаем своим управятся без тревог. А вот мы... И почему так устроено? Одни легко добывали хлеб. Другим он давался потом и кровью.

На делянке нас встретило солнце. Большое, полыхающее, оно только что встало над землей. И затопило все вокруг ласковыми лучами. Густая рожь приветливо бежала к нам, клонялась тучным колосом.

— Кормилица,— сказала мать, вытирая глаза.— Вот ежели б ты вся была наша. Тогда б то мы зажили полюдски...

Слова матери болью отозвались в сердце. «Ежели б вся была наша...» А почему она не вся наша? Мы же с отчимом пахали тут, сеяли. Только на лапонинских лошадях. И за это должны отдать половину урожая. Целую половину!

Отчим выкосил угол у дороги. Мать связала сноп и поставила его на попа. Я выкопал ямку в тени снопа, опустил в нее жбан. В земле вода не скоро нагреется. Там же, под снопом, Нюрка уложила еду, пригрозив Денису, чтобы раньше времени не трогал.

— А то ты известный шкода! Враз располовинишь...

Сбросив рубаху, я взял крюк.

— Пойду первым...

Отчим усмехнулся в усы и довольно сказал:

— Валяй, сынок! А тока не жалься, коль подкошу.

Острая коса легко прошла полукруг. Длинные паль-

цы крюка подхватили срезанную рожь, уложили ее на землю. Передвинув ноги, я занес косу и снова пустил ее полукругом. И опять она, будто играя, с нежным свистом скользнула над землей. Крюк казался игрушечным. Но я знал: так бывает сперва. А долгий день только начинался. И богатая рожь стлалась далеко вперед. Уже к обеду крюк станет таким, что с ним и вхолостую трудно будет сладить. Потому-то надо было беречь силы.

Отчим шел следом. Он косил споро. Тягаться с ним, опытным косарем, было небезопасно. Семь потов выжмет! Но отчим на этот раз не торопился. Тоже берег силы? Или жалел пасынка?

На мой ряд стала Нюрка. Граблями она быстро сгребала рожь, выхватывала из нее два пучка, скручивала перевясло и ловко вязала сноп. И двигалась дальше, подгребая за собой оставшиеся на стерне колоски. Она была работящей, сестра. За всякое дело бралась с живостью. И все делала добротно. А работая, напевала. Так вот и теперь. Едва став на ряд скошенной ржи, она затянула песню. И на душе стало как-то радостней, словно солнце засветило ярче.

Мать вязала за отчимом. Она также проворно сгребала скошенную рожь, скручивала перевясло, одним движением связывала сноп. Она тоже была трудолюбивой и не жалела себя ради нас, детей. Только ради нас она вышла за человека, годившегося ей в отцы, в жертву нам принесла свою молодость. Мы же горячо любили ее и старались не перечить даже тогда, когда, поддавшись горю, она была неправой.

За матерью и Нюркой двигался Денис. Он подбирал снопы и таскал в одно место. В конце дня мы сложим их в крестцы. Так они будут ждать перевозки на ток. Денис был неплохим парнем. Только бедокурил часто. Да работать ленился. Но ему все сходило. Маменькин любимчик. Она баловала его и потворствовала во всем. А когда Нюрка выговаривала ей за это, неизменно отвечала:

— Да он же самый меньшой. Как же можно не жалеть его?..

А вот и межа. Она делит десятину пополам. За межой наша земля принадлежит Лапонину. На ней такая же густая и высокая рожь. Оттого-то вся десятина кажется цельной.

Несколько секунд я стоял перед межой, вытирая пот со лба. В ушах звенели слова матери: «Вот ежели бы она вся была наша...» А почему же она не вся наша? Почему мы миримся с обманом? Почему не защищаемся от грабежа?

Не раздумывая больше, я пустил косу за межу. И тогда услышал позади тревожный голос отчима:

— Эй, остановись! Чужая!..

Но я не послушался, это была не чужая, а наша рожь. На нашей земле выращенная, нашим трудом выхоженная.

«Наша! — повторял я про себя, чувствуя волнение.— Только наша. И ничья больше. И мы не отдадим ее. Ни за что не отдадим!»

А как поступит отчим, когда дойдет до межи? Последует за мной или повернет обратно? А если повернет, что тогда? Сдаться? Ну, нет. Не затем я переступил эту черту, чтобы отступать. Тогда пусть он косит нашу половину, а я лапонинскую, которая тоже была нашей. И Нюрка не перестанет вязать за мной. Вон как запросто она перешла на эту сторону, даже не остановилась. Будто мы с ней заранее условились.

Направляя оселком косу, я оглянулся. Отчим только что приблизился к меже. На минуту опустил крюк, задумался. Лицо — суровое, взгляд добрых глаз — тяжелый. Казалось, вот сейчас он вскинет крюк на плечо и зашагает назад. Но он не зашагал назад, а взмахнул косой и врезался в рожь за межой. Душа моя наполнилась ликованием. И коса запела еще звонче, укладывая скошенную рожь в ряд.

* * *

Мы работали без отдыха. Останавливались только затем, чтобы поточить косы. Да, возвращаясь на новый заход, на миг припадали к прохладному жбану.

Отчим по-прежнему косил за мной. Он свободно мог обогнать меня, но не делал этого. Видно, не хотел ущемлять мою гордость.

Молча трудились мать и Нюрка. Наша решимость радовала и пугала их. Нюрка ни на минуту не разгибалась и вязала с небывалым упорством. Зато мать часто

прикладывала ладонь к глазам, вглядывалась туда, где лежал косой шлях. Она ждала и мучилась ожиданием.

Веселым выглядел только Денис. Увидев, что мы прокосили десятину насквозь, он подбежал ко мне, когда я возвращался обратно, и возбужденным полушепотом спросил:

— И лапонинскую пристебнули? Да?

— Не лапонинскую, а свою! — строго сказал я.— А ты знай себе работай. Да не отставай...

И Денис не отставал. Он хватал снопы за перевясла и, скользя босыми ногами по колкому жнивью, чуть ли не бегом тащил к месту копнения. Лишь изредка приседал он на корточки, будто затем, чтобы рассмотреть что-то, а на самом деле, чтобы съесть жиримолчик. Несмотря на запрет сестры, он все же сумел запастись коржиками.

А солнце поднималось все выше и выше. Не скупясь, оно заливало поле зноем. Спелая рожь сверкала золотом и, как диковинное море, волновалась. То там, то сям плыли по этому морю косари, поблескивая в солнечных лучах мокрыми от пота спинами. А вязальщицы в белых платочках, будто забавляясь, то погружались в золотистую зыбь, то вновь всплывали над ней.

На зеленой дорожке, разделявшей загоны, время от времени показывались односельчане. Чаще всего это были старики и старухи. Они несли хлеборобам нехитрую еду или тащили грудных внучат к матерям. Некоторые останавливались перед нашим полем и с удивлением оглядывались. А сосед Иван Иванович даже свернул на делянку и, приминая деревянными башмаками стерню, двинулся к нам.

— Это что ж такоеча? — закричал он на подходе.— Никак ты, Данилыч, урожай выкупил?

— Выкупил,— нехотя отозвался отчим, не переставая косить.— Силушкой да правдушкой.

Иван Иванович недоверчиво оглядел нас слезящимися глазами.

— И какая же вышла цена? — спросил он, не поняв отчима.— Какой куш с пятерых душ?

— О цене покамест не столковались,— морщась, отвечал отчим.— Некогда этим заниматься. Убрать поскорейше надо. Не то перестоится и посыплется. Урон большой выйдет...

Я досадовал на старика. И принесла же нелегкая! Теперь растрезвонит всему миру. И раньше времени встревожит Лапониных. Чего доброго, примчатся в поле. А лучше бы столкнуться с ними в селе. Там народ не так разбросан, как в степи. И что, как явятся все трое? Более всех страшил Дема. От него можно ждать любой выходки. Да и Миня не станет раздумывать. С отцом и старшим братом он любит показать храбрость.

— Знаете что, дед? — прервал я говорливого старика.— Шли бы вы своей дорогой. И не мешали бы. Время-то жаркое...

Иван Иванович оторопело глянул на меня. Потом перевел испуганный взгляд на отчима.

— Все понятно, едят ё мухи! — закивал он седой головой.— Самочинно, значитца. На страх и риск. Ну, дай бог. И сохрани, дева Мария. Другим для примера. Чтоб не ждали милости...

Разговор с Иваном Ивановичем вселил тревогу. Я косил с удвоенной силой. Молча трудились мать с Нюркой. Даже отчим и тот как-то присмирел. Всеми овладело беспокойство. Да и то сказать! С кем решились схватиться...

За обедом мать глухо сказала:

— Вот косим, вяжем, спину гнем, а он подъедет, Лапонин, на своих битюгах и увезет готовое.

— Так уж и увезет! — вспыхнула Нюрка.— А мы что, смотреть будем?

— А что ты ему сделаешь? — продолжала мать.— Пожалует с сыновьями. Да еще не с пустыми руками. И пропадет наш хлебушко. А мало того, самих покалечат...

Я украдкой взглянул на отчима. Он был строгим и мрачным: видно, взвешивал наши силы. И обдумывал меры защиты.

Словно почувствовав мой взгляд, он оглядел нас и принужденно улыбнулся.

— Не падать духом,— сказал он.— Не такие уж они грозные. Да и пора уже не та. Кончается их пора...

Да, пора не та. Аппетит богачей урезан. Чтобы выколачивать барыши, им приходится хитрить и приноравливаться. И все же... Они держат в кабале многих. Перед ними склоняются слабые. Их поддерживают подкупленные и задобренные. И со всем эти нельзя не считаться.

* * *

Лапонии явился под вечер. Прискакал верхом иа жеребце одии.

Остаиовившись перед иами и ие слезая с коия, спросил отчима:

— Ты что же это делаешь, Даиилыч?

Отчим вытер мокрый лоб тыльиой стороной ладоии.

— А ты что ж, ие видишь?

— Вижу,— ответил Лапоиин, силясь сдержать гиев.— Потому и спрашиваю. В чем дело?

— А в том дело,— сказал отчим,— что порешили мы сами убрать свой урожай.

— Вы же сдали мне землю?

— Сдали,— подтвердил отчим.— Прошлой осеиью. А теперь вои лето. И мы передумали.

— А как же сделка?

— Сделка кабальиая,— вмешался я.— И мы расторгаем ее. Раз и навсегда. За лошадей, поиятио, заплатим. Что положеио...

Лапоиии повериул жеребца ко мне. Казалось, вот сейчас он ударит его, и тот собьет меия, растопчет. Я иевольно подиял крюк, поставил его перед собой косой вперед. Лапоиии опустил плеть.

— А ты того, малый,— прохрипел ои.— Не больио задирайся. Невелика шишка — секретарь комсомола. Враз урезоиим. Тем паче в таком деле. Это ж разбой средь бела дия!

Отчим шагиул ко мие и тоже поставил косу перед собой.

— Никакого разбоя иет,— возразил я, ободреиный поддержкой отчима.— Скорей, наоборот: защита от разбоя. И ничего больше. А что до меня самого, так я ие задираюсь. И шишек из себя не строю. Вот так, граждаиии Лапоиин. Урезоиить же нас ие удастся. Скорей мы урезоиим вас. Да так, что никогда уж ие сможете иаживаться чужим трудом...

Я старательио подбирал слова, четко произиосил их и видел, как меиялось заросшее щетииой лицо богатея. Оно то бледнело, то перекрашивалось в зеленый цвет, то покрывалось коричневыми пятнами. И впервые мие стало ясио, что иные слова могут бить больиее киута.

— Хорошо!..— Лапоиии задыхался от ярости.— Мо-

жете убирать. А я предупреждаю. Как уберете, так увезу хлеб. И за работу не дам ни копейки.

— Хорошо,— в тон ему сказал я.— Везите. А мы заберем его с вашего тока и через все село повезем на ваших лошадях...

Лапонин хотел было что-то ответить, но запнулся, точно подавившись злобой, и повернулся к отчиму:

— Смотри, Данилыч. Пожалеешь, да поздно будет. Со мной шутки плохи. Ни перед чем не остановлюсь...

И со всей силой ударил жеребца плетью. Тот испуганно вздыбился и вихрем помчался по полю. Но Лапонин продолжал в исступлении хлестать лошадь. Упругая плеть в его руке без конца поднималась и опускалась. И в воздухе чудился свист ременной подушечки, в которую вправлен свинец.

Когда Лапонин растворился в душном мареве, мать испуганно заголосила:

— Ой, батюшки! Ой, родные! Что ж теперь будет-то? Заграбастает он наш хлебушко! И самих к ответу притянет! Как бунтарей каких-то!..

Я перевел взгляд на отчима. Плотный, кряжистый, он стоял прямо, расправив плечи. И на лице у него была решимость, точно он только сейчас обрел в себе силу. Вот он широко улыбнулся, обнял мать за плечи и ласково сказал:

— Не убивайся, Параня. Не беззащитные мы. Народ с нами. Не даст в обиду...

Я тоже сказал:

— Все будет в порядке. Одну атаку отбили. Отобьем и другие...

Мы стали на свои места. Мать трижды перекрестилась на восток. Она призывала на помощь бога. Но он, конечно, не услышал ее. А не услышал потому, что помогал только богатым.

* * *

Вечером, когда над балкой уже разливались синие сумерки, мы вернулись с поля. Я и Денис побежали искупаться. Потудань в нашем месте неширокая, но глубокая. Берега ее почти сплошь заросли вербой. Густой лозняк подступает к самой воде и даже наклоняется над ней, закрывая от солнца.



Раздевшись за кустом, мы разом бросились в воду. Холодная, будто только что из ключа, она больно хлестнула по липкому от пота телу. На какое-то мгновение даже стало чуточку страшно, словно с детства близкая и родная река перестала быть другом. Но вот меня выбросило на поверхность, руками я ударил по серебристой глади, и в душе забилась, затрепетала радость. До чего же хорошо на Потудани в летние сумерки!

Денис плавал легко и быстро, как щуренок. Мне трудно было тягаться с братом. Зато я нырял глубоко и надолго. Иной раз Денису стоило больших усилий удержаться и не поднять тревогу, пока я был под водой. Когда же я показывался, он пускался за мной в погоню и, нагнав, принимался топить.

Но более всего мы любили брызгаться. Зайдем по плечи в речку и бьем, зажмурившись, ладонями по воде, окатывая один другого. Пока кто-либо не запросит пощады. И так каждый раз, когда мы оказывались на реке. Но в этот вечер, словно сговорившись, мы оставили игру. Долгий и знойный день вымотал силы, и было не до забавы.

Назад мы возвращались медленно, рядом шагая через скошенный луг. Копны на нем уже осели и казались серыми курганами. Навстречу тянуло свежей прохладой.

Вдруг Денис подался ко мне и приглушенно сказал:

— Слышь, Хвиля, вы бы приняли меня в комсомол. Я бы вместе с вами что-нибудь делал. На собрания ходил.

Просьба брата не удивила меня. В последнее время он присматривался к моим делам. И ко всему, что касалось ячейки, проявлял любопытство. Я догадывался, что все это неспроста, и приготовился к такому разговору.

— Принять тебя в комсомол? А ты не боишься?

— Это чего же? — удивился Денис.

— Домашних. Нюрка-то, она ж тебя поедом съест.

— А ну ее, Нюрку! — отмахнулся Денис.— Ей-то что за дело? А потом... Да я ее сроду не боялся.

— Ладно,— согласился я.— С Нюркой ясно. А как с матерью?

— А что с матерью? Ну, отлупит. Один же есть в доме комсомолец. А какая разница: один или два?

— Ладно,— повторил я.— Допустим, все будет так. Но на что тебе комсомол?

Денис глубоко вздохнул:

— Хочется переделаться. Сейчас я какой-то такой... Самому не по душе...— И, глянув на меня, спросил:— Вот скажи, какой я, по-твоему?

Мне не хотелось обижать брата. Но не хотелось и упускать случая. И я сказал:

— В общем-то ты парень как парень. Только ленивый.

— Я не ленивый,— возразил Денис.— Я квелый. Ленивый — это когда может, а не хочет. А я хочу, но не могу. Понимаешь? Вот и хочется переделаться...

Денис говорил по-взрослому. Казалось, он сразу вырос намного. Рядом со мной шагал словно бы не подросток, а юноша. Мне это было приятно, но я ничем не выдал себя. И все так же серьезно спросил:

— А ты думаешь, комсомол поможет?

— Еще как! — подтвердил Денис.— Там же у вас порядок. И строгости.

— Нет, брат,— сказал я.— Надо прежде самому за себя взяться. И самому от недостатков избавиться. Мало того, что ты с ленцой, ты еще и с хитрецой. Себе на уме...

— А кто не себе на уме? — прервал Денис.— Все себе на уме. В кого ни кинь и на кого ни глянь. Все одинаковые.

В сенях я остановил Дениса, прислушался. Из хаты через раскрытую дверь доносился знакомый голос. Ну да, Лапонин. Его подсиповатое хрюканье. Сам пожаловал. Видно, не так уж уверен, раз явился к беднякам. И видно, не те уж времена, чтобы брать ослушников за горло.

Лапонин сидел на лавке, неторопливо поглаживал бороду. Напротив него у стола занимал свое обычное место на табуретке отчим. Мать же стояла у двери и плечом подпирала косяк. Видимо, спор улажен. Отчим сразу же подтвердил это:

— А мы тут с Фомичом полюбовно столковались. Он позволил выкупить урожай. Заплатим за лошадь — и баста...

Я почувствовал на себе острый взгляд Лапонина. Видно, я для него был не последним в этом доме.

— Кому он нужен, раздор? — добавила мать, почему-то не глядя на меня.— Не зря же господь велел решать дела миром. Вот и мы помирились.

Да, отчнму и матери хотелось все уладить миром. Это было по всему видио. Но иетрудно было догадаться, что за мнр оии заплатили чем-то еще. И мать, будто угадав мои мысли, поясиила:

— А за то мы пообещались молчать. Ну, чтобы все промеж нас осталось. А ежели кто спросит, так говорить, что, мол, по доброй воле.

Все стало ясио. Лапонин испугался, что пример растревожит других. А случись это, хозяии потеряет многое. Но я не стал перечить родителям. Оии и без того немало пережнлн. Шутка лн — решиться на ссору с богачом. А кроме того, их уговор меня ии к чему не прниуждал. Да и дед Редька не будет молчать. Уж ои-то разбарабаиит новость по селу.

— Пускай будет так,— сказал я с равиодушным видом.— А только придется малость прибавнть. Лошадь иа перевозку хлеба с поля. За плату, понятио,— добавил я.— По справедливой цене...

Лапонин хмуро молчал. На шее у иего вздулись синие жнлы. Широкне, взлохмаченные брови почти закрывали глаза.

Мне вспомннлся случай.

Это было несколько лет назад. Однажды Лапонин явнлся к нам, когда мы с Деннсом были дома однн. Достав из кармана пятак, ои предложил:

— А иу за мной! Да босиком!..

Раздетые, разутые, мы выбежали из хаты. А на дворе стояла знма. И все кругом было занесено сиегом. Лапонии подброснл на ладонн медяк и сказал:

— Сейчас закину. А вы ищите. Кто найдет, того и будет...

С этими словамн ои швыриул пятак далеко на огород. Мы бросилнсь туда, где упали деньгн, чуть ли не по пояс увязая в сугробе. Холод миожеством иголок впнвался в тело, захватывал дыхание. Но мы ннчего не чувствовали. Стуча зубами, мы копалнсь в снегу, пропускалн его через пальцы. Где же он, этот медяк? Ну где же?

Первым сдался Деннс. Вытнрая красными кулаками слезы, ои побрел домой. За ннм ии с чем вернулся и я. А Лапоиин, стоя посредн двора в валенках н полушубке, весело смеялся. Должно быть, забавно было смотреть на босоиогнх сирот, так н ие нашедших в снегу счастья.

В тот же день Денис слег. У него подиялся сильиый жар. Часто он впадал в бред и слабым голосом лепетал:

— Это мой пятак... Я первый иашел его...

Выпросив у матери ее валенки, я долго копался в снегу. И иакоиец иашел его, этот злосчастный медяк. Я смотрел на монету, огнем обжнгавшую ладонь, н плакал. Но не от радости, а от обиды. А потом купнл на эти деньги горсть дешевых конфет н положил нх рядом с братом, мечущнмся в жару.

«Неужелн ж ты забыл об этом, кулак? — мысленно спрашивал я Лапоннна.— И неужелн н теперь совесть не гложет тебя?..»

Конечно, я не напомннл о случае с пятаком. Зачем? Да и жалко было родителей, заключнвшнх мир с богачом. Ведь они былн уверены, что большего им н не надо.

— Хорошо,— решился Лапонии, принуждеиио улыбнувшнсь.— Согласен. Из уважения к вам. С честнымн хочу по-честному. Заплатите за пахоту, сев н перевозку. И рот — иа замок...— И сиова просверлнл меия взглядом.— Тебя устранвает это, малый?

Я с деланным безразличием пожал плечамн:

— Лошадь дадите теперь же. Будем вознть сразу после копнеиия...— И, увндев, как передернулся богач, добавил:— Нпчего не попншешь. Общественных делов пропасть. Вот и надо поскорей с домашними разделаться...

Лапоннн ушел не простившнсь. Мать н отчим вышли за иим во двор. Когда мы осталнсь одни, Денис, сверкнув в полутьме глазами, проговорнл:

— Слыхал? Полюбовно столковалнсь. А какая же может быть полюбовность промеж нас? Кто ж тут хитрит? Он нлн мы? А может, все себе иа уме?..

* * *

После долгого перерыва из-за страдной поры мы снова собралнсь в клубе. Теперь иас было на одного больше. Два дня назад комсомольский билет получнл Гришка Орчнков.

Когда все мы поздравнли новичка, крепко пожав его руку, Прошка Архнпов разразился целой речью, где-то вычитанной и заученной.

— Запомии этот день, товарищ Орчиков! — торжест-

венно произнес он, выбрасывая указательный палец.— Запомни навсегда. Это день второго твоего рождения. Не физического, а духовного. А духовное рождение — поважнее физического. От него зависит — быть человеку активным строителем жизни или прожигателем ее. Запомни это хорошенько, товарищ Орчиков! Теперь ты принадлежишь к большой семье, имя которой — комсомол. Да, Ленинский комсомол — это большая, дружная семья. В ней живут и борются молодые и беззаветные энтузиасты. Вместе с коммунистами, под их руководством они воздвигают новый мир, всех себя без остатка отдают своему народу. Так будь же бойцом-энтузиастом! Ради семьи своей, для страны родной не жалей ни сил, ни труда, ни времени! Преданно относись к Коммунистической партии, беспрекословно выполняй ее волю! Только тогда ты будешь настоящим комсомольцем, достойным высокого звания ленинца!

— Вот это да! — восхищенно цокнул языком Сережка Клоков, когда Прошка умолк и важно надулся.— Сам Симонов позавидовал бы. А может, кто и повыше.

— И счастливчик же ты, Гриша,— вздохнул Андрюшка Лисицын.— Как мы тебя тут привечаем и величаем. А вот меня, бедного...— Он с шумом потянул носом и часто замахал ресницами, точно собираясь заплакать.— Меня никто не поздравил, когда приняли. Будто у меня этого второго рождения и не было.

— А я как обняла тебя? — напомнила Андрюшке Маша.

— Мало того что обняла, даже поцеловала,— добавил Володька Бардин, тиская Андрюшку за плечи.— Так чмокнула, что аж на улице было слышно. Или об этом тоже забыл?

— Об этом не забыл,— сказал Андрюшка, ладонью поглаживая щеку, будто Маша только что поцеловала его.— И никогда не забуду. А все ж таки... Ежели б Прошка сказанул вот так, как сейчас, было б тоже не худо.

— Нет, кроме шуток,— сказал Сережка Клоков, обводя нас голубыми глазами.— Я предлагаю... С нынешнего дня завести порядок. И по этому порядку поздравлять всех новых комсомольцев. При вручении билета. Торжественно на ячейке. Руку пожать, слово произнести.

— Я хочу добавить к тому, что сказал Прошка,—

вставила Маша.— Гришка — хороший парень. Честный и смелый. В характере много доброты. Но маловато ненависти. Ненависти к врагам нашим. К разным кулакам и мироедам: А без ненависти нет закаленного бойца. Без нее мы что лодка без руля. Куда понесет, туда и вынесет.

— А, ненависть! — пренебрежительно скривился Илюшка Цыганков.— Ее надо разжигать, ненависть. А мы только болтаем о ней. И классовую борьбу ничем не обостряем. Взять тех же кулаков наших. Намного им хуже теперь, чем при царе? — Он скрипнул зубами и так сжал кулаки, что пальцы побелели.— Моя б воля, так я бы их всех одной очередью...

После взыскания за сваю Илюшка заметно переменился. Он стал угрюмым, раздражительным. Я присматривался к нему и думал: а не погорячились ли мы? Да, они увезли сваю. Но решились на это ради чего? Тем более что работа на мосту не остановилась. Но скоро я понял, что ячейка поступила правильно. Илюшка во многом зарывался, и его надо было одергивать. Вот и сейчас, говоря о кулаках, снова рванулся галопом. И потому я заметил, вспомнив прочитанное:

— Был такой римский император Юлий Цезарь. Про него говорили: пришел, увидел, победил. Так и наш Илья. Одним махом хочет всех врагов уничтожить...

Ребята дружно загоготали. А Илюшка, весь красный, встал и заявил:

— Я не император, а комсомолец. И против такого оскорбления...

И выбежал из клуба. А мы, захлопнув рты, растерянно глядели на дверь. Володька Бардин, шумно вздохнув, сказал:

— Кажется, одним голодранцем меньше стало...

А Маша серьезно заметила, уколов меня строгим взглядом:

— И правда — дурость. Сравнивать комсомольца с императором! Кто угодно обидится. Илюшка не прав. Это так. Но надо разъяснить, а не оскорблять...

Я возразил с жаром. Ничего обидного в таком сравнении нет. Тем более что всякое сравнение условно. Но ячейка не посчиталась с моими грамотными доводами... И запретила сравнивать комсомольцев с царями, королями и императорами.

Потом мы занялись делом, ради которого собрались. Дело же это было важным и срочным. Почти все бедняки расторгли кабальные условия. И сами убрали урожай на своей земле. Но перевезти его было не на чем. Середняки еле управлялись со своим хлебом. На них трудно было рассчитывать. А кулаки... Обозленные, они требовали два снопа из трех.

Разговор с Лобачевым не дал ничего путного. Председатель сельсовета только пожимал плечами. Но под конец все же посоветовал переговорить с председателем селькресткома. Кому ж, как не бедняцкому комитету, заботиться о бедноте? Председатель селькресткома Родин слушал рассеянно. Это был мужик средних лет, с большим животом и длинными усами. Умел он только расписываться да произносить речи. Но крестьяне все же уважали его. Умел он еще и выслушивать просьбы. Так выслушал он и меня. А потом спросил:

— И что же ты предлагаешь?

— Помочь бедноте.

— А как, позволь узнать?

У меня было заготовлено предложение. Но я все же не решился сразу высказать его. И потому ответил уклончиво:

— Как-нибудь...

Родин сморщился, как от боли.

— На «как-нибудь» все мастера. А копни вас поглубже — пустота...— И уставился на меня своими слегка выпуклыми глазами.— Думаешь, один ты радетель? И я тоже днем и ночью ломаю голову. А только ничего не в состоянии. Денег нет. Лошадей тоже. И вообще ничего у меня нет.

— Так на что ж тогда селькрестком?

— А я почем знаю на что? Создан, и все тут. Вот сижу и принимаю со всех сторон оплеухи. И от партячейки, и от сельсовета, и от бедноты. А теперь вот еще и комсомол замахнулся.

— Знаете что, Андрей Васильевич? — подался я к Родину.— А давайте-ка введем гужналог. А?

— Это еще что за штука такая?

— Ну, гужевой налог, или, по-другому, налог на лошадей. У кого одна лошадь, тот освобождается. А у кого две и больше, дай бедняку на перевозку...

Родин смотрел на меня как на помешанного. Потом сердито сказал, дериув себя за ус:

— Ишь что придумал, мастак! Гужналог. А кто их вводит, налоги-то? Мы или вышестоящие органы?

— Вышестоящие,— неуверенно подтвердил я.— Но это же наш налог, местный. А что же делать? Не становиться же опять перед кулаками на колени?

Родин подумал, покряхтел.

— Все вот так,— проворчал он.— Нет бы сначала обсудить, взвесить. И с постановлением явиться. Чтобы создать опору. Дескать, комсомол требует. А то без всякой подготовки. Выложь да положь. Нет, так нельзя...

Вот потому-то мы теперь думали над этой задачей. Думали и гадали, как создать опору для кресткома. И говорили сдержанно и угрюмо, расстроенные Илюшкиной выходкой.

* * *

Из Княжой в Новоселовку можно пройти двумя дорогами: через Котовку и через верхнее поле. Маша предложила пройтись полем. Тянуло прогуляться степью. И не хотелось, чтобы нас видели вдвоем.

Ночь уже затопляла балку с садами и хатами. Терпкая пыль, поднятая стадами коров и овец, оседала, и дышалось легко. Разноголосо и беззлобно перекликаясь, затихали на окраинах собаки. И, словно смеияя их, вразнобой драли глотки на Потудани лягушки.

За последней хатой мы вышли на проезжую дорогу, обогнули неглубокий ярок, заросший терном, и вышли в поле. Оно было покрыто копнами, неожиданно выплывавшими справа и слева. В густой стерне временами шелестел шалый ветерок. Маша взяла меня под руку и зябко прижалась плечом.

— Одной тут было бы страшно. А с тобой нет. Ни капельки. Нет, и с тобой страшно, но это уже по-другому. С тобой тоже чего-то боюсь, боюсь и хочу бояться...— А через несколько шагов вырвала руку и зло проговорила:— Если бы ты знал, как я тебя ненавижу! Ну, прямо даже не знаю как. Разорвала бы на мелкие части.

— Да за что же? — удивился я.— Что я такое сделал?

Некоторое время Маша шла молча, то и дело взды-

хая. Потом сказала резко, точно хотела побольнее ударить:

— За Клавку Комарову. За нее ненавижу.

— А при чем тут Клавка? — засмеялся я.— У нас же с ней ничего. Ровным счетом ничего.

— Может, и ничего, не знаю. А только я видела, как она пялила на тебя глаза. Будто хотела живьем съесть...— И, передохнув, продолжала:— И ее ненавижу. И не потому, что кулачка. Это само собой. А потому, что любит тебя.

— Да с чего ты взяла?

— А все с того же. Она прямо впивалась в тебя...— И опять с шумом выдохнула воздух.— Я бы ее всю так и растерзала...

Я взял ее под руку.

— Не злись, Маша. Это тебе не идет. И причин никаких нет...

Мы медленно шли по ночному полю. Все чаще и чаще налетал порывами ветер. Вкусно пахло хлебом. И очень хотелось есть. Почему-то подумалось о перепелках. В нескошенных хлебах их было множество. И так самозабвенно перекликались они в степи. Теперь хлеба были убраны, связаны в снопы и сложены в копны. Куда же девались перепелки? Где обитали они теперь? И почему не пронизывали ночную тишь звонкой переговоркой?

У дороги выплыл из полутьмы ряд крестцов. Я предложил посидеть немного за ними. Хотелось пожевать зерна, чтобы унять голодные спазмы. Маша поколебалась и молча свернула к копне. Я снял с крестца два снопа и уложил один на один. Маша присела на сноп и обхватила колени руками. Я опустился рядом и сказал:

— Ох, как хочется есть! Аж колики в животе. Нашелушим зерен и пожуем...

Я сорвал несколько колосков, потер их, провеял, пересыпая из ладони в ладонь, и подал Маше. Она покачала головой:

— Не хочу.

Я бросил зерна себе в рот.

— Ух ты! Пшеница! Чья бы это?

Я медленно двигал челюстями, наслаждаясь запахом пшеничного ситника, и смотрел в безбрежное небо, на котором золотой россыпью сияли звезды. Особенно яркой показалась одна из них, и я подумал: может, антилопа и

в самом деле звезда? И может, именно эту яркую звезду называют так?

— А знаешь, Маша, я не знаю, что такое антилопа. Но может, это действительно звезда?

Маша презрительно фыркнула:

— Может, и звезда. А только Клавка ничуть не похожа на звезду. Не сияет, не блестит...

Вдали послышался лошадиный топот. Вскоре донесся перестук колес. Раздались голоса. В ночной тишине они прозвучали отчетливо.

— Братья Лапонины.

— Да,— подтвердила Маша, прижимаясь ко мне.— Дема и Миня.

Мы притаились, прислушались. И различили гнусавый голос Мини:

— И что мы с ними цацкаемся? Уложили б одного или двух, а в первую голову этого Хвиляку, другие б сразу присмирели и перестали б вредить нам.

— Момент подходящий нужон,— мрачно отозвался Дема.— Чтобы действовать без промаху. А то вместе с ними и себя уложить можно.— И вдруг остановил напротив нас лошадь.— Наложим копенку. Никто не увидит. И не дознается.

Они сняли по два снопа с первого крестца и понесли к телеге. Меня пронизал страх. Братья легко могли справиться со мной. Но главное было не в этом. Разнесут клевету, очернят неповинную Машу.

Когда они перетаскали более половины второго крестца, я шепнул на ухо Маше:

— Сиди тут и жди. А я сейчас...

На четвереньках я пополз за последний крестец. У самой дороги, на которой стояла подвода, нагруженная снопами, припал к земле. Подождал, пока братья снова подошли к разобранной копне. И, в несколько прыжков подбежав к телеге, вскочил на нее и крикнул:

— Вот какие вы, гады! Днем грабите! А ночью воруете! Теперь-то мы вас сцапаем! И засадим в каталажку!

В первую минуту Дема и Миня стояли как оглушенные. Как видно, я показался им привидением. Но скоро они опомнились и ринулись к телеге. Я же хлестнул рысака вожжой, гикнул на него. Тот испуганно рванул с места. И во весь дух понесся по дороге.

С лошадиной скоростью бросились за подводой и братья. Мелькнула шальная мысль. Захотелось позабавиться над кулацкими молодчиками. И я натянул вожжи. Мерин стал сбавлять бег. И расстояние между братьями и подводой стало сокращаться. Те заметили это и еще быстрей заработали ногами.

— Давай, давай!— кричал я, сидя на возу.— Поднажми, кулачье!

Выгнув бычью шею, Дема вырвался вперед. Вот он уже совсем близко. И уже протянул руки, чтобы ухватиться за край телеги. В полутьме зеленовато, как у волка, сверкнули его глаза. И тогда я, подняв тяжелый сноп, бросил его под ноги Деме. Сбитый на полном ходу, тот грохнулся на дорогу и проехался по ней на брюхе.

Гончим мимо него пронесся Миня. Я подпустил и его. И когда он также протянул руки к телеге, ударил его снопом.

— Получай, вражина!

Сбитый, Миня грохнулся наземь, перекувырнулся через голову. И показалось, даже взвыл от ярости и боли.

Но они не сдались. Жажда расправы со мной обуревала их. И они выжимали из себя все силы. Вот уже снова сверкнули зеленые глаза Демы. А руки потянулись к телеге. Только бы ухватиться за нее. Уж тогда бы он добрался до меня. Но не тут-то было. Новый сноп сбивает его с ног. И громила снова растягивается на дороге. Та же участь постигает и Миню, когда ему удается приблизиться к уносящейся подводе. Перед тем как швырнуть в него снопом, я заметил на лице у него темные пятна. Как видно, кулачонок при падении расквасил себе сопатку.

Но скоро игра надоела мне. И я принялся в беспорядке сбрасывать снопы на дорогу. Теперь братьям и совсем трудно было гнаться за мной. Они спотыкались о снопы, падали. Снова вставали, спотыкались, падали. И с каждой минутой все дальше и дальше отставали. А я, сбросив последний сноп, разогнал лошадь галопом. И, подоткнув вожжи под шлею, чтобы как-нибудь сами не натянулись и не остановили рысака, на ходу спрыгнул с телеги. И спрятался за копну, близко подступавшую к дороге. Несколько минут стоял там, выглядывая из-за верхнего снопа. И вот наконец показались они, Дема и Миня. Выбившиеся из сил, они бежали тяжело, пыхтя и отдуваясь.

Захотелось еще помучить их. Выскочить из засады. Крикнуть что-нибудь злое. Разъяренные, они кинулись бы на меня. И конечно, не догнали бы. Даже в нормальном виде им не угнаться за мной. Я бегал так, что мог удрать от любого в деревне. А от них теперь умчался бы без всякого труда. Но я удержался от соблазна. Хватит с них и этого. Надолго запомнят ночку. Да и потрусят наверняка. Ну, как и в самом деле придется сесть за решетку?

Когда они растворились в темноте, а в тишине смолк их беспорядочный топот, я вышел на дорогу. И, ощущая радостное возбуждение, легко побежал назад. Машу застал на прежнем месте. Забившись в угол крестца, она сидела ни жива ни мертва. Мне обрадовалась, облегченно вздохнула.

— Я тут чуть не испустила дух от страха.— И притулилась к моему плечу, когда я опустился рядом.— Где они теперь?

— Далеко,— рассмеялся я.— Гонятся за своим рысаком.

— А не вернутся?

— Зачем? Да и не так-то просто догнать коняку. Я так распалил его, что он остановится только у дома.

Маша заглянула мне в лицо и спросила:

— А если бы они увидели нас? И набросились бы? Что бы ты стал делать?

— Драться,— ответил я.— Что ж еще?

— Один с двумя?

— И с двумя. Насмерть схватился бы. А тебя не дал бы в обиду.

Маша вдруг повернулась вся. Прижалась к моей груди.

— Федя! — жарко прошептала она.— Родной!

И поцеловала меня в губы. Какой-то огонь вспыхнул во мне. И сразу же безотчетный страх ворвался в душу. Я встал. За руки приподнял ее. И сказал, стараясь унять дрожь:

— Машенька!.. Я совсем забыл... У нас же тут работа... Надо уложить на место снопы... Какие я разбросал по дороге...

Маша уткнулась лицом мне в грудь. Так стояла несколько секунд. Потом отстранилась. И, опустив глаза, проговорила:

— Какой стыд... Сама кинулась на шею... Что подумаешь?

Я неловко стиснул ее за плечи.

— Ничего не подумаю... Честное комсомольское!.. Не волнуйся... А теперь давай снопы уложим... Я буду таскать, а ты укладывать в крестцы...

И, не дожидаясь ее согласия, побежал за самыми дальними. Там схватил по одному под мышку, по одному в каждую руку. И бегом с ними помчался назад. Но Маша не стояла на месте. Она уже успела подобрать четыре ближних снопа, уложила их в крестец и связала между собой пучками с колосьями. Так делали все. Чтобы случайная буря не разметала копны.

Мы скоро управились с работой. И все три крестца снова ровно стояли перед дорогой, точно ничего и не было. А мы молча шли рядом. Плечи Маши были опущены. И вся она казалась какой-то слабой, безвольной. До боли в сердце хотелось помочь ей. Но я не знал, как это сделать. И оттого сам испытывал в душе непривычную муку.

* * *

Илюшка принес заявление. На сером измятом листке было старательно выведено:

«В знаменскую ячейку комсомола
От Ильи Цыганкова, комсомольца и верного ленинца

Заявление

Всей душой, всем сердцем я был с родным комсомолом. Никогда для него ничего не жалел. И не пожалел бы даже своей жизни, если б понадобилось. Но все же прошу исключить меня из его рядов. А прошу об этом потому, что получил незаслуженную обиду. И вышла эта обида по двум причинам. Первая причина — деревянная свая. Вторая причина — император Цезарь. Такого оскорбления снести никак не могу. А потому и обращаюсь с настоящей просьбой. И пусть я не буду в комсомоле, но ленинцем останусь навсегда.

К сему *И. Цыганков».*

Выглядел Илюша угрюмым и подавленным. Опустив голову, он старательно срывал мозоль на ладони. Но застарелая мозоль не поддавалась. И Илюшка начинал скрипеть зубами. Да, нелегко ему было решиться на такой шаг. Но я все же не выдал жалости и сказал:

— Насчет второй причины беру слова обратно. Но все же хочу заметить: Юлий Цезарь был интересный человек. Крупный государственный деятель Древнего Рима. А кроме того, талантливый полководец и даже писатель. И обижаться на сравнение с ним нечего. Но если все же обидно, то извиняюсь. Что до первой причины, то тут обида неправильная. Все ж таки это было воровство. А разве ж воровство совместимо с ленинцем? И кроме того, правду надо уважать. Какой бы горькой она ни была. А по всему этому резолюция будет такая. Заявление отклонить, а дурь из головы выбросить. Вот так...— Я вернул Илюшке бумагу и сказал:— Порвать и забыть...

Илюшка медленно порвал заявление, а кусочки опустил в карман. Я же посоветовал ему:

— Не дави фасон. И держи себя в руках. Вот ты писал, что остаешься ленинцем. А Ленин-то кипяченых не уважал. И требовал не кипятиться, а умом шевелить. И таких, какие шарахались из стороны в сторону, тоже не терпел. Пролетарский боец должен быть стойким. И твердо идти партийным курсом. Вот ты обиделся. А значит, спасовал. И спасовал-то перед пустяком. А что же будет, если на пути твоем станет настоящая трудность? Нет, дорогой мой, нытье не наше оружие. Оно подведет в бою...

Я рассказал, как сельсовет и селькрестком по предложению комсомола установили гужевой налог. Кулаки и зажиточные по этому налогу обязаны предоставлять бедноте тягловую силу для перевозки хлеба с поля. И за такую плату, какую установит крестком.

— Понимаешь, что это? Схватка с классовым врагом. А что будет, если мы не объединимся, а разбредемся? Как по-твоему, что будет тогда?

Илюшка виновато смотрел на меня и хлопал длинными ресницами.

— Ясно что,— продолжал я.— Мы проиграем бой. И опозоримся перед народом...

При этих словах Илюшка весь преобразился. Он вытянулся, расправил плечи, сжал кулаки.

— Нет, не проиграем. Этого не дождутся...— И сверкнул черными глазами: — Остаюсь в комсомоле. Остаюсь, чтобы драться с врагами. И давай так. Я не подавал заявления, а ты не видел его.

— Договорились,— сказал я.— Только при условии. Никогда не будешь делать что-либо серьезное без ячейки. Так?

— Так! — сказал Илюшка, и это прозвучало как клятва.— Никогда ничего без ячейки!..

* * *

Лапонин считал нас зачинщиками бедняцкого бунта. И метал, что называется, громы и молнии. А когда узнал, что выдумали еще и гужналог, совсем вышел из себя. И чуть ли не с кулаками набросился на отчима, когда тот явился за обещанной лошадью.

— За что лошадь-то? — хрипел он.— За что, спрашиваю? Обещали молчать, а сами на весь мир кричать? За это, что ли?

— Нет, не за это,— сказал отчим.— Мы молчали как рыба. Ни слова не проронили. А слух распустил кто-то другой.

— Кто же? Кто, я спрашиваю?

— А бог его знает,— уклонился отчим.— Может, человек. А может, и сама земля. Она ж, как говорится, слухом полнится.

Но Лапонина такой резон не убедил. Он наотрез отказался предоставить лошадь. Тогда отчим сказал:

— Воля твоя, Фомич. А только и мы теперь с усами. Не дашь лошадь, ничего не получишь за испол.

Лапонин подумал, пожевал губами, будто подсчитывая, в каком случае потеряет больше, и хрипло выдавил:

— Берите, пользуйтесь. Видно, ваше время. А тока недолго оно будет продолжаться. Пробьет и наш час. Уж и отыграемся. Всю вашу братию-шатию придавим. Как вшу заразную...— И вдруг как ни в чем не бывало вкрадчивым полушепотом: — А ты бы угомонил пасынка. Обуздал бы как-нибудь. На рожон лезет малый. Как бедноту взбаламутил. Прямо взбеленились, шарлатаны. Того и гляди погром учинят. Угомони парня. Призови к порядку и уважению. А мы уж в долгу не останемся...

Рассказывая об этом, отчим весело посмеивался. Весело было и мне. Все-таки здорово мы допекли кулака. Мало того что в убыток ввели, еще и перед беднотой унизили. В самом деле, что это, как не унижение, возить хлеб беднякам ни за что ни про что?

— В следующий раз передай благодетелю,— наказал я отчиму,— не продаемся и не покупаемся. Ни за какие блага...

Отчим выполнил наказ. На другой день, явившись к Лапонину, в точности передал мои слова. Лапонин весь побагровел и заскрежетал зубами. Но лошадь все же дал.

— Трусит хозяин,— заключил отчим.— И боится дать промашку. А кто знает, во что обойдется такая промашка?..

В поле с нами увязался и Денис. Всю дорогу он сидел на задке телеги и болтал ногами, усыпанными цыпками. А когда остановились на загоне, принялся по стерне гоняться за кузнечиками. Да и что было делать подростку? Мы управлялись и без него. Отчим стоял на телеге, а я подавал снопы. Они были тяжелыми, эти ржаные вязанки. Под ними руки еле удерживали вилы. А колени так подгибались, что готовы были подломиться. Зато душа полнилась радостью. Урожай выдался на славу. Сколько бы нашего хлеба захапал Лапонин!

Когда воз был увязан, я подсадил Дениса наверх. А отчим, забросив ему вожжи, крикнул:

— Трогай с богом!

Сам же поплелся следом, переваливаясь с боку на бок. Я провожал его глазами и чувствовал, как тепло разливается в груди. Какой он добрый, отчим! Пристал к вдове с тремя сиротами и лишился покоя. Только и знает, что заботиться о пасынках. А ведь мог совсем по-другому устроить жизнь. Стоило остаться с богатыми братьями, и не пришлось бы испытывать невзгоды. Так нет же! Трудную долю предпочел благополучию. И даже разрыву с братьями, так и не признавшими нас родственниками.

Подобрав колоски на месте увезенной копны, я уселся на сноп и развернул газету. Недавно ее выписал на ячейку Симонов. Газета сразу стала для меня другом и помощником. Я читал ее от первой до последней строчки и чувствовал, как раздвигался передо мной мир. Теперь

я знал, что делалось в стране и какие события происходили на свете. Так и в этот раз я сразу же увлекся новостями. И не услышал, как подкрался Миня Лапонин. Очнулся, когда тот прогнусавил что-то над ухом. И, растерявшись от неожиданности, поспешно вскочил. Миня же, ехидно усмехнувшись над моей прытью, сказал:

— Вот что, рашпиленок. Решили мы предупредить тебя. Не зарывайся и береги голову. Люди мы сурьезные и шутковать не любим. Не возьмешься за ум, шкуру спустим. И собакам выбросим. А поймешь, что к чему, внакладе не остаемся.— И снова ухмыльнулся, растянув толстые губы.— Это от нас всех такое предупреждение. А теперь от меня особое. На базаре ты осмеял меня. И в ограде взял верх. Но я не спущу тебе этого. И дождусь своего. Тогда уж не проси пощады, секлетарь. Изуродую, как бог черепаху. Вот так-тось, Хвиляка. А теперь бывай и не забывай.

Сухопарый и неуклюжий, он медленно повернулся и зашагал к дороге. И только тогда я увидел там Дему. Старший брат сидел на телеге, запряженной вороным мерином, и двигал спущенными с нее ногами. Вид у него был такой, будто он пьянствовал неделю: лицо заросло щетиной, волосы на голове всклокочены, а под глазами такие мешки, что их видно было издалека. Он смотрел прямо перед собой, но во взгляде не чувствовалось жизни, словно его ослепили.

Подождав, пока Миня влез на телегу, Дема ударил вороного кнутом и матерно выругался. Хорошо смазанные колеса зарокотали по дороге. Постепенно рокот их отдалялся, затихал, и наконец подвода с седоками скрылась за высокими подсолнухами.

А я все стоял и смотрел им вслед, и слова Мини звенели в ушах. Они были заранее обдуманы, эти грозные слова, и заучены Прыщом. А составил их, конечно, сам Лапонин. Подкуп не удался, может, угроза подействует. А если они приведут ее в исполнение, свою угрозу? Вспомнился жуткий случай, описанный в той же газете. Где-то на Дону кулаки живым закопали в землю комсомольца. Я развернул газету, которую все время держал в руках, и глазами пробежал по заголовкам. Но на этот раз со всех страниц веяло миром и спокойствием. И на душе у меня стало спокойнее. А гнусавый голос Мини теперь гудел приглушенно, откуда-то издалека.

Присев на сноп, я вновь уткнулся в газету. Но читать не мог. Трудно было собраться с мыслями. Они разлетались в стороны, как вспугнутые голуби. Неужели то, что было на Дону, будет и на Потудани? Да нет же, нет! Тот же Лапонин; ну, отхлестает кнутом, даже прибьет палкой. Но убить?.. Вот разве Дема?.. Вспомнилась стычка на пахоте. Неужели он зарубил бы нас, не окажись у Симонова револьвера? А Комаров? Этот и совсем не похож на убийцу. Конечно, он первый жлоб, вытягивающий у людей жилы, но... А если все-таки? Если то, что сказал Миня, не пустая угроза? Что тогда? Поднять руки и сдаться?

Я достал комсомольский билет, глянул на дорогой профиль Ильича и решительно покачал головой. Никогда и ни за что! Пусть будет что угодно, а идти этим путем. И только этим!

* * *

Я любил всякую работу. Нравилось ходить за сохой, еще лучше за плугом, разбрасывать по полю семена, вырывать сорняки на посевах, косить крюком, особенно если урожай хороший. Но более всего по душе была молотьба. А более всего по душе была молотьба потому, что она последнее звено в долгой и нелегкой трудовой цепи. И вот стоишь на меловом току, на котором разложены снопы, и изо всех сил ударяешь цепом. А они, четыре цепа, ладно поют: «Та-та-та-та! Та-та-та-та!»

И молотил я вполне прилично. Так говорил отчим. Но до него самого мне было далеко. Владеть цепом, как он, мне и не снилось. Казалось, он не молотит, а забавляется. Вот, громко крякнув, со всего размаха ударил по снопу: «Бух!»

Вот перекрутил бич в воздухе и развалил сноп: «Бах!»

А вот, чуть согнув ноги в коленях, принялся бить по сухим колосьям: «Та-та-та-та!»

Так молотили мы и в этот день. Я стоял против отчима, Нюрка — против матери. Снопы на току лежали двумя рядами. Тяжелыми ударами мы трепали их, выбивали зерна из колосьев. Работали дружно, не жалели сил. Дух поднимало сознание, что это наше богатство.

Но не только это рождало силы. Отчим заражал своей неутомимостью.

— А ну, ну, дай одну! — весело кричал он, когда кто-нибудь из нас уставал. — Руки в брюки, плюнь на руки!..

Всякий раз, когда мы все вместе были заняты каким-нибудь трудным делом, он на ходу сочинял свои прибаутки. Чаще всего они казались бессмысленными и вызывали смех. Но, может, потому-то приходила бодрость, прибавлялись силы. Так приободрились мы и теперь. Даже суровое лицо Нюрки посветлело. А мать и в самом деле, изловчившись, поплевала на ладони. И ряд закончили дружно, не снизив ни темпа, ни качества. И, выпив по глотку воды, сразу же принялись за второй. Надо было торопиться, чтобы управиться до дождей. Крутобокая скирда, стоявшая рядом с током, была обмолочена лишь на треть. И на треть уже были заполнены закрома в амбаре. Отборное, золотистое зерно давало о себе знать неотразимым запахом хлеба. Его и впрямь уродилось в этот год небывало много. И снова цепы цокали ладно и звонко: «Та-та-та-та! Та-та-та!..»

Мать и Нюрка укладывали снопы на току плотно. Они говорили: чем больше уложено, тем скорей обмолочено. Но это был самообман. Он не приносил ничего хорошего. К концу второго ряда у всех начинали дрожать колени, а руки с трудом удерживали цепы.

Однако в этот раз я чувствовал себя особенно вымотанным. По спине за штаны ручьями стекал пот, а к сердцу подбиралась какая-то тряска. Я из последних сил бил по снопам и с мольбой поглядывал на отчима. А тот как ни в чем не бывало по-прежнему играл своим тяжелым цепом. Морщины на его лице тоже наполнились светлой жидкостью. Но он будто ничего не чувствовал. Все так же ловко и сильно бил по снопу, веером вздымал крупные зерна. И с молодой усмешкой посматривал на нас:

— А ну дать, не подгадь! Распуши, ядрена мать!..

Да, я любил молотьбу цепами. Но какая это трудная работа! Как выматывает она силы! То ли дело молотилка. Вспомнились Лапонины, и обида защемила сердце. Ради наживы эти люди пропускают через свою молотилку скирду за скирдой. А мы отбиваем руки цепами.

А почему бы и иам ие сложиться и ие избавиться от изнурительиого труда?

Внезапно в стук цепов вплелся цокот копыт. Возле нашей хаты остановился тарантас, запряженный поджарой лошадью. Из тараитаса выпрыгнул молодой человек с шапкой темных волос и матерчатым портфелем. Это был Снмонов. Я отбросил цеп и поспешил иавстречу секретарю райкома комсомола. И почтн тотчас услышал за спиной все те же ладные н дружные удары: «Та-та-та-та! Та-та-та-та!»

Это Денис встал на мое место. В последнее время он заметио подтянулся и брался за работу без понукания. А старался потому, что решнл нзбавнться от ленн.

Снмонов сильно потряс мою руку. А потом повернул меня кругом и ие то с уднвленнем, не то с восхищением воскликнул:

— Ого! Рубашка-то хоть выжмн! Молодец!..

Симонов приехал из села Верхняя Потудань. Кучер, развернувшись, уже гнал коня назад. Мы прнсели иа завалинку во дворе. Снмонов, прислушавшись к ладиому перестуку цепов, задумчиво сказал:

— Хорошо. А только пора бы расставаться со стариной. И переходить на новые рельсы. Вот в Верхней Потудани ТОЗ организован. И людям сразу стало легче.

* * *

Мы в иогу шли по Карловке. Мать охотно отпустила меия. И даже серьезно сказала:

— Ступай, сынок. У тебя ж там дела поважнейше иашнх. А мы тут н сами управнмся...

Дорогой я спросил Симонова, что такое антнлопа. Он подумал, словно припомнная, и ответнл, что это африканское животное.

— А чем оно прнмечательно?

— Как тебе сказать? Разнообразнем. Антнлоп — миого видов. Есть похожне на олеия, а есть — на корову и лошадь сразу.— И с любопытством заглянул мне в лицо: — А почему тебя это интересует?

— Так просто,— уклоннлся я.— Встретилось непонятное слово, вот и спросил. Очеиь уж миого их, непоиятных слов. Прямо не знаешь, как быть.

— Учнться надо,— сказал Симоиов.— Будешь учить-

ся — будешь и знать. И непонятные слова станут понятными.

— А как учиться? И где учиться? Я бы хоть сейчас. Прямо с ходу. Ночи бы не спал.

— Читай побольше,— посоветовал Симонов.— Читай не просто так, а со смыслом. Вникай, вдумывайся в прочитанное. Старайся представлять, даже фантазировать.— И, подумав немного, добавил: — На днях мы обсуждали вопрос об учебе актива. И решили... Ты попал в список... Рекомендуем в рабфак на дому...

Он рассказал, что это такое, и сердце мое забилось. Как раз то, что надо. Материалы, лекции, задания, консультации. Да, это было как раз то, чего мне недоставало. И я горячо сказал:

— Спасибо, товарищ Симонов! Большое спасибо!

Симонов внимательно осматривал клуб, словно собирался купить его. Несколько раз поднимался на сцену, дважды прошелся за кулисами. Зачем-то согнутым пальцем постучал в стену. И под конец, не скрыв восторга, сказал:

— Здорово, черт возьми! Настоящая победа!..— И подмигнул прищуренным глазом: — А райкому я все-таки доложил. Малинину всыпали как следует. За то, что посадил тебя.

Мне стало жаль начальника милиции, и я робко заметил:

— А может, это зря? Он же помог нам выиграть время.

— Помочь можно было и по-другому,— возразил Симонов.— Для этого не обязательно было сажать секретаря ячейки. Да еще вместе с классовым врагом. Политическая близорукость. Я бы даже сказал: классовая бесхребетность. И тут ты не перечь. Райком партии сделал правильные выводы.

Потом он принялся расспрашивать о работе ячейки. Расспрашивал подробно, вникал в мелочи. Чем занимались комсомольцы? Как влияли на молодежь? Пожурил за слабый рост.

— Нет, так не годится. Каста получается. И чем скорей вы ликвидируете эту кастовость, тем лучше.

Я не знал, что такое каста. Но спросить постеснялся. И про себя еще раз поблагодарил за рабфак на дому.

Вот уж теперь-то я буду грамотным! И тогда не будет этих загадочных слов, которые мешали, как камни на дороге. А Симонов пускай ворчит. Да и упрек был заслуженным. Я не охватывал всего. А как охватишь, если нет знаний? Мало ли приходилось ломать голову над разными вопросами? А ради чего, спрашивается? Чем я лучше или хуже других, что на меня взвалили эту ношу?

— За культуру плохо боретесь,— продолжал Симонов нотацию.— Клуб отвоевали и успокоились. А в клубе пустота. Никаких мероприятий. И никакой культуры вообще. Не обрастаете массами.

— Да какие тут массы? — с отчаянием возразил я.— Люди-то в поле. Как можно обрастать в такое время?

— Большевики обрастали во всякие времена,— наставительно заметил Симонов.— А нам, комсомольцам, надо брать пример с большевиков...

Слова Симонова удивили меня.

— А мы что ж, не большевики?

— Ну конечно нет. Большевики — это коммунисты. Испытанные в революции и гражданской войне. А мы что? Ну, может, большевистские комсомольцы. Да ты не огорчайся,— добавил он, заметив, как поник я.— Комсомольцы — тоже большое дело. Помощники партии, опора коммунистов. А стало быть, смена большевиков. А пройдет время, и сами будем большевиками. Обязательно будем. Только надо за дело браться поактивнее. И организованность развивать, чтобы быть вожаками молодежи...— И пристально посмотрел на меня:— А кто у вас затеял заваруху с кулаками? Кому первому пришел в голову этот гужналог?..

Показалось, что он все знает. Неудобно было скрываться. И все же я не сказал всей правды. Не хотелось выпячиваться. Мог подумать: цену себе набиваю. И потому я неопределенно повел плечами.

— Кто его знает? Как-то так получилось. Сама по себе заварилась каша. А гужналог... Про него многие гуторили...

Симонов положил мне на плечо широкую ладонь, проникновенно глянул в глаза:

— Не ври, Хвиля. Мне все известно. Скромность — хорошая вещь. Но от друзей можно не таиться...

На душе стало хорошо. От друзей можно не таиться.

Значит, он считает меня своим другом. Он, Николай Симонов, секретарь райкома комсомола. Такой умный и боевой парень!

* * *

Пришлось продать почти весь хлеб нового урожая. Оставили только на семена да на еду до весны.

— Что будет весной, увидим,— сказала мать.— Как-нибудь выкрутимся. А сейчас помоги, боже...

Отчим пересчитал деньги, завязал в тряпочку и повесил себе на шею. Расцеловался с матерью, взял в руку палку и отправился в город.

Пять дней ждали мы его. На шестой он появился в Карловке, ведя за поводок лошадь... Это был стригун. А стригунами таких лошадей зовут потому, что в их возрасте принято стричь им хвост и гриву.

Стригун выглядел справным. Мы по очереди подходили к нему, трогали за холку, гладили шею и грудь. А Нюрка даже поцеловала красивую мордочку.

Только мать не подошла к стригуну. Она смотрела на него не отрываясь, и крупные слезы катились по ее щекам. А потом, когда мы отошли от стригуна, сказала с глубоким вздохом:

— Слава тебе господи! Дождались своего праздничка.

Один за другим подходили карловцы. Скоро их набилось чуть ли не полон двор. Они осматривали стригуна, ощупывали его, зачем-то заглядывая в зубы. А дед Редька даже покрутил ему хвост. Этого стригун снести не смог и так лягнул старика, что тот отлетел в сторону.

— Ишь ты, ядрена мать! — проворчал Иван Иванович, вставая и потирая ушибленное место.— Прямо сказать, недотрога. Кубыть, благородных кровей...

А потом мы сидели за столом, ели пшенную кашу, политую борщом, и слушали отчима. Много пересмотрел он лошаденок. Долго топтался возле вороного третьяка. Ох как хотел обротать его! Но не хватило денег. И не хватило-то самую малость. Отчим даже развязал узелок перед хозяином. Дескать, смотри, все, что есть. Без всякого обмана. Но тот и глазом не повел.

Уперся, и ни в какую. Пришлось отступиться. И взять этого стригуна. Из остатка денег можно Лапонину часть выплатить. И Нюрке на приданое оставить.

— Ничего,— сказала мать, сняя глазами.— Переживем. На будущий год и наш станет третьяком. Можно поставить в борону. А еще через год н в сохе пойдет...

Слово «соха» резануло слух. Вспомнилась заметка в газете. Заводы ускоренно расширяли выпуск плугов и других сельхозмашин. Но машинами этими легче всего пользоваться сообща. Потом на память пришли слова Симонова о ТОЗах. И я неожиданно для самого себя сказал:

— Лошадь — это хорошо. А только не в ней теперь суть. Наступает время жить по-новому. А по-новому можно жить только коллективно. Вот мы и собираемся организовать артель.

— Это что же, коммуния? — выпрямилась мать.— Коммунню затеваете? Так, чтолича?

— Нет,— сказал я, почему-то вспомнив предпасхальную ночь, когда мать выбросила меня из дому.— Не коммуна, а ТОЗ. Значит, товарищество по совместной обработке земли. Будем делать все сообща: пахать, сеять, обрабатывать посевы, убирать урожай, молотить. А хлеб делить поровну. По душам и по труду...

Наступило молчание. Все смотрели на меня, будто видели впервые. Или разглядели во мне что-то новое. Даже Денис и тот раскрыл рот от удивления. Раньше всех опомнилась Нюрка.

— Вот он, вражина! — завыла она.— Не успели на ноги стать, как он уж и разоряет. Да пропади ты пропадом со своим ТОЗом! Не мешай жить, окаянный!..

Властным жестом остановив Нюрку, мать сказала мне:

— Делай как знаешь. А нас не впутывай. Мы желаем жить сами по себе. И ни в какую артель не подадимся. Запомни это...

Она перекрестилась перед иконой и ушла на кухню. Выбежала из хаты и разъяренная Нюрка. А отчим покачал головой и назидательно заметил:

— Неподходящий момент выбрал. Совсем неподходящий...

Теперь я и сам думал об этом. И как это сорвалось с языка! Да разве ж в эту минуту они способны были

понять что-либо? Стригун затмил перед ними весь мир. Они ничего больше теперь не видели перед своими глазами.

* * *

Всю эту неделю мы ходили по дворам, переписывали неграмотных и разглагольствовали о пользе образования, хотя сами были необразованными. Списки получились длинными, но охотников подружиться с ликбезом нашлось не так уж много. Отговорка была одна и та же: все станем учеными — некому будет землю пахать.

Неудача обескуражила нас. Мы сидели в клубе вокруг стола, на котором лежали списки, и уныло молчали. Не так-то просто, оказывается, бороться со стариной и прививать новую культуру.

— А я знаю, в чем загадка,— прервал молчание Илюшка Цыганков.— Беднота нам не доверяет. А не доверяет потому, что некоторые из нас обогащаются.

— Как обогащаются? — спросил Сережка Клоков.— Что ты хочешь сказать?

— А что слышишь,— отозвался Илья.— Некоторые обогащаются и подрывают ко всему комсомолу доверие.

— Кто же эти некоторые? — поинтересовался Володька Бардин.— Нельзя ли напрямик?

— Можно и напрямик.— Илюшка остановил взгляд на мне.— Вот тот же Хвиляка.— Так называли меня, когда хотели обидеть.— Кто он теперь, наш секретарь? Лошадник. А стало быть, середняк.

— Тоже мне лошадник! — скривился Андрюшка Лисицын.— Да что это за лошадь — стригун?

— А стригун что, баран? — огрызнулся Илюшка.— Или козел? — И пренебрежительно хмыкнул.— Нынче — стригун. Завтра — третьяк. А послезавтра — лошадь. Вот вам и обогащение. А через то и недоверие.

— И что же ты предлагаешь?— спросил Гришка Орчиков.— Какой выход?

— Выход тут один,— ответил Илья.— Хвиляку надо снять. А секретарем поставить другого. А он, Хвиляка, пускай ходит рядовым. Середняки не должны быть в руководителях.

Выпад был неожиданным. Я слушал Илюшку и ниче-

го ие понимал. Откуда эта злость? Не так давио мы помирились. Я извинился перед ним. Он взял иазад свое заявление. Теперь вот опять бунтует. Неужели ои из тех, кто иосит камень за пазухой?

— Ничего ие соображаю,— признался Сережка Клоков.— Разве ж стригун может повлиять на сознание?

— Еще как!— запальчиво ответил Илюшка.— Он же, Хвиляка, теперь будет думать ие о ячейке, а о своем частиом хозяйстве.

Эти слова вывели меня из терпения. И я тоже ие без злости спросил Илью:

— Почем ты знаешь, о чем я буду думать? В мозгах моих, что ли, ночевал?

— Кто они, эти неграмотные? — продолжал Илюшка, не ответив мне.— Да почитай, все бедияки. А кто организует ликбез? Комсомол. А кто у нас во главе комсомола? Не иынешний, так завтрашний середняк. А середняк — колеблющийся элемент.

— Не каждый середняк колеблющийся,— возразил Митька, рассердившись на дружка.— Взять хотя бы нас. Мы, известно, середняки. А у нас иикаких колебаииев. Мы за советскую власть всей жизиью.

— О вас нет спору,— возразил Илья.— Вы маломощные середняки. К тому ж отец твой в гражданскую ногу потерял. А сейчас в сельсоветчиках ходит. А вот другие середняки — совсем другое. Многие из них такие, что больше к кулаку тянутся, чем к бедияку...

Молчавшая до сих пор Маша жестом остановила Илью и спросила меня:

— А как ты сам-то расцениваешь это?

Я старался держать себя в руках. Но все же с вызовом переспросил:

— Что именно?

— Да покупку стригуна,— пояснила Маша.— Не тревожит тебя это?

Ребята впились в меня глазами. А я, иарочито помедлив, ответил:

— Нет, не тревожит. Нисколько. Стригуиа купили родители. Помешать им я не мог. Да и ие собирался мешать. У меня своя дорога. И как бы они ии жили, я пойду этой дорогой.

Слова эти я произнес твердо и горячо. Ребята сразу повеселели. Словно избавившись от тяжкого груза.

— Насчет Хвили — все ясно,— сказал Володька Бардин.— А вот насчет лошади... Тут я думаю так. Без лошади нам социализма не построить.

Теперь ребята уставились на него. И лица их сделались суровыми.

— А ну-ка, поясни,— потребовал Прошка Архипов.— Что это еще за лошадиный социализм?

— Никакой не лошадиный,— сказал Володька.— А тот самый, какой мы строим. И поясню с моей охотой. Без лошади не вырастить хлеба. А без хлеба не вылезти из нужды. А какой же социализм с нуждой?

Илюшка вскочил, словно что-то подбросило его. С грохотом отодвинул табурет.

— Слыхали? — выкрикнул он.— Понимаете, какая линия? Социализм будут строить лошадники. А стало быть, середняки с кулаками. И выйдет кулацкий социализм. Слыхали?

Митька подвинул табурет на место. И силой усадил на него разгоряченного друга.

— Утихомирься, Илюха! — сказал он, обнимая его за плечи.— А то ты так раскипятился, что обваришь нас.

Ребята рассмеялись. И дружески уставились на Илью. А тот, весь красный, сердито сопел. И казалось, готов был и в самом деле извергнуть кипяток.

— Все мы с вами, кроме Митьки, батрачили у кулаков,— сказал Володька Бардин.— А почему? Да потому, что нечем было обрабатывать свою землю. А если бы у всех бедняков были лошади, кулаки сами собой сгинули бы.— И пояснил, встретив недоуменный взгляд товарищей:— Ну да! Кулаки потому и кулаки, что живут чужим трудом. А не было бы чужого труда, им самим пришлось бы гнуть на себя спину. И на испол землю никто не сдавал бы. Вот и не на чем было бы наживаться.

— Ерунда это! — опять вспылил Илюшка.— Середняки — унавоженная почва для кулачества. Сделай ныне всех бедняков середняками —завтра кулаков будет вдвое больше. И бедняки новые появятся. Они ж, середняки, тоже друг другу в рот не смотрят. Стоит одному зазеваться, как другой тут же разденет его догола.

Спор казался никчемным. И я, чтоб прекратить его, сказал:

— Лошадь, конечно, нужна в нашем хозяйстве. И на-

верио, еще долго будет иашей опорой. Но и с лошадью социализма не построить. Машины — только онн помогут нам решнть эту задачу. А чтобы они смогли работать иа полях, надо лнквиднровать чересполосицу, перепахать межи. А это зиачит объедннnться в артели. Только коллектнвный труд поставнт деревню на соцналнстические рельсы.

Мон слова возымели действие. Ребята сразу угомоиилнсь. Только Илюшка все еще дулся и пыжился. И под конец сказал:

— А я все же предлагаю Хвиляку снять как середняка и соглашателя с отсталыми родителямн. А секретарем обратно вернуть Прошку.

Володька Бардни ударил ладонями по столу и громко пронзнес:

— Я протнв такого предложення.

— Я тоже протнв,— сказал Сережка Клоков.— Нникакнх прнчнн для снятня Хвили нет.

— И я протнв,— присоеднnился Андрюшка Лисицыи.— Хвиля иеплохо работает. Верную лнннию ведет. А больше ннчего н не надо.

Другие ребята высказалнсь в том же духе. Последннм подал голос Прошка Архнпов. Слегка покраснев, он сказал:

— Непродуманный выпад. Проднктованный иеобъективностью. Хвилю сннмать не за что. Работает больше всех нас. Нн труда, ин времени для ячейкн не жалеет. А стригун... Дай-то бог, чтобы мы все занмели стригунов. И чтобы не с пустыми рукамн, а с лошадьмн вступнлн в будущнй колхоз.

— Все ясно! — воскликнул Володька Бардии, точно был председателем.— Илюхнно предложеиие провалнлось. Хвиля остается секретарем. И пускай секретарит на здоровье ячейкн.

Сдержнвая волненне, я пододвнnул спнскн неграмотных и предложил заняться делом, ради которого мы собрались.

* * *

С Машей мы больше наедине не встречались. Почему-то она избегала меия, редко смотрела в глаза и всегда торопилась. Впрочем, торопиться ей и в самом деле иадо

было. Маша вела драмкружок. А он требовал немало труда и времени. Пришлось несколько раз ходить в райцентр и бывать там на спектаклях в нардоме. Много времени отнимали репетиции и отдельные занятия с кружковцами.

Но не только по делам торопилась от меня Маша. Как бы ни занят был человек, для души всегда найдет минуту. А душа-то, как догадывался я, и побуждала Машу избегать меня. Но и я не искал встреч с ней. И меня останавливала какая-то душевная смута.

Однажды я обнаружил в кармане записку. На клочке бумаги аккуратными буквами было написано:

Сердце жаждет встречи с тобой.
Жарко стонет душа в груди.
На тебя я взираю с мольбой.
Приходи ко мне, друг, приходи...

Я несколько раз прочитал записку. Потом достал из шкафчика голубой томик, перелистал его. Нет, у Есенина нет таких строк. Их сочинила сама Маша. Сочинила и подложила мне. А зачем? Я еще раз прочитал стих. Както странно застучало сердце, словно заторопилось куда-то. И в ту же минуту заговорило сознание. Подумать только! Комсомолка — и такие стихи! «Сердце жаждет...», «Жарко стонет душа...», «Взираю с мольбой...» Настоящее мещанство. Сочини такое Клавка Комарова, куда ни шло. А то Маша. Батрачка. Можно сказать, пролетарка. И вдруг такие слова. Все равно если бы надела серьги и кольца.

И все же было как-то непонятно. Будто в моей душе находились двое. И они, эти двое, непримиримо спорили между собой. Что один принимал, другой отвергал. А спор пронизывали трепетные слова:

Приходи ко мне, друг, приходи...

Наконец, призвав к порядку в себе того и другого, я взял карандаш и принялся поправлять сочинение. Заменил буржуйские слова на обычные, и стихотворение вышло таким:

Сердцу хочется встречи с тобой.
Жарко бьется оно в груди.
На тебя я гляжу с мольбой.
Приходи, милый друг, приходи...

Теперь стих понравился мне. Вылетела душа. На четыре строчки хватит и одного сердца. Выброшены высокопарные слова. А последняя строчка зазвучала просто, по-дружески. И только с мольбой не удалось сладить. Не нашлось подходящего слова, чтобы осталась рифма. Но это не беспокоило меня. Одно слово — на четыре строчки. Ничего.

Мы встретились на другой день в клубе. Я отвел Машу в сторонку. Она смотрела на меня с мольбой, и я решил, что это слово было главным в стихотворной записке. Захотелось как-нибудь приголубить ее. Но я смущенно покашлял и сказал:

— Маша, я получил твою записку. Прочитал с большим удовольствием. Но...

При этом слове она вся сжалась. Стало совсем жалко ее. И я продолжал еще мягче:

— Но понимаешь, Машенька... В стихотворении много таких слов...— я достал бумажку, развернул ее,— таких слов, какие не к лицу нам. Вот я и поправил. Прочти и скажи, как получилось...

Не прочитав, Маша скомкала бумажку, подняла кулак, словно собиралась ударить меня, и сказала с горечью:

— Какой же ты!..

И торопливо пошла к сцене, где ждали кружковцы. А я стоял на месте и смотрел ей вслед. И растерянно думал над ее словами. Какой же я... Дурак, что ли?

* * *

Сережка Клоков нарисовал две огромные афиши. Одну повесили на здании сельсовета, другую — на дверях клуба. Революционная драма в трех актах. Кроме того, слух о предстоящем спектакле распустили по всей Знаменке. И к воскресенью в селе не было человека, который не знал бы о затее новоявленных артистов.

Вход в клуб, конечно, бесплатный. Но в дверях мы все же поставили Гришу Оричкова, не занятого в представлении. Чтобы наблюдал и регулировал. И не допускал скопления зрителей у входа.

И вот наступил час. А клуб оставался пустым. Явились председсельсовета Лобачев, председселькресткома Родин,

инспектор милиции Музюлев, около десятка активистов. Они расселись в разных местах на скамейках. И клуб от этого стал еще более огромным и пустым.

Мы были обескуражены. И долго спорили, играть или нет. Наконец все же решились. И играли, как настоящие артисты, которых никто из нас никогда не видел. Особенно хорошо держалась Маша. Она исполняла главную роль. И то натурально смеялась, то неподдельно плакала. И смотрела на меня, возлюбленного по пьесе, с мольбой в глазах. А Илюшку Цыганкова, коварного злодея, ненавидела и так жгла взглядом, что он и вправду терялся.

В самой середине спектакля, когда страсти на сцене накалились до предела, вдруг раздался набат. Клуб был рядом с церковью, и медный колокол заглушил все на свете. Немногочисленные зрители, как по команде, ринулись из клуба.

Мы тоже бросились на улицу. Ночь стояла темная, но звездная. Лишь на востоке светлела полоска. Что это? Пожар? В селе Роговатом? Но тогда почему наш колокол надрывался как оглашенный?

Илюшка и я бросились к церкви и по крутой лестнице — на колокольню. Под колоколом различили пономаря Лукьяна. Широко расставив ноги, он яростно бросал стальной язык на медные края. Гул от ударов казался таким густым и плотным, что его можно было потрогать руками.

Мы оттащили Лукьяна от колокола. Опомнившись, он отшвырнул нас и опять схватился за язык. И снова медный гул заполнил все кругом.

Мы не знали, что делать. Но вот Илюшка, пригнувшись, ударил пономаря под ноги. Словно подкошенный тот рухнул на пол. Мы навалились на него всей тяжестью. Илюшка грозно крикнул в наступившей тишине:

— Лежи смирно, косой черт! Не то сбросим с колокольни!..

Но «косой черт» не хотел лежать смирно. Перевернувшись лицом вниз, он приподнялся на карачки, как бык. Мы чувалами лежали на его широкой спине. Так продолжалось несколько секунд. Но вот Лукьян приподнялся на ноги и понес нас, висевших у него на плечах, к окну.

— Я скорей сброшу вас, пакостные твари!..

Мы разом отцепились и отскочили назад. Но Лукьян

все же успел схватить нас за грудки и, притяиув к себе, обдал пьяным перегаром:

— Вот я вас, нехристи!..

Грозный окрнк остаповил его. Перед иами стоял Лобачев, председатель сельсовета. Выпущеиные Лукьяиом, мы отпрянули в сторону.

— По какому случаю набат?

Лукьяи пофыркал, будто все еще чувствуя на плечах тяжесть, и глухо сказал:

— Вона пожар. Аль не видншь?

— Никакого пожара,— сказал Лобачев.— Месяц встает.

— Ннчего не зиаю,— прохрипел пономарь.— Сказаио, пожар, значнт, пожар. Не сам звоню, по прнказу.

— Кто прнказал?

— Известно кто. Староста Комаров. Больше иикого не призиаю.

— Ясно,— сказал Лобачев.— Решнли сорвать спектакль н выдумалн пожар. Так?

— Ничего не знаю,— упрямо повторнл Лукьяи.— Вон с колокольни! Неча тут делать антнхристам...

Он спова схватился за тяжелый язык н прннялся бнть нм по краям колокола. Через окна могучий гул опять хлынул во все стороиы. Мы схватили пономаря и потащнли от колокола. Он выпустнл канат языка н принялся отбнваться с еще большей яростью. Но теперь снлы были на нашей стороне. Втроем мы крепко держалн его.

— Захотел в тюрьму? — спроснл Лобачев, когда Лукьян, поняв бесцельность сопротнвления, опустнл руки.— Так я обеспечу тебе путевку.

— Мне все одно, что тюрьма, что церква,— прохрнпел пономарь.— А може, в тюрьме даже лучше...

Явился Максим Музюлев, блеснув в полутьме начищеииой звездочкой иа фуражке.

— Что за паннка? — грозно спроснл он.— По какой причнне звон?..— И когда узнал, в чем дело, приказал пономарю:— А ну, марш вперед! Посидншь в холодной до утра. А утром я устрою тебе такой пожар, что всю жнзнь жарко будет...

Лукьян сразу прнсмнрел и послушно двинулся вииз. Мы сошлн следом. У паперти услышали многоголосый гул. Разбуженная иабатом, большая толпа сгрудилась в ограде.

Лобачев призвал к порядку шумевших знаменцев:

— Ложная тревога, граждане! Можно расходиться по домам!

— Зачем же расходиться? — крикнул я.— Пожалуйста, к нам в клуб! На революционную драму!..

Сдавленная темнотой толпа задвигалась, загудела. Послышался смех, шутки.

— А что, ребята? Давай в клуб!

— Неча там делать, в клубе! Айда домой!

— Вали на драму, граждане! Глазнем, что и как!..

И повалили. За несколько минут клуб набился до отказа. Не осталось ни одного свободного места. Заняты были все подоконники. Многие теснились позади, за последними скамьями.

Мы начали сначала. Играли с подъемом. Не раз зрители заглушали нас топотом, криком, хлопаньем в ладони. Принимая происходящее на сцене за правду, они то возмущались, то неподдельно переживали, то искренне радовались. И во всех случаях отзывались на события.

В момент, когда я спорил с Илюшкой, доказывая, что он поступил подло, из зала раздался негодующий возглас:

— Да ты дай ему, дай в зубы! Что смотришь на гада?..

Боясь, чтобы зрители не разошлись, мы играли без перерыва. Но никто и не думал расходиться. И лишь когда спектакль кончился и Гришка Орчиков задернул занавес, все поднялись и в каком-то благоговейном молчании двинулись к выходу.

* * *

Почти каждый день над горизонтом показывались облака. Низкие, темные, они скапливались в тучи. Но, постояв в нерешимости, снова заваливались за край земли. И небо снова затягивалось белесой пленкой.

Чахла, умирала от жажды молодая озимь. И богомольцы стали теребить отца Сидора:

— Поднимай, батюшка, иконы и хоругви!

— Веди паству на хлеба крестным ходом!

Однако отец Сидор отнекивался. Он советовал побольше молиться дома, не забывать церковь по празд-

никам и не скупиться на алтарь божий. Пока не окрепнет вера в сердцах, молитва в поле не услышится богом.

Внезапно по селу пополз слух. Неспроста дождь обходит стороной Знаменку. Заколдована она. Гонит тучи прочь нечистая сила. А кроется эта нечистая сила в образе старой Анисьи. Пуще огня боится ведьма воды. И потому не подпускает дождь к посевам. А стоит окунуть старуху в воду, как колдовство утратит силу. И небо ниспошлет свою благость.

* * *

Полдюжины приземистых, подслеповатых хатенок ютится на берегу комаровского пруда. Не хутор, а выселки. Даже не выселки, а просто дворики. Угрюмые, захолустные. В стороне от дороги, у черта на куличках.

Вот там-то и проживала столетняя бабка Анисья. Проживала тихо, мирно. Никому не мешала, не причиняла зла. А про нее болтали несусветное. Знается бабка с чертями. И сама оборачивается ведьмой.

Ничего этого старуха не слышала. Она была глухой. Ребятишки дразнили ее, корчась перед ней, когда она грелась на солнышке. Но бабка ничего не замечала. Она была и слепой. И все же, глухая и слепая, она дожила бы свой век, не случись засуха.

Однажды на хуторок явились богомольцы. Зашли в хату Анисьи и предложили внукам искупать бабку. Те, конечно, заартачились. Старая, больная — не выдержит. Но богомольцы стояли на своем. Ничего с ведьмой не станется. Искупать без проволочек. Пока хлеба еще не погибли. А если внуки не внимут призыву, люди сами сделают что надо. Они не потерпят вреда.

И вот на другой день внуки подняли с лежанки бабку и понесли к пруду. Ничего не подозревая, та спокойно лежала у них на руках. А когда они опустили ее в воду, издала нечеловеческий вопль. Чтобы заглушить его, внуки окунули бабку с головой. Когда подняли ее, она была мертвой. Старое сердце разорвалось от страха.

Весть о смерти бабки Анисьи в тот же день разнеслась по селу. И в тот же день распространилась и другая новость. Теперь, когда не стало колдовской помехи, отец

Сидор согласился отслужить молебен в поле. И надежда заглушила совесть. Может, и впрямь смерть пойдет на благо?

* * *

Дождь лил как из ведра. Крупный и теплый, он казался летним, хотя на пороге была осень. И, как летом, сверкала молния. Гулкие раскаты грома сотрясали землю.

Мы сидели дома. Не было только Дениса. Я отправил его с крестным ходом. И наказал все хорошенько запомнить. Теперь, прислушиваясь к грозе, я ждал его. Что-то братишка расскажет?

— Интересно, что теперь будет делать комса? — внезапно спросила Нюрка, отложив недовышитый холст.

Я пропустил мимо ушей обидное слово и безразлично ответил:

— Что надо, то и будет делать. Тебе-то что?

— Как же? — растянула губы Нюрка.— Дождь-то вон какой! А с чего? Искупали колдунью, молебен отслужили — и полил. Как же можно после того балабонить, что бога нет?

Я ничего не ответил. Спорить с сестрой — что головой биться об стену. Нюрка усмехнулась и опять взялась за вышивку. А по улице, крича и смеясь, то и дело пробегали карловцы. Вымокшие до костей, но счастливые. Должно быть, тоже верили в чудо.

Перед окнами промелькнула знакомая фигура. Дениска! Наконец-то! Я нетерпеливо уставился на дверь. Через минуту она распахнулась, и перед нами предстал совсем мокрый Денис.

— Батюшки! — всплеснула руками мать.— Как из речки! Не дождь, а ливень.— Она достала из сундука холщовые штаны, рубаху и подала Денису.— Поди переоденься.

Я нашел брата в комнате, служившей кладовой. Сбросив одежонку, он вытирался рушником. Меня встретил загадочной улыбкой.

— У-у-у, что было! Как в сказке! Если бы ты видел!

Переодевшись, он рассказал обо всем. Мужики вынесли из церкви иконы и шитые золотом хоругви. Сопровождаемая певчими толпа двинулась по улице, увели-

чиваясь с каждой минутой. Тревожно загремели колокола. Взбудораженная пыль облаком поднялась над селом.

Когда перешли мост через Потудань, народу было видимо-невидимо. Чуть ли не на версту тянулось шествие. Мужики шли, держа картузы в руках. Бабы прижимали к груди голопузую ребятню. У всех был благоговейный вид, будто народ переселялся в рай.

Остановились далеко в степи, где от жажды сохли зеленя. Рядком выстроили хоругви и иконы. Подъехал Комаров на своем жеребце. Из тарантаса вместе с церковным старостой вылезли отец Сидор и пономарь Лукьян. И началось богослужение.

Поп воздевал руки к небу, гнусавил непонятные слова. Хмурым басом ему вторил косоглазый пономарь. Жалобно тянул церковный хор. А люди истово крестились, шевеля потрескавшимися губами. Они исступленно просили милости. И милость не замедлила явиться.

С востока, куда были обращены взоры молящихся, внезапно потянуло прохладой. А потом там показались облака. Они двигались быстро и прямо на толпу. И скоро сгрудились в темную тучу. Увидев ее, отец Сидор торопливо покропил посевы водой, привезенной из села, и вместе с Комаровым и Лукьяном укатил домой. Но люди оставались в поле. Они жадно глядели на восток, откуда ползли тучи.

Неужели бог услышал молитву?

Сверкнула молния, где-то прокатился гром. С неба, затянутого облаками, сорвались первые капли. Крупные, тяжелые, они пробились сквозь пыльную завесу и упали на сухую землю.

— До-ож-ди-ик! — взмыл над толпой мальчишеский голос.— Гля-ди-ит-ка, до-ож-ди-ик!

— До-ож-ди-ик! — восторженным эхом отозвалось со всех сторон.— До-ож-ди-ик!

Словно услышав призыв людей, дождь вдруг полил, прибивая пыль. И тогда толпа, отчаянно ликуя, бросилась назад. Мужики тащили намокшие и отяжелевшие иконы и хоругви, женщины прижимали к груди ревевших в страхе малышей. А дождь все припускал. И гром все чаще и чаще бил вслед бегущим...

Закончив рассказ, Денис пытливо посмотрел на меня и спросил:

— Отчего это, Хвиля? Неужели из-за бабки Анисьи и молебна?

Так же вот теперь спрашивали и другие. Спрашивали и не находили ответа. Не было его и у меня. А потому я признался брату:

— Не знаю. Не верю, но и не знаю...

* * *

Мы сидели в клубе вокруг стола и молчали. Все догадки были отвергнуты, и тайна оставалась неразгаданной.

Конечно, мы тоже радовались дождю. Озимь спасена, и люди будут с хлебом. Но в душе гнездилась и тревога. Как церковники узнали о приближении грозы? За кем пойдут теперь колеблющиеся?

Неожиданно в клуб вошла Клавдия Комарова. Вошла как-то робко и остановилась у порога.

— Можно к вам?

Мы молча смотрели на нее. Она приблизилась, виновато улыбнулась.

— Извините, я по делу.— И повернулась ко мне:— С тобой поговорить, Филя. По секрету.

Я смутился и предложил:

— Говори тут. От ячейки секретов не держу.

Клавдия подумала и сказала:

— Хорошо. Слушайте все. Только не выдавайте меня. Все это не случайно, а подстроено. Я говорю про дождь. Недавно отец мой достал в городе барометр. Это такой прибор, который предсказывает погоду. Вот они и ждали, когда барометр покажет на дождь. А когда он показал, распустили слух об Анисье. И согласились на крестный ход, когда ее не стало.

Новость ошеломила нас. Мы пялили глаза на Клавдию, не зная, верить или нет. Она же, заметив наше замешательство, подтвердила:

— Я говорю правду. Барометр предсказал. А бабка Анисья и молебен ни при чем.

Володька Бардин попросил подробно рассказать о диковинном приборе. Клавдия взяла на столе тетрадь и карандаш. Быстро нарисовала круг. Разделила его на части. В каждой части написала слова. В центре круга

начертила стрелку. Коротко объяснила, как и почему стрелка показывает то на «ясно», то на «бурю», то на «дождь».

— Ладно,— сказал Прошка Архипов.— Но почему ты пришла к нам?

Клавдня опустила глаза и вздохнула:

— Я видела, как топили старуху. Я была в лодке и все видела. Это ужасно. Крик ее до сих пор стоит у меня в ушах. Вот я и пришла. Надо раскрыть людям глаза.

— Где находится этот барометр? — спросил Илюшка Цыганков.

— Все время висел у нас. Потом отец передал его батюшке. А тот отнес в церковь и повесил в алтаре. Они решили, что так будет безопаснее.

— И что же ты хочешь от нас? — спросила Маша Чумакова, сверля Клавдню неприязненным взглядом.

— Я хочу...— замялась Клавдня.— Надо его взять, этот барометр. И показать людям. Пускай узнают правду.

— Так,— сказал Прошка Архипов.— Ты хочешь, чтобы мы украли барометр?

— Я советую взять его,— сказала Клавдня.— И раскрыть обман. Ради этого можно решиться.

— Нет,— возразил Прошка.— Даже ради этого мы не можем решиться на воровство. Обманом бороться с обманом не наша линия.

— Как же тогда быть?

— А так,— сказал я.— Хочешь помочь раскрыть обман, принеси этот прибор.

Глаза Клавдни округлились:

— Значит, я должна украсть его?

— Мы не знаем, что ты должна,— заключил Прошка Архипов.— И не желаем ничего знать. Принесешь барометр, тогда поверим.

Клавдня подумала и сказала:

— Нет, этого я не могу.

— Тогда нечего терять время,— сказал я.— Можешь идти. До свидания.

Клавдня покраснела, будто ее ударили, медленно повернулась и вышла. А мы сразу же загалдели, заспорили, перебивая друг друга. Барометр! Вот она где, собака, зарыта!

* * *

В поповском особняке ярко горел свет. За кисейными занавесками передвигались люди. На улицу просачивалась музыка. Граммофон играл какую-то непостижимую песенку. Казалось, это завывает сука, потерявшая щенят.

Я невольно замедлил шаг. Хотелось увидеть отца Сидора. И по лицу угадать его настроение. Как может чувствовать себя человек, отправивший ни в чем не повинную душу на тот свет? И желание мое сбылось. В среднем окне я заметил батюшку. Заросшее волосами лицо его улыбалось. Вот он поднес ко рту стакан и, словно ударив себя в зубы, запрокинул голову. Нет, поп ни в чем не раскаивался. Он торжествовал победу.

А как ловко они обтяпали это дело! Барометр! Что ж это за штука такая, барометр? И как он предсказывает погоду? До сих пор ее угадывали по приметам. Ласточки летят над землей — быть дождю. Небо пылает перед заходом солнца — дуть ветру. У стариков к ненастью ломит кости. А к жаре раскалывается голова. Уши закладывает к метели. Чох нападает к суховею. А сосед наш Иван Иванович, так тот погоду угадывал по пяткам. К засухе они чесались у него, к ростепели — ныли, будто отбитые палкой. Но все это ненадежно. Ни народные приметы, ни пятки деда Редьки не предсказали последнего дождя. А вот барометр... Выходит, он надежнее людских примет.

Размышляя так, я очутился на пригорке. С него видна была мельница. Я пошел кружным путем потому, что на болоте за Молодящим мостом еще стояла непроходимая грязь. На высокой же гребле уже было сухо, и я быстро двинулся под горку.

Дорога проходила невдалеке от комаровской усадьбы. Внезапно от забора отделилась темная фигура и направилась ко мне. Это была Клавдия. Мы остановились друг против друга.

— Я караулила тебя,— призналась дочь мельника.— Почти весь вечер не отходила от калитки.

— А почем знала, что я пойду тут?

— Там грязно. А потом... Не верилось, что оставишь это дело. И не захочешь повидаться.

Я не знал, как продолжать разговор, и спросил первое, что пришло на ум:

— А родители случаем не заподозрили?

— Они еще засветло ушли к батюшке. У него сегодня именины. А я отвертелась, чтобы встретиться с тобой. Ты сказал, чтобы я сама принесла барометр. Хорошо, я согласна. Только... пойдем со мной в церковь.

— С тобой в церковь?

— Да. Я возьму его. И передам тебе. А ты будешь за провожатого. Больше ничего. Понимаешь, какое дело,— перешла она на полушепот.— Ключи от церкви отец носит вместе с ключами от мельницы. Утром, когда уходит, забирает с собой. А вечером, когда ложится спать, вешает на стене. Взять их можно только ночью. А стало быть, и в церковь можно попасть только ночью. Да днем это и труднее сделать. Могут увидеть и помешать. А в ночное время... Или ты боишься?

Она приблизила глаза к моему лицу. Показалось, что даже поднялась на носки. Но я не отступил и нарочито беспечно сказал:

— Когда в поход?

— Завтра. Придешь сюда часам к одиннадцати.

— У меня нет часов.

Клавдия сняла с руки свои и подала мне:

— Часовая стрелка короче минутной. Поймешь?

— Да уж как-нибудь...— И сунул часы в карман.— К одиннадцати жди. А пока...

Клавдия дотронулась до моей руки, словно собираясь взять меня под руку.

— Я пройдусь с тобой. Дома одной сидеть не хочется.

Мы пошли медленно, нога в ногу. Клавдия держалась за кончики полушалка, лежавшего у нее на плечах. Шум мельницы нарастал с каждым шагом. Он мешал говорить. И это было кстати. Ничего хорошего не приходило в голову. А болтать глупости с чуждым элементом язык не поворачивался.

Так молча прошли мы по мостику, под которым лежали деревянные лотки. По лоткам двигалась вода, с шумом падавшая на колеса. Наверху мельницы горел фонарь, и видны были суетившиеся люди. Они загружали бункера зерном.

— Поздновато работают.

— Подвоз большой после урожая. За день не управляются.

Теперь мы шли по гребле. Справа она обрывалась и круто уходила в низину, поросшую ольшаником. Слева огораживала пруд, покрытый кугой и кувшинками. Я думал над словами Клавдии.

Да, подвоз после урожая велик. И хорошо, что на мельнице нет затора. Но трудились-то там батраки. Эксплуатация!

Мы медленно двигались по гребле. Теперь шум мельницы с каждой минутой отдалялся. Уже можно было расслышать шелест верб, тянувшихся по бокам насыпи. Пробивался сквозь него и лай собак на хуторке за прудом. Я спросил Клавдию, чего это она дома околачивается.

— Ты же собиралась в университет?

Клавдия вздохнула и не сразу ответила:

— Собиралась, да не собралась.

— На экзаменах завалилась?

— Экзамены сдала не хуже других. А не прошла по социальному составу. Отец — собственник.— На большом мосту она остановилась.— Давай постоим. Вечер уж больно хороший!

Мы подошли к перилам, оперлись на них и уставились на воду. Здесь, на стрежне, она была чистой и прозрачной. И небо отражалось в ней как в зеркале. Оно походило на серебряный колокол, опрокинутый вниз.

— А ключи от этих заставней отец держит вместе с церковными?

— О да! — воскликнула Клавдия.— За этот мост он дрожит больше, чем за церковь. Боится, как бы кто не спустил воду. Месяц целый пруд будет набираться. А мельница будет стоять. Убыток.

Я подумал о Комарове и спросил:

— А какая у него, твоего отца, перспектива?

Клавдия быстро обернулась ко мне, и я заметил в ее глазах блеск.

— Перспектива? — переспросила она, словно проверяя, не ослышалась ли.— Он все надеется... Пройдет еще немного, и вы, большевики, прогорите. И тогда-то уж...

— Поиятио,— перебил я, довольиый, что и меня она причислила к большевикам.— Тогда-то уж он развериется. И в короткий срок стаиет капиталистом.

— Не знаю, в какой срок ои стаиет капиталистом,— равнодушио отозвалась Клавдия.— И вообще стаиет ли? А только меня это иичуть ие интересует. Я бы хотела... А, лучше не будем об этом.— И, помолчав, спросила:— Подвела я тебя с Есеииным-то? Ну, что подарила иа глазах ребят? Допытывались, отчего и почему?

— И ие подумали,— соврал я.— Даже обрадовались книжке. И сразу же прииялись читать.

— Глупо как-то получилось. С великими голодраицами — тоже. И дернуло же меня брякиуть. Я понимаю, ты сказал так, чтобы дать мие отпор. Но я-то почему повторила? Растерялась, что ли? И получилась иелепица. Голодраицы, да еще великие. Чушь какая-то.

— А иам иравится,— сказал я.— И мы частенько величаем себя так.

Клавдия опять шумно вздохиула.

— Вам хорошо. У вас ячейка. Вместе работаете, спорите. И можете позволить себе даже иесуразиость. А вот когда одиа...— И, подумав, добавила:— Ужасиая вещь — одиночество. Бывает, что и жить не хочется.— Оиа оттолкиулась от перил и протянула мие руку:— Пора домой. Завтра в одиинадцать. Буду ждать.

Я постоял, пока оиа скрылась в сгустившейся темноте, и зашагал своей дорогой. Завтра в одиниадцать. Вспомиились ее часы. Я достал их и подиес к уху. Оии тикали весело, отсчитывая неудержимое время.

* * *

На другой деиь в одиниадцать вечера я был у комаровского дома. Погружеииый в темеиь, ои еле проступал на сером фоие неба. Мельница уже ие работала, и кругом царила тишииа. Я прошел мимо и с тревогой подумал, уж ие забыла ли Клавдия. Но в ту же миииуту услышал позади себя частые шаги. Конечио, это была она. Захотелось подождать ее. Но я продолжал идти. Чего доброго, подумает, что обрадовался.

Догиав меия, Клавдия схватилась за мое плечо и перевела дыхание.

— Гонншь как иа пожар. Нарочно, что ли?

В темноте трудно было узнать ее. Какой-то пиджак, юбка, по-деревенскн повязанный платок. Обыкновениая девка.

Я сделал вид, что не заметил ее руки.

— Вот ключн,— сказала она.— Возьмн.

— Держн при себе. Откроешь сама. Я провожатый.

Она спрятала ключн и сказала:

— Прямо вельможи. Преподнеси иа блюдечке.

Но злостн в голосе не чувствовалось. Я вспомнил о часах, достал нх и подал ей:

— На. Больше ие нужны.

Она взяла. Но иа руку не надела, а спрятала в карман. Несколько мннут шлн молча. Клавдия ждала, когда я заговорю. А мне не о чем было говорить. Все же молчать было непрнлнчно, н я спросил:

— А отец не хватнтся?

Клавдня рассмеялась, точно обрадовавшись:

— Где ему! Напнлся, как сапожинк. И спит как убитый.

— Опять у кого-лнбо гостевал?

— Сам принимал гостей. Лапонины иагрянулн. Петр Фомич с женой и сыном Миханлом. А роднтелн мои и рады стараться. Такой пир закатили...

И оборвала себя. Спроси, мол, зачем гости, по какому случаю пнр, тогда скажу. Но я не спрашнвал. Какое мне дело до ннх? Пускай гостятся и пнруются сколько влезет. Это задело Клавдию.

— А ты всегда гакой?

— Какой?

— Бирюк?

Захотелось тем же ответить ей, и я в свою очередь спросил:

— А ты всегда такая?

— Какая?

— Сорока?

Клавдня фыркнула и замолчала. Мие стало досадно на себя. Она старалась ради нас. И можио было ие обижать ее.

Уже возле церквн я обнаружил, что забыл спичкн.

— А огня-то у нас нет?

— Я захватила свечу,— сказала Клавдия.— И зажигалку.

За оградой было тнхо н темно. Оба креста на высоких колокольнях терялись где-то в тучах. Мы подкрались к боковой двери. Клавдия опять протянула мне ключи. Но я и на этот раз остаиовил ее:

— Сама открывай.

Она долго не могла попасть в замочную скважнну. Может, не тот ключ взяла? Или рукн тряслнсь от страха? Но вот в тишине щелкнуло, н железная дверь с лязгом подалась внутрь. Клавдня вошла первой. Я последовал за ней. Темень в церквн показалась непронннцаемой. И такой плотиой, что о иее можно было разбнться. Клавдия отчего-то вздрогиула и прнжалась ко мие.

— Боюсь.

Я тнхонько подтолкнул ее:

— Пошлн.

Мы сделалн несколько шагов. И разом остановилнсь. Что-то с шумом пронеслось над нами. Коленн мон подломились, н я чуть было ие прнсел. Стонло большого труда удержать себя на месте. А надо было не только самому удержаться, ио н поддерживать Клавдню. Вои как оиа трясется! Будто злые духн уже вселнлись в нее.

Опять что-то прошуршало над головой.

— Господи!— прошептала Клавдия.— Не могу.

Я сжал ее за плечн:

— Идем.

Неслышно ступая, мы сделалн еще несколько шагов. И снова остановнлись как вкопанные. В огромной церквн, наполненной темнотой, то там, то сям возннкал н исчезал какой-то шум. Казалось, это святые, сойдя с нкон, забавлялнсь чем-то. Или ожнвшне ангелы на свонх крылышках порхалн по воздуху? Вспомннлась одна кннга, н холод волной прокатился по телу. Вий! Ои вдруг возник перед глазами — страшный, уродлнвый, с тяжелымн веками. Вот сейчас он протянет железную руку и громко объявит: «Да вот же они!»

Опять иад головой раздался шум. Что-то пронеслось совсем блнзко. В лнцо повеяло ветром. Да это же летучая мышь! Но как очутилась она в церкви?

— Не бойся,— сказал я Клавдии.— Это летучне мыши. Вндать, живут где-то тут.

Я попросил у нее свечку. Клавдия чиркнула зажнгалкой. Огоиек вспыхиул весело, оттесннл темиоту. Я зажал

свечку в ладонях и двинулся вперед. Клавдия следовала за мной. И так близко, что я чувствовал у себя на шее ее дыхание.

С иконостаса на нас строго взирали святые. Выстроившись в ряд, они казались стражами. Так и чудилось, вот сейчас пустят в нас отравленные стрелы. Или пронзят наши сердца копьями.

А вот и царские врата. В тусклом свете они сверкают позолотой. Я приближаюсь к ним и раскрываю створки. И жду, ни жив ни мертв. Сейчас оттуда грянет голос, как громом сразит нас. Но тишина царит и за вратами. И я знаком подзываю Клавдию. Она неслышно приближается, берет меня за руку. Мы входим в алтарь — святая святых церкви.

— Где он тут, барометр?

— Не знаю,— шепчет Клавдия.— Где-нибудь на стене.

Осматриваем алтарь. Квадратная комната. Стены сплошь увешаны иконами. Полукруглое окно забрано решеткой. Посреди комнаты — стол, до полу покрытый золотой парчой. На столе — плащаница с гробом господним. Это ее в страстную неделю выносят из алтаря и ставят посреди церкви. С задней стороны парча откинута. Под столом видны тюфяк и подушка. У изголовья — целая батарея пустых бутылок. Должно быть, на ложе этом отдыхает после трудов праведных пономарь Лукьян. Но где же барометр? Я еще раз осматриваю стены, стол с плащаницей. Барометра нигде нет. Куда же он девался?

Клавдия смотрит перед собой большими испуганными глазами.

— Должен быть тут. Своими ушами слышала.

Уже не осторожничая, я в третий раз обошел алтарь. И осмотрел все, что можно было осмотреть. Даже под грязный тюфяк заглянул. Барометра нигде не было. Может, Клавдия обманула? И, может, вот сейчас нагрянут служители бога, чтобы схватить вора? А потом выставить его на всеобщее посмешище?

Подняв свечу, я снова осмотрел комнату. Со стен насмешливо глядели на меня святые угодники. Они словно потешались над моей неудачей. Раздосадованный, я погасил огонь. Клавдия схватилась за меня, точно боясь, как бы я не растворился в темноте.

— Зачем потушил?
— Могут заметить.
— Что ж теперь делать?
— Сейчас подумаем.

Нет, Клавдия не обманывала. Если бы она была заодно с ними, она не тряслась бы так. Да и на что я им? Нет, тут не было подвоха. Но и ослышаться Клавдия не могла. Барометр где-то здесь.

— Придется подождать до зари. А на заре осмотрим все.

— До зари я не выдержу,— захныкала Клавдия.— Умру от страха.

— Другого выхода нет. С пустыми руками не уйдем.

Клавдия вся прижалась ко мне.

— Филя, милый! — взмолилась она.— Уйдем отсюда! А на заре вернемся. Уйдем, Филечка!

— Нет! — отрезал я, уверенный, что Клавдию потом и на аркане не затащишь в церковь.— На заре возвращаться опасно. Могут заметить. Самое верное переждать тут.— Я обнял ее, подтолкнул к плащанице:— Присядем на стол.

— Что ты, что ты! — вырвалась Клавдия.— Садиться на такое место? Это же грех большой.

Я рассмеялся. Забавным показался ее страх.

— А разве не грех, что ты в алтаре? Церковь-то строго запрещает женщине появляться в этом святом месте. И сулит за такое преступление геенну огненную. Так что ты уже великая грешница. И терять тебе больше нечего. Садись и отдыхай. А то до зари далеко.

Клавдия нащупала стол и присела. Я уселся рядом на золотую парчу. Все-таки интересно. Сидеть на самом святом месте. Да еще рядом с девчонкой. Нарочно не придумаешь.

— Господи, и зачем это я все затеяла? — вздохнула Клавдия.— А ну как они передумали? И спрятали в другое место? Сколько переживаний, и все напрасно. Да и ты бог знает что подумаешь.

— А я уже чуть было не подумал,— признался я.— Может, ты ловушку мне устроила?

— Неужели тебе могло прийти такое в голову?

— А почему бы и нет? Кажется, мы не друзья, а враги. Да еще не простые какие-нибудь, а классовые...

* * *

Какой-то шум прервал иаше перешептываиие. За ним последовал лязг. Потом послышались голоса. Мы разом соскочили со стола.

— Сюда идут,— с отчаянием сказала Клавдия.— Мы погибли.

С минуту я стоял как оглушенный. Отец Сидор и пономарь Лукьян. Я сразу узнал их. Неужели они заметили свет? Я схватил Клавдию и потащил ее за плащаиицу.

— Под стол! — и пригнул ее к полу.— Живо!

Клавдия на четвереньках заползла под стол, на котором стояла плащаница. За ней спрятался туда и я, опустив позади себя парчу. Под столом было тесно и иизко. Мы легли на тюфяк и притисиулись друг к другу.

— Они иайдут нас,— всхлипнула Клавдия.— И убьют.

Я зажал ей рот ладонью:

— Молчи!

Прислушиваясь, я лихорадочно думал, что делать, если нас обнаружат. Один бы я сумел удрать. Только бы меня и видели. А вот с Клавдией... Она так скована страхом, что не двинется с места.

А голоса все ближе и ближе. Послышались шаги. И густой бас Лукьяна:

— Вот и врата отчинены. А иамедни сам затворял. Как сейчас помню.

— Где тебе помнить, когда ты пьян,— возразил отец Сидор.— Спьяну все померещилось.

— Своими очами зрел свет в алтаре. То вспыхивал, то затухал. Не иначе кто ходил тут со свечой.

— Да кому ж тут ходить-то? Кому и зачем? Да еще в такое время? Все живое спит. Только ты блукаешь.

— Час поздиий, это так, батюшка. А только своими очами... Был тут какой-то леший.

— Поменьше бы пил. А то меры ие знаешь. Даже к вечерне пьяным являешься.

— Уж ты и скажешь, батюшка. К вечерне пьяным. Да когда же такое было? А что до нонешней ночи... Полбутылки выпил, каюсь. Но разве ж это мера?

Отец Сидор разгуливал вокруг плащаиицы. А Лукьян топтался на одном месте. И луч от его фонаря прыгал по

полу. Я видел это в просвете между парчой и крашеными досками.

— В полночь взбудоражил,— ворчал поп.— А ради чего? Перекрестился бы и отогнал привидение. Так нет же! Разбудил и притащил.— И повелительно:— Пойдем! Я спать хочу.

— Сейчас пойдем, батюшка,— смирился Лукьян.— А допрежь позволь глоток влаги господней.

— Вот оно что! Так ты из-за этого придумал?

— Нет, нет, батюшка! На кресте кляну́сь. Своими очами зрел. А прошу от жажды. Огонь в душе залить.

— Нельзя. Осталась одна бутылка. Причащать нечем будет.

— Святой водицы сахаром разведу. И подкрашу так, что сам господь от своей крови не отличит. Ну позволь, батюшка! И сам причастишься. Чтобы спалось покрепче.

— Ладно уж, доставь,— сдался поп.— И мне налей. А то и правда не скоро уснешь. Перебил сон, олух царя небесного.

Звякнуло стекло, забулькала жидкость. И снова голос Лукьяна:

— За господа бога, спасителя нашего!

Закурлыкали гло́тки, зачмокали губы. Крякнув, отец Сидор сказал:

— Доставь-ка по просвирочке. Раз уж выпили, надо и закусить.

Медленное и громкое чавканье. И утробное гудение пономаря:

— А как вы обвели паству-то. Ведьма, крестный ход и дождь. Всем чудесам чудо. Закоренелые грешники и те перекрестятся.

— Не богохульствуй. Дождь не от одного прибора, а и от молитвы.— И прошаркал мимо нашего изголовья.— А ну-ка, взглянем на него. На что показывает? Может, на бурю? — И тревожно:— А где же он?

— Я спрятал в тайник.

— Фу-ты, дьявол! А я уж испугался. Зачем спрятал-то?

— Для надежности. Ну как кто увидит?

— Да кто ж тут увидит? Кроме нас с тобой, сюда никто не заходит. Нет, нет! Доставь сейчас же! Или пропил уже?

— Что вы, батюшка? Как можно пропить его? Это

же не нкона какая-ннбудь, ои же дороже любого свято-го.— И, протопав куда-то, вернулся на место.— Вот смотрнте. Целехоинький. И показывает на «ясно».

— Повесь на стену. И пускай внсит. Ои должеи быть на воздухе. А в тайннке может нспортнться.

— Молнтва молнтвой,— сказал Лукьян, пройдя куда-то.— А главное все ж такн он. Он выручнл иас. Сколько в воскресенье народу-то набнлось? И касса наша сразу пополнилась. И будет пополняться от праздннка к празднику. Только меня уж не обделите, батюшка. Совсем оскудел раб божнй.

— Пропиваешь много. На баб несоразмерно тратншься. Сколько увещевал тебя? Укроти плоть. Чаще молнтве предавайся. А ты все ие внемлешь гласу мудростн. И в делах рвення не показываешь.

— Как же не показываю? Все как есть нсполняю. И вашн прнхоти н комаровские. Намедни иабат по прнказу бнл. А как бнл-то? На взаправдашнем пожаре так бы ие старался. И за то чуть в темннцу не угоднл. Наснлу выпутался.

— За то хвала тебе...— И звонкнй, продолжительный зевок.— Разливай остальное, что ли? Долакаем н пойдем. А то еще и матушка примчнтся.

Снова звякнуло, забулькало, закурлыкало. А затем кряканье, сопенне, чавканье. И елейный голос отца Сндора:

— Прости нас, господн! Не накажи за слабость, грешных! Ибо в слабостях нашнх — нашн радостн!

— Аминь! — врастяжку пробаснл Лукьян, точно был на клнросе.— Слава нашему создателю! И тебе благодарность, батюшка!

Робкнй луч скользнул по крашеному полу и метнулся в стороиу. Глуше и глуше шагн. Стук, лязг железа. И натужная тншнна. Я пошевельнулся, но Клавдня не выпустила меня.

— Подожди. Может, прнтанлнсь?

И мы продолжалн лежать. Прошло еще немало времени. Клавдня достала зажнгалку, глянула на часы.

— Уже, должно, светает.

Я осторожно вылез из-под стола. Густая тьма поредела. То лн в самом деле рассветало, то ли тучн на небе рассеялись! Глаза различнли на стенах нконы. Под одной

из них поблескивал металлический круг. Это был барометр. Я показал Клавдии на него и прошептал:

— Вот он. Можешь взять.

Клавдия сняла барометр с гвоздя и подала мне. Я торопливо отшагнул назад.

— Сама выноси.

Клавдия завернула барометр в головной платок и, блеснув глазами, сказала:

— Пошли, провожатый!

Осторожно передвигаясь в полутьме, мы вышли в левое крыло. Тут только я понял, что поп и пономарь вошли в церковь через правую боковую дверь. А пройди они через левую, вряд ли мы отделались бы так легко. Дверь-то оставалась незапертой. Но я не сказал о своей догадке Клавдии. Она и без того немало натерпелась за эту ночь.

* * *

Лобачев долго вертел в руках барометр. Потом положил его на стол и пытливо глянул на меня.

— Так, говоришь, никто не знает об этом?

— Никто,— подтвердил я.— Кроме ее и меня.

Лобачев одобрительно кивнул и снова посмотрел на барометр.

— Скажи, до чего додумались. Нет, не простаки наши идейные противники. Даже наукой и техникой не гнушаются. Все ставят на службу богу.

Не терпелось узнать, что собирается он сделать с барометром, и я, улучив момент, спросил:

— А когда начнем разоблачать их?

Лобачев непонимающе посмотрел на меня.

— Как разоблачать?

— А так. Когда барометр этот покажем людям и обман раскроем?

Лицо Лобачева потемнело, брови насупились.

— А чем мы докажем, что он ихний?

— А чей же еще?

— А если они скажут, что мы сами купили его? Кому поверят богомольцы, нам или им?

От этих слов я прямо-таки опешил. Прежде казалось, стоит только прибору этому попасть в наши руки, как церковники будут опозорены и обезврежены. Те-

перь же выходило, что вся эта затея не стоит и выеденного яйца.

Не скрывая растерянности, я молча смотрел на Лобачева. А тот медленно, точно рассуждая с самим собой, продолжал:

— Но допустим, мы докажем, что барометр принадлежит им. Допустим. Тогда они потребуют рассказать, как он очутился у нас. Что же тогда? Сказать правду? И выдать Клавдию?

— Клавдию выдавать нельзя. Это будет нечестно. Я дал ей слово.

— Правильно,— одобрил Лобачев.— Неблагодарностью платить за помощь нельзя. Но тогда что же мы скажем? Сами украли? Забрались в церковь и стащили? Они же поднимут такой вой, что и барометра не захочешь.

— Что же делать? — выдавил я.— Как быть?

Лобачев бережно засунул барометр в ящик стола.

— Я собираюсь в район,— сказал он.— Придется и тебе поехать. Прихватим его с собой. Покажем Дымову. И посоветуемся с ним.

— А мне зачем ехать? — спросил я.— Вы разве без меня не посоветуетесь?

— А если Дымов захочет от тебя узнать обо всем? — в свою очередь спросил Лобачев.— Как говорится, из первых рук? Или ты чем-либо занят?

Мне не хотелось ехать. Придется и от Дымова скрыть. А сумею ли? Ну как он станет допытываться? Да еще так, что запутает? Что тогда? Признаться? А что скажет тогда Лобачев? И как на мою вылазку в церковь посмотрит сам Дымов? Но и отказаться от поездки не было причин. И я сказал:

— Да нет, ничего такого. Обычные дела. Можно отложить, если надо ехать.

— Вот и хорошо,— сказал Лобачев.— Поедем вместе. И Симонову сам доложишь. Для него ж это тоже важно.— И глянул на раскрашенные ходики, висевшие на стене.— Приходи через часик. И мотнем...

Засунув платок Клавдии в карман, я вышел на улицу и побрел, сам не зная куда. В горле что-то першило, пощипывало и в глазах. Сколько перенести и ничего не получить. Я сказал Лобачеву, что Клавдия передала мне барометр. И это была правда. Но я умолчал, что сам хо-

дил с ней в церковь. Теперь предстояло скрыть это и от Дымова. А ради чего?

Неожиданно я очутился у дома Володьки Бардина. Володьку нашел в затишке за сараем. Он с увлечением стриг Сережку Клокова. Ножницы в его руке позвякивали, как у заправского мастера. На землю падали златые Сережкины кудри. В начале культпохода Володька вызвался быть ячейковым парикмахером. И с тех пор добросовестно окультуривал нас.

Поздоровавшись, я присел на обрубок дерева и стал наблюдать за стрижкой. Володька топтался вокруг Сережки, то и дело зачесывая назад его вьющиеся волосы. А Сережка рассказывал о Ленке Светогоровой. Ему никак не удавалось вовлечь ее в комсомол.

— Я уж с ней и так и этак,— жаловался Сережка, полузакрыв глаза.— А она ни в какую. Подожду, говорит, не к спеху...

Покончив с Сережкой, Володька осмотрел меня.

— Мог бы еще походить. Но раз явился, садись. Так уж и быть, отремонтирую.

Я не собирался стричься. Но от приглашения не отказался. И, сбросив пиджак, уселся на табуретке. Володька отряхнул рушник и замотал им мою шею. Ножницы у него были тупые, резали плохо, больно дергали. Но я ничем не выдал себя, хотя иной раз было невмоготу. Обрабатывал нас Володька бесплатно. И грешно было капризничать.

Сережка умчался домой. Предстояло теребить коноплю на огороде. После стрижки я попросил Володьку побрить мне усы. Тот больно дернул за пух на моей верхней губе:

— Где они, усы-то? Один мох и пух.

— А я и хочу брить мох и пух. Чтобы усы скорей росли.

— А на кой ляд они тебе?

— Очень хочется повзрослеть. А то пух этот, как у цыпленка. Никакого доверия.

Володька вздернул плечами и принялся разводить мыло.

— От одних усов не повзрослеешь,— рассудительно возразил он, сунув мне в нос и губы намыленный помазок.— Но я согласен брить тебя хоть каждый день.

Закончив мылить, он принялся точить бритву о ремен-

ный пояс, внсевший иа дверн сарая. А я сндел с иамыленным ртом н иаблюдал, как однн за другим от губ монх отрывалнсь и уиоснлись ввысь мыльиые пузырн. Я иикогда еще не брился. И теперь нспытывал такое чувство, как будто расставался с жнзиью. И готов был проснть пощады. Но не мог разжать челюстн. С первым же словом мыло попадет в рот. А оно, как говорнлн, делалось из дохлых свиией.

Направнв брнтву, Володька повернул мою голову набок. И, подровияв внсок, смело провел лезвнем по щеке. Я ие поиял, зачем ои бреет щеку. На ией ие росло даже пуха. Но я иичего ие сказал. Мыло мешало раскрыть рот. А может, Володька нарочио залепил мие его? Чтобы ие болтал под руку?

Повернув мою голову иа другой бок, Володька так же ухарски провел бритвой по другой щеке. Потом поскреб бороду. И пальцамн взялся за иос.

— Сидн смнрно. Пух и мох сннмаю.

Сперва бритва шла по губе неслышио. Потом споткнулась обо что-то. В ту же секуиду я почувствовал боль.

— Ух ты! — восклнкнул Володька.— Порезал. Губа неровиая. Ложбинка под носом. Но это иичего. Пускай кровь малость покапает. Полезио. Особенио для ума.— И сиова взял меия за нос.— Не шевелнсь. Добрею остальные полгубы.

Со второй половииой он управился без помех. Сбегал в хату и прниес ведро воды.

— Подставляйся. И мойся.

Прямо из ведра он лил мне на голову холодную воду. А я, фыркая и отдуваясь, скреб затылок, тер шею, полоскал лицо. Когда вода коичнлась, я вытерся рушииком, гребешком причесал волосы.

— Да-а,— протяиул Володька, осматривая меия.— Вообще инчего. Только иа губе подгаднл. И далась тебе эта ложбиика. Была бы губа как у меня, иичего бы ие случнлось...

В эту самую минуту во двор вошел отец Сидор. Да-да, иаш поп, священиик, батюшка — собствеииой персоиой. Только иа этот раз ои был не в рясе, а в суконном костюме н яловых сапогах. И только грива и борода оставались поповскими. Разииув рты, мы молча смотрели на непрошеиого гостя. А он, подойдя ближе, неуверенно остановнлся и сказал:

— Я к вам, ребятки. Помогите до конца сбросить сан. Снимите патлы. Желаю на честной стезе служить народу.— И, видя нашу нерешительность, добавил:— Я пошел было к взрослому цирюльнику, а тот отказался. Сроду, говорит, не стриг попов. Иди, говорит, к комсомольцам. Они согласятся. Вот я и явился. Не откажите в такой милости. Преобразите в мирянина.

Володька глянул на меня. В глазах у него метнулось озорство. Оно овладело и мною. Я еле заметно кивнул ему. Он повернулся к попу и сказал:

— Садитесь, батюшка!

Отец Сидор поклонился и присел на табурет.

— Бывший батюшка,— поправил он.— А в миру — Сидор Иваныч...

Но Володька уже не слушал его. Собрав поповские космы в руку, он ловко отхватил их ножницами и бросил на землю.

* * *

Лобачева я застал на месте. Но рассказать о выходке отца Сидора не успел. Постучавшись в дверь, бывший поп сам тут же вошел в комнату. Выглядел он теперь настоящим мужиком. Волосы коротко подстрижены, борода начисто сбрита, а рыжие усы закручены кверху.

Остановившись перед Лобачевым, он сказал:

— Я к вам, гражданин председатель. Разрешите обратиться?

Лобачев не узнал попа и с любопытством оглядел его.

— Пожалуйста, обращайтесь. Что угодно?

Отец Сидор кашлянул в кулак и переступил с ноги на ногу.

— Я, понимаете, священник. Виноват, бывший священник. Отец Сидор, или поп. А бывший потому, что сегодня снял с себя священный сан. Понимаете, не желаю больше заниматься постыдным делом...

А поступил он так потому, что, видите ли, разуверился. Вера в бога оставила его еще тогда, когда он прочитал Библию. В ней он обнаружил множество противоречий и глупостей.

— Судите сами,— каялся бывший батюшка.— В священном писании сказано, что ни единый волос не упадет с головы человека без воли божьей. Значит, все делается

с ведома всевышнего, по его желанию и разумению? А значит, не кто иной, как бог, повинен в страданиях людей на земле...

Мы смотрели на отца Сидора, как на оборотня. Он никак не вязался с тем, кто много лет показывался на людях бородатым, длинногривым, в рясе до пят, с большим крестом на шее. И все же это был он, бывший поп. Было чему удивляться. Но Лобачев скоро овладел собой и прервал словоохотливого отступника:

— А скажите, почему вы именно сегодня сняли с себя священный сан?

Отец Сидор снова переминулся на яловых сапогах и признался:

— Сегодня я исполнил то, что решил давно. Раньше все не хватало мужества. А сегодня подтолкнула история с барометром. С тем самым, какой вы ночью взяли в церкви.

— Мы у вас ничего не брали,— возразил Лобачев.— Откуда у вас такие мысли?

Бывший поп усмехнулся, опустив глаза, но скоро опять поднял их на Лобачева.

— Так вот, история с барометром,— продолжал он, не ответив председателю сельсовета.— Совсем, знаете, стыдно стало. Совестно и стыдно. Комаров привез из города этот прибор и потребовал согласиться на крестный ход, когда будет указание на дождь. Я подчинился. А как узнал, что пострадала невинная жертва, так и восстал. А тут еще письмо однокашника по духовной семинарии. Тот уже давно сбросил рясу и теперь в областном центре организует антирелигиозный музей. В своем письме он просит меня присоединиться к нему. Ну, я и решился. Не желаю больше обманывать. Хочу идти в ногу с народом. И жить честным трудом. А церковь — это анахронизм. Уже недалеко то время, когда она отпадет за ненадобностью.— И вдруг впился в Лобачева маленькими, сузившимися глазами.— Вы сказали, что не брали барометр? Так, значит, у вас его нет?

— Нет, он у нас,— ответил Лобачев.— Но мы не брали его. Ваш человек принес его нам. По доброй воле.

Бывший поп раскрыл глаза:

— Наш человек? Кто же это?

— Этого мы вам не скажем. Да это и не важно. Важно, что он у нас, барометр. И что обман раскрыт. Что до

вас лично, то вы можете ехать куда хотите. Никто не будет препятствовать. Только просьба небольшая. Напишите все, что тут сказали. И что обязанности священника слагаете с себя без принуждения. Напишите и принесите нам.

— Слушаюсь, гражданин председатель! — отчеканил бывший отец Сидор, весь вытягиваясь, будто военный.— Завтра же принесу такое признание. А со своей стороны попрошу: выдайте мне справочку. Тоже о том, что священный сан я слагаю с себя добровольно.

— Хорошо,— пообещал Лобачев.— Мы приготовим такую справку. А теперь можете быть свободны. Не удерживаем.

— Благодарю вас! — поклонился бывший поп.— До свидания!

И, не дожидаясь ответа, вышел. А мы, проводив его глазами, переглянулись. И Лобачев заключил:

— Противник спасается бегством...

* * *

Дымова в райкоме не оказалось. С утра отправился по селам. Обещал вернуться к вечеру следующего дня.

Лобачев был огорчен. Я же радовался про себя. Не надо было лукавить и скрытничать. Да и советоваться не о чем было. Барометр уже сделал свое дело.

У Лобачева были свои дела в райисполкоме. Мне надо было побывать в райкоме комсомола. И мы условились встретиться у коновязи, где жевал сено Гнедой.

На площади Лобачев вынул из портфеля барометр и подал мне.

— Покажешь Симонову,— сказал он.— Пускай полюбуется...

Но Симонов был у себя не один. Рядом с ним на деревянном диванчике сидел Воронин. Да, Саша Воронин, секретарь обкома. От неожиданности я остановился за порогом. И молча вытаращил глаза. А Воронин, усмехнувшись, подошел ко мне, пожал руку и сказал:

— Здорово, Хвиля! А мы только что говорили о тебе.

— Легок на помине,— сказал Симонов, также поздоровавшись со мной.— Седай. И докладывай.

Но я не торопился с докладом. Решив, что Воронин будет в Знаменке, я сказал:

— Это хорошо. А то у нас еще не было никого из обкома. И ребята обрадуются.

— Саша не поедет к вам,— сказал Симонов.— Он уже два дня у нас. Мы с ним объездили больше полрайона. Сегодня он уезжает в соседний район. Собирался сделать большой крюк, чтобы заехать к тебе. Но раз ты сам нагрянул, отправится прямым путем.

Я не скрыл огорчения. Но за Воронина опять ответил Симонов:

— Мы избрали более слабые ячейки. Какие в первую голову нуждаются в помощи. А на все ячейки у него все равно не хватило бы времени.

— Надо бы сделать так,— сказал я.— Выбрали бы разные ячейки. По делам схожие с другими. Побывали бы там. Хорошенько познакомились бы с ними. А потом собрали бы здесь всех секретарей. А то и других активистов. И на примерах проверенных рассказали бы, что у нас хорошо, а что плохо.

Воронин хотел было сказать что-то. Но его снова опередил Симонов.

— Это твое мнение,— сказал он, почему-то недовольно фыркнув.— А мы придерживаемся другой точки зрения.

— Я думаю, Хвиля прав,— сказал Воронин.— Лучше было бы так сделать. Познакомиться с наиболее типичными ячейками. Как хорошими, так и слабыми. И рассказать районному активу о своих впечатлениях. Тогда пользы от моей поездки, пожалуй, было бы больше...

Мы не виделись около пяти месяцев. Срок небольшой. Но Воронин заметно изменился. Он как бы повзрослел, окреп. Даже пополнел. И юнгштурмовка теперь сидела более ладно на нем. Да, так оно и есть! Пояс застегнут на другую дырку. А на прежней виднелся только след от пряжки. И лицо посмуглело. Даже чуть облупилось. Порыжели волосы, обожженные солнцепеком. Как видно, летом не засиживался в кабинетной прохладе.

— Церковную школу-то отвоевали? — спросил Воронин, широко улыбаясь.— Коля рассказывал. Отличный клуб вышел?

Я подтвердил, что клуб получился неплохой. Но пожаловался, что рядом с церковью оказалось трудно рабо-

тать. Верующие родители запрещают детям посещать богохульное место. И вдруг вспомнил о барометре, который держал в руках. Поп-то скоро уберется из деревни. А церковь сама собой закроется. И уже не будет помехой для клуба. Это открытие так обрадовало меня, что я еле удержал восторг. И, развернув Клавкин платок, протянул Воронину барометр:

— Вот посмотри, Саша! И скажи, что это такое?

Воронин взял барометр. Глянул на него. И сказал:

— Обыкновенный барометр. Прибор для предсказания погоды.

И передал барометр Симонову. Тот повертел прибор в руках. Зачем-то постучал костяшками пальцев по стеклу, закрывавшему стрелку. И воскликнул:

— Ух ты! Первый раз вижу! Где раздобыли?

— Дочь мельника и церковного старосты передала,— сказал я.— Клавдия Комарова. Принесла в ячейку и подарила.

Они ничего не понимали. И тогда я рассказал обо всем. И о засухе. И о бабке Анисье. И о крестном ходе. И о ливне с грозой.

— Мы не знали, что делать,— рассказывал я.— Готовы были пасть духом. И вот явилась она, Клавка. Рассказала, что все это подстроено церковниками. И по нашей просьбе взяла этот барометр в церкви и передала нам.

Воронин и Симонов молча смотрели на меня. Казалось, и они были ошеломлены новостью. И даже на какое-то время лишились дара речи. Наконец Симонов, сузив свои монгольские глаза, спросил:

— Что же побудило ее решиться на такой шаг?

— Видела, как топили бабку,— сказал я.— Слышала ее крик. Это потрясло ее. И она решила раскрыть обман.

Симонов вернул мне барометр. И строго предупредил:

— Смотрите в оба. Не снижайте бдительности. Может, хитрый ход? Враг на все способен.

А Воронин поинтересовался:

— И что же дальше? Как думаете поступить?

Я завернул барометр в платок. И положил себе на колени.

— Вывесим его в сельсовете. На всеобщее обозрение. И для определения погоды. А вообще... Дело сделано. Поп

уже не поп. Сам снял рясу. И подстригся в мужика. А патлы его снял наш комсомолец Володька Бардин.

Они снова уставились на меня с раскрытыми ртами.

— Как комсомолец? — растерянно спросил Симонов.— Почему комсомолец?

Я рассказал, как было. Они рассмеялись. Потом Воронин сказал:

— Прямо комедия. Нарочно не придумаешь.— Он встал. Прошелся по комнате, поскрипывая хромовыми сапогами. И, остановившись перед Симоновым, сказал:— А я все-таки жалею, что мы не побывали в Знаменке. Как видно, там хорошие ребята. И надо было познакомиться с ними. Для того чтобы другим рассказать о них.— И сам же себе ответил:— Ну, да ничего. Отложим на будущее. А пока же будем рассказывать о барометре. Даже один этот случай стоит многого. И его следует распропагандировать...

Потом он принялся расспрашивать о ячейке. Интересовался ростом комсомола. Работой среди девушек. Ликвидацией неграмотности. Часто останавливал меня. Рассказывал, как такие дела идут в других ячейках. А под конец посоветовал начать пропаганду коллективного труда.

— Партия выдвигает задачу кооперирования крестьянских хозяйств,— сказал он.— И считает ее самой важной в деревне на данном этапе. На комсомол возлагается большая ответственность. Он должен стать надежным проводником этой идеи.

— Знаменцы у нас ничего ребята,— вставил Симонов и загадочно усмехнулся.— Только любят пооригинальничать. Вот выдумали каких-то там великих голодранцев. Величают себя так во всеуслышание. Да еще гордятся этим.

Воронин попросил меня объяснить, что это значит. Я рассказал, как возникло это выражение.

— Кулакам назло,— говорил я.— Они дразнят нас голодранцами. А мы отвечаем: голодранцы. Но не обыкновенные, а великие. А великие потому, что порядки их исконные ломаем. Такой ответ злобит их еще больше. А нам от этого — еще больше удовольствия.

— Великие голодранцы! — произнес Воронин и рассмеялся.— А ты зря, Коля! Честное слово! Это же хорошо. Великие голодранцы! Так же оно и на самом деле. Да,

мы голодраицы. Не отрицаем. И ие видим в этом позора. Но голодраицы великие. И по делам, которые проводим. И по целям, какие перед собой ставим.— И обратился ко мие:— Нет, иичего, Хвиля! Даже хорошо. Пусть кулачье злится. А вы гиите свое. И ии в чем ие давайте врагу спуску...

В раскрытом окие показалась голова Лобачева. Ои поздоровался с Симоиовым и Вороииным, которого ие зиал. И сказал мие:

— Уже жду, Касаткии! Поехали! Если ие хочешь пешком мерить версты.

И сполз с фуидамеита. Я встал. Вороиии задержал мою руку и попросил:

— Передай привет своим великим голодраицам. И тебе самому желаю всего хорошего. Особеино в классовой борьбе.

Симоиов тоже пожал мне руку и также попросил передать комсомольцам привет. Я пообещал выполнить их просьбу и, со своей стороиы пожелав им всего хорошего, вышел. А иа улице, бережно прижимая барометр к груди, бегом пустился к коиовязи.

* * *

Дома у иас, как и всюду, уже зиали об отступиичестве попа. И безжалостно поиосили его.

Особеино возмущалась Нюрка. Оиа призывала иа его голову громы и молиии, прочила ему вечные муки иа самом дие ада. Мать же молчала. Порой оиа вдруг остаиавливалась и смотрела перед собой иевидящими глазами. Что же до отчима, то ои уже без всякой опаски величал бывшего батюшку прохвостом и пьяичугой.

Но оии иичего ие зиали о барометре, и я с удовольствием поведал им эту историю. Коиечио, я ие иазвал Клавдию, умолчал и о самом себе. Но их такие подробиости и ие заиимали. Важеи был сам факт, и ои потряс их. Потряс так, как будто иад иими разверзлось небо и оии ие увидели там ии рая, ии ада.

Мать первой опомиилась и торопливо перекрестилась.

— Господи боже мой! — сказал оиа, отчуждеиио взгляиув иа икоиу.— Какие же оии шарлатаиы, иаши пастыри! А мы-то слушались их. Срамота какая!

— Бедиая Аиисья,— покачал головой отчим.— Ни за

поиюх табаку погибла, старая. А все из-за алчиости этих священиослужителей.

Нюрка вдруг завыла, застонала, точно ей стало нестерпимо больио, и бросилась вон из хаты. И только Деиис ничем не выдал своих чувств. Ои сидел на лавке и ие сводил с меия блестящих глаз. И взгляд его, казалось, говорил, что уж ему-то иечего удивляться, ибо ои давио зиает обо всем.

После ужииа я вышел во двор и устало зашагал к сараю. Там иа сеие я спал все лето. И хотя после дождя зори стали прохладиыми, переселяться в хату пока что ие собирался. Голова у меия гудела и была такой тяжелой, будто ее иачииили песком. Хотелось поскорее улечься иа душистом сеие, закрыть глаза и забыться. Так миого за эти сутки было передряг, что оии вымотали силы. Да и вечер уже хмурился, затягивал балку серыми сумерками. Но едва я улегся, иатянув иа себя лоскутиое одеяло, как дверь сарая скрипиула и раздался настороженный голос Дениса:

— Хвиль, а Хвиль, где ты тут? Хочу спать с тобой. Примешь? — Он постлал дерюгу и улегся рядом.— Слышь, Хвиль, а где тот барометр?

— Там,— ответил я сквозь полудрему.— В сельсовете.

Деиис иедоверчиво потянул иосом.

— А может, у тебя где спрятаи?

— У меия его ие было.

— Был,— сказал Денис.— Сам видел.

Его слова согиали дремоту. Я приподиялся иа локте и иаклоиился иад братом.

— Когда это ты видел его?

— Утром. Заглянул в сарай, а ты спишь. И ие иа постели, а в стороие. Должио, соиный сполз. А под подушкой — узел. Я развязал его, а там круг какой-то. И иадписи «ясио», «буря», «дождь».

Я сиова упал иа подушку. Нет, ие уберегся. И тайиа перестала быть тайиой. Но что же в этом страшного? Мог же кто-либо передать прибор мие? И ие большая беда, если Деиис уже проговорился.

— Да, ои был у меия,— сказал я.— Мие передали его. А я отнес в сельсовет. Теперь ои там висит и погоду предсказывает.

Несколько минут мы лежали молча. Потом Денис сказал:

— А ты догадался, отчего Нюрка так расхлюпалась? Венчаться теперь негде будет. Понял? А она ждет сватов из Сергеевки. На свадьбу надеется. А какая ж свадьба для нее без венчания? — И, повернувшись на бок, дотронулся до моего плеча:— А у тебя что под носом? Сам порезался?

— Не сам,— сказал я.— Володька Бардин порезал. Брил, а бритва тупая.

— Я так и знал,— с сожалением произнес Денис.— Все пропало. Начал бриться, скоро жениться. А как женишься, так переменишься. И тогда прощай наша дружба.

Я рассмеялся, обнял брата и крепко прижал его к себе.

* * *

Сходка была бурной. Беднота бушевала, как Потудань в половодье. Селькрестком разносили в пух и прах. От критики Родин не успевал поворачиваться.

Особенно разорялась Домка Землякова. Она без конца подбегала к столу, покрытому красной материей, и, подперев бока кулаками, кричала:

— К чертям собачьим такую лавочку! И взаимопомочь такую к чертям! Как было раньше, так осталось и теперь. Тот же голод, та же кабала! За что же погибли в гражданку наши мужья?

В последний раз она, прервав себя, вдруг повернулась к председателю селькресткома Ро́дину, и глаза ее вспыхнули гневом.

— Вон, гляньте на него, нашего хорошего! Ишь какую пузень отрастил! Что твоя баба на сносях! Где ж такому-то о бедноте заботиться? Впору брюхо таскать...

Как председатель собрания, я постучал карандашом по столу, призывая вдову к порядку. Она полоснула меня высокомерным взглядом и сказала:

— А ты еще что задираешься, рашпиленок? Думаешь, как посадили за стол, так и поумнел? Да я позабыла больше, чем ты знаешь...

Выпад Домки выбил меня, что называется, из седла. В свою очередь, разозлившись, я про себя плюнул на все

и предоставил собранне самотеку. Пусть орут, разоряются, болтают все, что лезет в голову. Когда-нибудь да угомоиятся. И приведут себя в человеческнй вид.

А беднота продолжала разноснть иас, руководителей. Мы н такне, и сякне, и разэдакие. Только и думаем что о себе. А о бедноте так совсем позабыли. И ннкак ей, многострадальной, не помогаем, от кулацкого пронзвола не защищаем. Прнняли гужиалог, да почти тут же н сдались. Испугалнсь указки райисполкома, который сам поднял лапки перед областной бумажкой. А следовало бы не труснть, а смелее наваливаться на кулачье. Как посмелн, дескать, жаловаться в область? Да мы с вас за такие выходкн шкуры поснднраем н на плетень повеснм!

Но все же самым поразнтельиым был конец сходки. Когда у всех языкн изрядно одеревенели, к столу подошел Лобачев.

— Мы на партячейке обсуждали отчет селькресткома,— сказал ои.— И вот так же, как вы, критнковалн его работу. И решнли поставнть вопрос о выборе нового председателя. А товарнща Роднна откомандировать в распоряженне райкома партнн.

Бедиота дружио прнветствовала эту новость. А Лобачев, переждав, пока шум затнх, продолжал:

— И о новом председателе подумали. Все взвесили, обсуднлн. И организованно выноснм на ваше усмотрение...

И иазвал меня. Да, да! Я не ослышался. Назвал по именн, отчеству н фамнлни. Еслн бы передо мной грянул гром, то н он потряс бы меня меньше. Что это такое? Незаслуженная шутка нлн страшная ошибка? Меня — и председателем кресткома. Да я же в таком деле — нн в зуб ногой. И не иа одиом мне свет клнном сошелся. Есть же средн бедияков умудреные годамн н жнтейскимн деламн. Им ведь легче управнться с такой работой. А что я с моимн семнадцатью годамн? Вои как отбрнла меия Землячиха. А разве у нас мало такнх ярых вдовушек? Любая из ннх съест кого угодно. А меня проглотит со всеми моими потрохамн. Да н на что мне эта обуза? Хватит и комсомола. С ннм одним — хлопот полон рот.

А Лобачев уже расписывал меня. Я н грамотный, и способный, и прнлежный, и вежлнвый. И иикто не возражал. Это казалось невероятным. Беднота была как бы ошарашеиа иеожнданностью. И слушала с напряжеииым

вниманием. Будто речь шла и в самом деле о ком-то примечательном. Или о чем-то из ряда вон выходящем.

— Все же скоро послышались нетерпеливые голоса. Вроде того, что: «Знаем!.. Наш парень!.. Свойский!.. Не подгадит!..» И не успел я опомниться, как был избран. Почти единогласно.

«Что ж меня-то не спросили? — с горечью подумал я, как будто меня осудили на каторгу.— Я бы не хуже рассказал о себе. Тогда бы они увидели, что я не заслуживаю этого...»

* * *

Когда беднота разошлась, в клубе остались Лобачев и мы с Родиным. И я с возмущением сказал:

— Как же это так? Да я ж не хочу! И не согласен!

Лобачев сердито нахмурился. Но ответил сдержанно:

— Мало ли что не хочешь. Партячейка захотела — и все тут. А ты должен гордиться. Доверие тебе оказали.

— Да я ж никогда на такой работе не был.

Лобачев скупо улыбнулся:

— А вот теперь будешь. Готовыми работники не родятся. Все мы начинаем с начала. И бояться нечего. Не один будешь в поле воин. Поможем всем, чем можем.

— Хорошо, пусть так,— не сдавался я.— Но почему же не спросили меня? Я бы мог дать себе отвод.

— А вот потому и не спросили,— ответил Лобачев.— Чтобы не затеял дискуссию. А дискуссия с таким народом до добра не доведет. Забузили бы разные землячихи. Прокатили бы на вороных. И выбрали бы такого, какой еще хуже запутал бы дело.

— Ты не беспокойся, Касаткин! — сказал молчавший до сих пор Родин.— Вместе будем трудиться на этом поприще. Тебе можем сказать по секрету. Меня отзывают не куда-нибудь, а в райкрестком. Будешь закручивать под моим руководством. А я уж постараюсь. И земляка в обиду не дам.

Известие это не только не успокоило, а еще больше встревожило. Родин даже в селькресткоме завалил работу. А что станется с райкресткомом? Разве ж он в состоянии дать нам, сельским работникам, верное направление? Но я ничего не возразил и с отчаянием махнул рукой:

— Ладно, будь что будет! Поглядим, куда выплывем!..

* * *

Домой я приплелся грустный и удрученный. О свершившемся рассказал как о непоправимом несчастье. Но, к удивлению, домашние обрадовались. Отчим подмигнул мне. А мать, узнав, что отныне я буду получать жалованье, даже осенила себя крестным знамением:

— Слава те господи! Услышал-таки нашу молитву!

Даже Нюрка, всегда сварливая и задиристая, и та взглянула на меня с уважением. Но сказала все с той же ехидцей:

— А я уж думала, всю жизнь будешь задарма трепаться...

Но мне было не до Нюрки. Я думал о своем. Голову разламывали нудные мысли. Как это так, что события в моей жизни происходят помимо моей воли? Только недавно мне сровнялось семнадцать, а на плечи мои легло такое бремя, какое под силу разве что умудренному. Или такова уж наша жизнь, что люди видят и знают тебя лучше, чем ты сам?

И еще думалось о том, что теперь-то уж хочешь или не хочешь, а придется покончить с ребячеством. К секретарю ячейки комсомола прибавился еще и председатель селькресткома. А это уже было делом нешуточным. Во всем теперь нужно будет показывать пример, чтобы идти в голове, а не плестись в хвосте. Но разве это так просто — показывать пример?

* * *

Дела селькресткома действительно оказались запущенными. Бумажки лежали в общей куче в незапирающемся шкафу, директивы и протоколы покрылись пылью. Но винить за это прежнего председателя не хотелось. Старый коммунист, он делал все, что мог. Но он был неграмотным и с грехом пополам выводил свою фамилию. Так, с грехом пополам, вывел он свою фамилию и на приемо-сдаточном акте. И, сразу повеселев, сказал:

— Желаю удачи. Надеюсь, беднота все-таки не слопает тебя. А только и памятник не поставит. Можешь разорваться на части, а этого не дождешься.

И вот я остался один на один с трудными задачами. Разбитое корыто, и никакой золотой рыбки. Порыжевшие

бумаги в старом шкафу да пустой амбар на площади. Ох уж этот амбар! И для чего он выстроен? Срубленный из отборного леса, он гордо возвышался напротив сельсовета. На дверях пудовый замок. А в закромах пустота. Зачем же построен он? Зачем истрачены и без того скудные средства?

Несколько дней я копался в бумагах. И вот обнаружены списки неплательщиков взносов. Против каждой фамилии значилась сумма, какие-то загадочные черточки, кружочки, крестики. И не было только одного — отметки об уплате. Кто же платил, а кто увиливал? Но я откопал и корешки квитанций, по которым взимались деньги. В корешках также много всяческих пометок, а фамилии трудно прочесть. Долго я разбирался в этой неразберихе. Но все же составил список недоимщиков. Их набралось довольно много. Почти половина всех жителей села. Конечно, среди них были и те, кто уплатил взносы. Но это не смущало меня. У них должны быть документы. А если документов не найдется, заплатят еще раз. Тут уж ничего не поделаешь. Не моя вина, что в кресткоме путаница, а у людей беспечность.

Неожиданно обнаружилось любопытное постановление селькресткома. С пометкой: принято единогласно. В этом постановлении перечислялись богатые жители села, скрупулезно исчислялся их нетрудовой доход и на основании этого дохода устанавливались дополнительные повышенные взносы. Бумага обрадовала меня больше, чем старателя золотоносная жила. Еще бы! Ведь за богачами значилась сумма чуть ли не вдвое больше, чем за всеми недоимщиками. Взыскать ее — значит сразу создать прочную материальную базу. А почему дополнительные взносы до сих пор не взысканы? Что помешало выполнить особое постановление? Может, сопротивление богатеев? Или неповоротливость прежнего председателя?

Снабдив комсомольцев списками неплательщиков, я торжественно сказал:

— Пришла пора и для нас, товарищи! Кровь из носа, а собрать все гроши. Иначе мы так и останемся у разбитого корыта. И беднота отвергнет нас, как болтунов. А потому на агитацию не жалеть сил. И в словах не стесняться. Пускать в ход даже самые жалостливые. Проникать в самую душу. И даже глубже...

На себя же я возложил самое важное: дополнительное обложение богачей. Дело это представлялось нелегким, но я все же решился взять быка за рога. Как любил говорить отчим: ничто путное без труда не дается.

* * *

Встретил меня сам Петр Фомич. Встретил спокойно, будто ждал. И ни один мускул на бородатом лице не дрогнул. Только темные глаза чуть-чуть сузились.

— А, председатель селькресткома! — с наигранной любезностью воскликнул он.— Пожалте, милости просим! Чем богаты, тем и рады...

Квадратная зала дома тонула в полумраке; с улицы окна прикрыты ставнями. В углу сиял позолотой целый иконостас. Мирно теплилась лампада. На столе, покрытом льняной скатертью, стояла стеклянная чаша. В ней большой горкой красовались крупные яблоки.

Я нашел в списке Лапонина и торжественно сказал:

— Гражданин Лапонин, вы до сих пор не уплатили взносы в крестком. А потому считаетесь злостным неплательщиком. Советую немедленно ликвидировать задолженность. Иначе вынужден буду принять меры...

Лапонин выслушал спокойно. Посидел немного, подумал. Потом встал, вышел из комнаты. И почти тотчас вернулся с бумажкой в руке. Это была квитанция. Сумма написана и цифрами и прописью. Неуклюжая подпись пришлепнута печатью.

Я взял квитанцию, сделал отметку в списке и сказал:

— Семьдесят долой двадцать — остается пятьдесят. Недоимка — пятьдесят рублей...

Я ждал, что Лапонин взорвется, закричит и станет поносить меня, селькрестком и советскую власть. Я хорошо знал его бурный и вспыльчивый характер. И также хорошо известна была ненависть кулака, какую питал он ко всем нам и к нашим порядкам. Иной раз она доводила его чуть ли не до бешенства.

Но Лапонин продолжал сидеть с видимым спокойствием. Только темная жилка на шее подергивалась, будто отсчитывая закипавшую в нем ярость. Да глаза стали узкими и такими острыми, что казалось, собирались пронзить меня насквозь. Бережно спрятав в карман квитанцию, он ответил со сдержанной обидой:

— Это беззаконно. А потому не признаю.

— Тем хуже для вас,— сказал я и взялся за карандаш.— А мы сделаем отметку. И передадим дело в суд. А суд взыщет в пятикратном размере. Знаете, сколько это будет? Двести пятьдесят рублей. Конечно, для вас и это пустяки. Но все же...— Я глянул на него с усмешкой: — А говорили: чем богаты, тем и рады. А теперь из богатства пустяка выделить не можете. Другой бы на вашем месте постыдился бы...

Лапонин заерзал на стуле. Значит, все-таки удалось пронять его.

— Повторяю обратно: чем богаты, тем и рады,— прохрипел он.— Да только такими «пустяками» не разбрасываемся...— И вдруг подался на стол, будто стараясь получше рассмотреть меня.— А хочешь, самогонкой угощу? Настоящий первач. Покрепче спирта. Стаканчик, а?

— Значит, вы богаче всего самогонкой?

— Ладно тебе,— проворчал он.— Забубнил одно и то же. Дело говорю. Ну как? Принесу бутылочку. Разопьем вместе. А потом и потолкуем. Глядишь, и сойдемся...

Я покачал головой:

— Самогонку не потребляем. А тем более в служебное время...— Взгляд мой упал на красибокие яблоки. Захотелось сыграть шутку. Но я удержался, решив отложить забаву. Покончим сперва с делом.— Гоните пятьдесят рублей. Ну что вам стоит? Десять пудов каких-нибудь...

— Десять или двадцать, тебя не касается,— сердито перебил Лапонин.— Сам умею считать. И в счетоводах не нуждаюсь. А тебе скажу одно: не с того конца ты начал. Уж коли решил выслужиться перед шантрапой...

— Осторожно, гражданин Лапонин,— прервал я.— Не забывайтесь. Я не позволю оскорблять бедноту. Еще одно такое слово... и заплатите не пятьдесят, а сто рублей.

Лапонину стоило больших усилий сдерживать себя. Да и то сказать... Явился в дом какой-то молокосос и наставляет. Было отчего прийти в бешенство. Но он не только не пришел в бешенство, но даже улыбнулся, обнажив желтые зубы.

— Ну и молодежь пошла!— простонал он.— Никакого уважения старшим. Так и норовят обидеть. Ах, времена,

времена! — И, снова подавшись вперед, перешел на полушепот:— А знаешь что? Давай полюбовно. За вами должок имеется. Ты замарай недоимку, а я скину долг. И будем квиты.

— Ничего не выйдет,— сказал я.— Вам должен гражданин Дуриев Алексей Данилович. И получайте с него. Это ваше частное дело. А я пришел от имени общества. И не по какому-то частному делу. Так что прошу не забывать этого. И предлагаю кончать прения. Платите пятьдесят рублей.

— Не заплачу! — стукнул кулаком по столу Лапонин.— Незаконно! Грабеж! Буду жаловаться.

— Хорошо,— сказал я.— Жалуйтесь. А мне вот тут распишитесь, что от уплаты отказываетесь.

— И расписываться не буду! — крикнул Лапонин, наливаясь кровью.— Нет таких порядков, чтобы прибавлять. Ныне пятьдесят, а завтра сто пятьдесят? Разбой! Не буду расписываться.

— Хорошо,— повторил я.— В таком случае напишем: от подписи отказался. А кроме того, прибавим: допустил антисоветские выпады, каковыми были слова «грабеж» и «разбой». Ну, так как?

Лапонин зло усмехнулся:

— А вот так, малый. Кликну ребят, Демку и Миньку. И уложим тебя. И захороним, что сам бог не отыщет. Что на такое скажешь?

— Попробуйте,— равнодушно качнул я плечами, хотя по телу поползли мурашки.— Бог не отыщет. А вот сельсовет, он уж как-нибудь обнаружит. Потому что в сельсовете знают, куда я отправился...

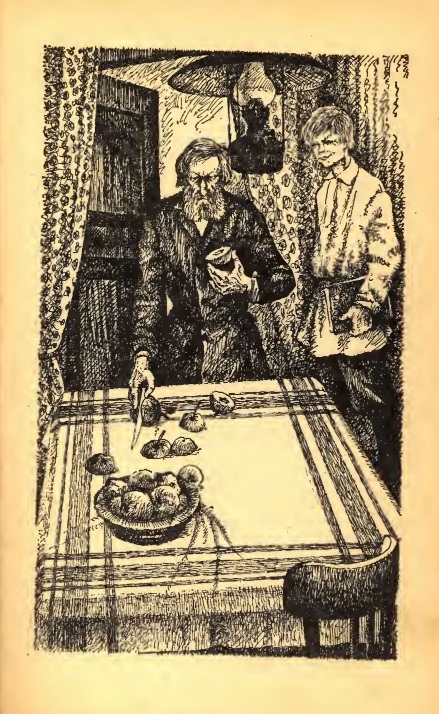
Лапонин заскрежетал зубами.

— У, разбойники! Жизни от вас нету. И когда только придет на вас пропасть...— Достав из кармана бумажник, он отсчитал деньги и швырнул мне.— Подавись, мошенник! И пущай вместе подавится и твоя беднота...

Я спрятал деньги в карман и выписал квитанцию.

— Пожалуйста, гражданин Лапонин. А теперь насчет разбоя и грабежа. Как с этим? Может, оштрафовать? Ну, ну! Не буду,— добавил я, заметив, как снова побурел хозяин.— Так уж и быть. Только за это дайте одно яблоко.

Некоторое время Лапонин смотрел на меня с диким



изумлением. Потом схватил яблоко и стукнул им передо мной:

— Жри, председатель! А я погляжу...

Я достал карманный ножик, разрезал яблоко поперек. Разделенная пополам сердцевина с коричневыми зернами на обеих половинках образовала пятиконечные звездочки. Я давно заметил это чудо природы и теперь решил проверить, как оно подействует на кулака.

— Ишь ты! — воскликнул я с наигранным удивлением.— Советскую власть поносите, а сорта яблок подобрали прямо-таки коммунистические. Они ж у вас красные не только снаружи, а и внутри. Ну да,— подтвердил я, заметив, как оторопел ничего не понимавший Лапонин.— Вот взгляните... Пятиконечная звездочка. Да такая правильная, будто нарисованная.

Лапонин уставился на разрезанное яблоко. Губы его беззвучно зашевелились. Должно быть, он про себя считал концы звездочек. Потом достал свой нож, схватил из чашки яблоко, разрезал его. И впился глазами в половинки. Потом схватил еще одно и разрезал. Потом еще и еще... Забыв обо мне, он разрезал яблоки и бросал на пол. А я, довольный шуткой, вышел. Не все кулаку злобствовать на людей. Пусть позлится теперь на природу.

* * *

Окрыленный первым успехом, я на другой день отправился к Комарову. Мельник был самым крупным недоимщиком. За ним числилось сто двадцать рублей. Конечно, он представит квитанцию на тридцать. Бедняк теряет бумажку, едва успев получить ее. А богач нет! Тот все бережет, все сохраняет. И не только потому, чтобы не заплатить лишнее. Это само собой. А и потому, чтобы при случае документами засвидетельствовать о страданиях.

В этот раз я выглядел вполне прилично. На первую же зарплату купил отрез сукна, из которого наш деревенский портной смастерил галифе. И они мне сразу пришлись, суконные галифе с накладными карманами. Прямо будто я в них и родился. И рубашку купил новую. Правда, не сатиновую, а ситцевую, но это неважно. Она тоже здорово шла мне. Только пиджак был все тот же: куцый, потрепанный. Но, вычищенный и заштопанный, он

не бросался в глаза. Я старательно наярнл сапогн суконкой, для солидностн набнл карманы галнфе разнымн бумагами, туже подтянул ременный пояс. Да, я уже не подвязывал штаны веревочкой, а подпоясывал ремнем с красивой пряжкой. Чтобы видны былн и дутые карманы, и блестящая пряжка, н снтцевая рубаха, я ие застегивал пиджак. И полы его теперь раздувались иа ветру, как паруса.

По дороге почему-то вспомнилась Клавдия. С тех пор оиа ни разу не показывалась в селе. Должно быть, укатнла в город. И устраивает там свон дела. Но все же думать о ией плохо не хотелось. В этот раз она здорово помогла иам. Все-такн настойчнвая девка. А вот в универснтет не пробнлась. Я вспомннл, что н сам студеит, и почувствовал гордость. Рабфак иа дому, конечио, не уннверситет. Это так. Но все же учебное заведенне. После иего н уннверснтет раскроет двери. Так что зиай нашнх и не очеиь заднрайся.

Во дворе комаровского дома ннкого не было. Я перемахиул через забор н подошел к входиой дверн. Постоял в нерешительностн. Потом, словио бросаясь в холодную воду, распахиул ее. И в тот же миг что-то тяжелое с рыком ударнло меня в грудь. Падая на спнну, я увндел над собой оскалеиную пасть и в ужасе закричал:

— Ааа!..

Собака, будто стараясь заглушнть крик, сдавила мие горло. Боль полосиула по шее, перехватила дыхаиие. Я схватнл за челюстн пса, чтобы разжать нх, н тут же услышал грозиое:

— Джек, фу! Фу, Джек!..

В ту же мннуту собака, взвнзгиув, шарахиулась в сторону. А Комаров подхватнл меня под мышкн и потащнл в дом. В столовой пронзнес дрожащнм голосом:

— Ах ты ж, иесчастье! Да как же ои тебя?

За столом, уставлеиным бутылками и закускамн, сидели Клавдня н Петр Фомнч Лапоннн. Клавдня вскочила, подбежала ко мие, всплеснула руками:

— Да он чуть не загрыз его! Какой кошмар!..— И схватила меня за руку:— Идем ко мие. Перевяжу...

В своей комиате она усаднла меия иа стул и сделала это вовремя. Внезапио у меия закружилась голова, в глазах помутнело, а ноги так ослабли, что непременно подломились бы. Я прислоннлся к спннке стула, опустил веки и

некоторое время сидел, как полуживой. Где-то шелестела бумага, за перегородкой гудели голоса. Комаров и Лапонии будто спорили о чем-то. Или ругали меня, что испортил беседу?

Когда Клавдия вернулась, я уже сидел прямо, готовый встать и уйти. Она присела иа корточки, положила мне иа колеии биит и подиесла к лицу желтый пузырек.

— А иу, повыше голову. Сейчас смажу ранки йодом. Будет иемиожко жечь...— Оиа приложила палочку к шее, и я чуть ие подпрыгиул на стуле.— Спокойио, Филя. Это иадо обязательио. Чтобы ие было заражеиия.

Шею жег огоиь. И было больиее, чем от зубов пса. Но теперь я сидел как каменный. И ие сдвииулся бы с места, отрежь оиа мие голову. Нельзя было показывать слабость перед классовым врагом. Она же, кроме того, и девчоика. А к лицу ли парию пищать от боли перед девчоикой?

А Клавдия уже прикладывала к шее мягкую вату, затягивала ее белым биитом. Делала оиа это нежио и осторожио, без умолку болтая.

— Сейчас будет готово. И скоро перестаиет болеть. А потом и совсем пройдет. Но пока что потерпеть придется. А Джек — ужасиая собака. Говорила отцу, чтобы оставил на цепи. Так иет же, ие послушался...

Подумалось, мельиик ие зря затащил пса в передиюю. Может, боялся, как бы кто ие иагряиул? И ие застал за секретиой беседой с Лапониным?

— А Лапоиин часто у вас бывает?

Клавдия покосилась на закрытую дверь.

— Да частеиько захаживает,— поиизив голос, ответила оиа.— Все о чем-то совещаются. Оии же оба в церковиом совете заправляют. А кроме того, самые богатые тут. А это, видимо, также требует согласоваииых действий. Чтобы ие мешать друг другу загребать барыши. А может, и иаоборот, чтобы помогать друг другу в таких делах.— И, завязав коицы биита, выпрямилась.— Теперь все будет хорошо. Можно ие беспокоиться.

Я спросил, как отец пережил пропажу барометра.

— Очеиь иервиичал,— зашептала Клавдия.— Места себе ие иаходил. Боялся, как бы ие притянули его к ответу.

— Тебя ие заподозрил?

— Попа проклииал. На чем свет стоит. Уверен, что он предал. Чтобы втереться в доверие к коммуиистам...

Слушая Клавдню, я подумал о Лобачеве. Он все еще осторожничал с церковниками. Опасался, как бы не упрекнули в притеснении церкви. А чего тут опасаться? Всем теперь видно контрреволюционное нутро святош. Самые рьяные верующие и те согласятся прикрыть поповскую лавочку.

— А нового батюшку не ждут?

— Рады бы, да нет охотников. Приход-то подмоченный...

В дверях показался Комаров.

— Ну как он?

— Ничего,— ответила Клавдня.— Я смазала ранки йодом. Еще немного, и совсем успокоится.

Комаров кивнул головой, отшагнул назад и закрыл дверь. Клавдня присела рядом, обдала меня винным запахом.

— Слушай, что скажу,— зашептала она.— Ты сдери с него, отца-то, за этого Джека. Тыщу рублей потребуй. И он отдаст. У него есть деньги. Не упускай случая. Законные отступные...

Я встал, оттянул повязку, чтобы не душила.

— Ты что же, отца разорить хочешь?

В темных глазах Клавдии сверкнул огонь.

— Если бы я только могла. Его собственность закрыла мне все пути.— И опять озорным полушепотом:— А ты не зевай. И требуй свое. Ну, тыщу не даст. За тыщу он скорее повесится. А полтыщи...

— Спасибо,— прервал я.— А теперь мне нужен отец...

Мы вышли в столовую. Комаров стоял у окна, выходившего на мельницу, и пальцами барабанил по подоконнику. Заслышав шаги, торопливо обернулся и состроил приветливую гримасу. Лапонина не было и в помине. И стол пустовал, будто жадный гость прихватил все с собой.

Я без приглашения присел и достал списки неплательщиков.

— Задолженность в селькрестком. Сто двадцать рублей. Как председатель кресткома я прошу...

— Хорошо, хорошо,— сказал Комаров, присаживаясь напротив.— Сейчас разберемся. Кажется, я уже платил эти деньги. И помнится, тогда было не сто двадцать, а тридцать.

— Не знаю, сколько было тогда. Говорю, сколько теперь. И требую немедленно уплатить. Все сроки истекли. И мы имеем право подать в суд.

— Зачем же в суд? — сказал Комаров.— Надо уточнить. С меня полагалось тридцать. И я уплатил.

— У вас есть квитанция?

— Конечно, есть.

— Предъявите.

— Документы у жены. А она в отъезде. Потерпи несколько дней.

— И дня не могу. Платите или расписывайтесь в отказе выполнить решение общего собрания... Сто двадцать. И кончим разговор.

Комаров сжал пальцы в кулаки и с минуту мрачно смотрел на меня. Потом чуть повернулся к дочери, стоявшей у стены:

— Принеси... Сто двадцать...

Клавдия перешла столовую и скрылась в соседней комнате. И почти тотчас вернулась с пачкой бумажек в руке.

Я пересчитал деньги и выписал квитанцию.

— Теперь вот еще что, гражданин Комаров...— У Клавдии по лицу разлилась торжествующая улыбка.— Вы должны продать для бедноты хлеб. Понятно, по госцене. Пятьдесят пудов муки. Это не требование, а просьба.

Мельник сжал тонкие губы. Так сидел он несколько секунд. Потом через силу усмехнулся и сказал:

— Хорошо, продам. Пятьдесят муки. И по госцене. А только на просьбу — просьба. Не заявлять про то, что тут случилось. Я говорю про собаку, будь она неладна.

Я спрятал список и встал.

— Можете не волноваться. Жаловаться не будем. Мы не такие уж кляузные...

За калиткой Клавдия, сощурив глаза, спросила:

— А почему не потребовал отступного? Подвоха, что ли, испугался?

— Ничего не испугался,— ответил я. — Просто не нуждаемся. И не принимаем подачек. А кроме того... тебя стало жалко. Ну, как дознается, что ты надоумила.

Клавдия хотела что-то возразить, но я круто повернулся и зашагал прочь.

* * *

Когда вымелн амбар н побелнли закрома, мы с Мнтькой Ганнчевым на его лошадеике отправнлнсь иа мельннцу. Комарова иашли иаверху, у буикеров. С карандашом за ухом и тетрадью в руках он комаидовал мужиками, таскавшимн мешкн с зерном.

Улучив момент, когда мельннк остался одии, я попросил его отпустнть муку.

— Какую еще муку? — серднто спросил тот.

Я дотроиулся до повязкн на шее. Комаров скрипнул зубами и выброснл вперед руку:

— Деньги!..

Я положил ему иа ладонь прнготовлениые бумажкн. Мельник суиул их в кармаи н сказал бородатому работннку:

— Парамои! Пятьдесят. Кресткому...— И сквозь зубы: — Черт бы его побрал!

Парамои махиул нам ключами н двинулся к сараю, обсыпаииому со всех сторон мучиой пылью. Там, кивиув на пузатые чувалы, ои сказал:

— В каждом — пять пудов. Тару возвернуть нынче же.

Сцепив руки, мы с Митькой подставили их под чувал, свободиымн ухватилн за его углы и поиесли к подводе. Так один за другим уложнли пять мешков. Пообещав работнику скоро приехать за остальными, мы помогли лошади выбраться иа греблю. По иакатанной дороге колеса иагружеииой телеги покатились легко и весело. И все же Митька не решнлся сесть иа воз, а шел рядом, подбадривая лошадеику понукаиием. Я же плелся позадн, поглядывая иа затянутый ряской пруд. Вода в нем стояла неподвнжно н казалась зеленой. По ией, как по льду, скользнлн какне-то длнниоиогие иасекомые. Высокие вербы безмолвно тяиулись в небо. Опавшая с инх листва застнлала греблю, густо плавала в воде.

Недалеко от берега, в камышовых зарослях, показалась лодка. В лодке с кингой иа колеиях сидела Клавдия. В черных волосах ее пламеиел красный цветок. Я иевольно замедлил шаг. В ту же мииуту Клавдня подняла голову, должно быть привлечеииая стуком колес. Некоторое время равиодушно смотрела на иас. Потом вдруг прнложила ладонь к глазам, закрываясь от

солица, и взмахнула веслами. Но выпустила их, заметив, что я не остановился. Конечно, она узнала меня. Или догадалась по повязке на шее. Но мне было все равно. Я даже рад был, что она не задержала. Для чего они, эти встречи? Да и Митька мог бы уличить меня в неправде. Ребятам я сказал, что сорвался с крыши сарая и поранился.

На площади толпились любопытные зеваки. Они смотрели на нас с Митькой, как на чудодеев. Три года простоял амбар пустопорожним. И вот его засыпают мукой. Было чему дивиться.

Митька предложил ребятам поработать. Некоторые охотно бросились к чувалам и мигом опорожнили их в закрома. А потом наперебой стали проситься за остальным хлебом. Митька выбрал Яшку Полякова и Семку Сударикова. Все трое уселись в телегу и покатили в обратный путь.

Проводив ребят, я двинулся на верхнюю улицу. В конце этой улицы стояла участковая больница. Пора было показаться доктору и сменить повязку. Снова перед глазами возникла Клавдия. В лодке среди камышовых зарослей, с красным цветком в волосах. Что это за цветок? Должно быть, роза, каких немало на комаровской усадьбе? А почему это я о ней думаю?

«Вон из головы ее, эту Клавку,— решительно приказал я себе.— И никаких больше общений с ней...»

Да, надо прекратить эти встречи. А то ну как ребята увидят. Кто знает, что подумают. Придется, чего доброго, рассказать правду. А как отнесутся они к такой правде? Почему, спросят, помиловал кулака? Тот же Илюшка обвинит в мягкотелости к врагу. А какая ж тут мягкотелость? Пятьдесят пудов муки за бесценок... Это ж такая поддержка бедноте. А отметки на шее... Они исчезнут так же, как и рубец от комаровского кнута.

Но дома я рассказал все как было. Только попросил молчать об этом. Мать глубоко вздохнула и сказала, что скоро я потеряю голову. Отчим возразил ей и выругал мельника:

— Этого кровососа вместе с его кобелем уже давно пора выдворить из Знаменки.

Нюрка же скривила розовые губы и равнодушно заметила:

— Охота печалиться. Заживет как на собаке.

А Денис, улучив минуту, когда мы оказались одни, признался:

— Эх, жалко, что не меня покусал. Я б тогда потребовал самого Джека. И ни на чем другом не помирился бы.

— Да на что он тебе, Джек? — удивился я.

— Как же? — пояснил Денис. — Собака-то умная. Такие штуки вытворяет. Забросят ей что-нибудь, найдет и принесет. Положат на нос кусочек чего-нибудь, замрет и не шелохнется. Пока не скажут: возьми. А как скажут, подбросит носом вверх и поймает на лету. Даже цыплят от коршунов караулит. А я бы этого Джека выучил еще многому. Он бы у меня и на задних лапах ходил, и через голову кувыркался бы...

Самого же меня эта история и вовсе не волновала. Вот только по ночам со мной творилось что-то неладное. Неожиданно я вскакивал и принимался ощупывать себя. Мне казалось, что я раздваиваюсь. И хотелось кричать. Но не от боли, которой не было, а так, неизвестно от чего. Я с трудом удерживался, подавляя стон. Не хотелось, чтобы кто-либо услышал. Но мать все же как-то подслушала. И заставила меня признаться во всем. А потом, несмотря на запрет, проговорилась и деду Редьке, когда тот подвернулся под руку.

— Мается малый. Места по ночам не находит. Ума не приложу, что делать.

Иван Иванович подергал себя за щуплую бороденку и глубокомысленно изрек:

— Собака — она что ведьма. До смерти испужать может. И выход тут один: клин клином. Ишо раз испужать...

И предложил такую хитрость. Он приведет от родственников собаку. Тоже цепная. И огромная, как волкодав. Под стать комаровскому Джеку. И вот, когда эта собака очутится у него в сенях, мать должна послать меня к соседям за чем-нибудь.

— Как он, Хвиля-то, откроет дверь, она, собака-то, и кинется на него, — шептал дед Редька. — И опять испужает. И новым испугом старый из него вышибет... Да ты не тревожься, — добавил он, заметив, как нахмурилась мать. — Загрызть не дадим. Настороже будем поблизости. Ну, может, ишо раз прокусит шею аль что другое, тока и всего. Зато освободится парень от мук. Это уж без сумления...

Но мать все же отказалась от такого лечения. Она, как и все мы, хорошо помнила случай, когда вот таким же «клин клином» угробили подростка. Кто-то испугал паренька, ударив его сзади. От испуга мальчик лишился речи. Мычит, как теленок, а путного слова сказать не может. Родители где только не бывали с ним. Смотрели немного видные врачи, даже профессора. И все разводили руками. И вот тогда Дема Лапонин предложил этот самый «клин клином». Потерявшая голову мать согласилась. На что не решишься ради единственного сына. Получив согласие, Дема подкрался к подростку и ударил его. Тот бросился бежать и во весь голос закричал:

— Ма... мааа!

И стал говорить. Да только стал говорить такое, что уж лучше бы молчал. Несет несуразицу, аж уши вянут. Одним словом, сделался дурачком. И опять родителям пришлось по докторам мотаться. Мотались несколько лет, пока сын богу душу не отдал. Разве могло устроить мою мать такое?

А вот совет отчима показался разумным. Придирчиво оглядев меня, он убежденно заключил:

— У тебя, сынок, по всей видимости, нервы. А когда у человека нервы, тогда считай — дело табак. И тут уж без докторов не обойтиться...

И вот я, вняв этому совету, явился в амбулаторию. В приемной никого не было, и я вошел в кабинет врача. Меня встретила молодая женщина в белом халате.

— Что такое?

— Собака.

— Какая собака?

— Обыкновенная.

Тонкими пальцами докторша размотала повязку.

— Что же сразу не пришел-то?

— Некогда было.

Она промыла шею, прижгла чем-то, перевязала свежим бинтом.

— Подожди тут. Посоветуемся.

Прихрамывая, она вышла в соседнюю комнату. И тотчас оттуда послышались голоса. Тонкий и басистый. Тонкий принадлежал докторше, а басистый — фельдшеру. Еще до революции этот фельдшер поступил в нашу больницу. А в последние годы даже заведовал ею. Только совсем недавно хромоногая докторша сменила его. Но, как

говорили, сменила по должности. А по делам слушалась и подчинялась ему.

Я напряг слух. Докторша сказала, что обнаружила следы зубов.

— Уже несколько дней... Я прижгла и перевязала.

— Что ж еще? Прижгла, перевязала — и пускай себе гуляет на здоровье.

— А вдруг? Мало ли?.. Может, будем лечить?

— Ну да, тратить лекарства попусту.

— А если, не дай бог?..

— Что «если»? Взбесится, что ли? Ну, тогда и будем лечить...

Не дожидаясь докторши, я вышел. В приемной увидел сморщенную старушку. С трудом поднявшись со скамьи, она засеменила в кабинет, держа перед собой корзинку. В корзинке виднелись прикрытые рушником яйца.

Выйдя на крыльцо, я вдохнул свежий воздух. И невольно подумал: в самом деле, зачем тратить лекарства? И без них, права Нюрка, заживет как на собаке.

* * *

Мать наотрез отказалась записаться в ликбез. Агитация, которой я подвергал ее чуть ли не каждый день, ни к чему не привела. Но нельзя было допустить, чтобы родительница секретаря ячейки и председателя сельксресткома осталась неграмотной. Пришлось решиться на последний шаг. Я предложил матери заниматься со мной на дому. Мать подумала и согласилась.

— Так уж и быть,— сказала она с таким видом, как будто за бесценок уступала дорогую вещь.— Учи, раз другого выхода нету...

Обрадованный, я достал в школе картонную азбуку. В час, установленный для занятий, разложил ее на столе в горнице. Мать с опаской посмотрела на буквы, потрогала их заскорузлыми пальцами. Потом глубоко вздохнула и обреченно кивнула головой:

— Ну что ж, начинай, сынок. Уж судьба такая...

Стало жаль ее, и я решил поскорей приступить к делу. Взяв букву «а», я сказал:

— Вот, ма, смотри. Это первая буква алфавита. Она произносится так: ааа! Ну-ка, повтори.

— Ааа! — протянула мать, подражая мне.—Ааа! Ааа! Ааа! — несколько раз пропела она, прислушиваясь к своему голосу.— Анна!

— Вот-вот! — обрадовался я, решив, что учеба началась успешно.— Нюрка наша как раз и состоит из этих четырех букв. Два «а» и два «н».

— Из чего состоит Нюрка? — недоверчиво переспросила мать.

— Из четырех букв. Вот, слушай: Анна. А-н-н-а.

— Да ты что? — удивилась мать.— Из каких таких букв состоит Нюрка? Да она ж как все люди. А люди состоят из костей и мяса, прости господи.

— Да не сама Нюрка,— терпеливо объяснил я,— Нюркино имя. Поняла?

Глаза матери совсем округлились от изумления:

— Это какое еще Нюркино вымя? Да ты что, сдурел?

— Не вымя, а имя! — чуть ли не закричал я.— Нюрку звать Анна. Это ее имя. Вот оно состоит из четырех букв. Ясно?

— Как божий день,— ответила мать, вставая.— А пока хватит учения. Хлеб пора печь. Тесто уже, поди, подошло.

Она ушла на кухню. А я сидел за столом и с отчаянием смотрел на разрисованные картинки. Что делать? Как быть?

На помощь пришел отчим. Он сказал, что сам будет учить мать грамоте. И когда она вернулась в горницу, так и объявил:

— С нынешнего дня, Параня, я твой учитель. Будем, значитца, грамоту постигать...

Мать остановилась перед ним как вкопанная. А потом вдруг разразилась таким смехом, какого никто от нее не слышал. И смеялась долго, то и дело вытирая глаза кончиком головного платка. А насмеявшись, сказала, ласково глядя на отчима:

— Ну и учудил, дед. Прямо смехота. Чуть живот не надорвала. Учитель. Куры захохочут. Не то что баба.

— А что тут смешного? — возмутился отчим.— Да я ее, грамоту-то, как пять пальцев знаю. И кого хочешь научу.

— Хватит! — сердито оборвала мать. — Тоже мне грамотеи! Да я не меньше вашего ученая. И без грамоты умею все делать. Хлеб, пироги, пампушки, пышки, разные

пеку? А в поле как работаю? Плохо полю? Аль снопы мои никудышные? Может, не удало сено гребу? А кто обшивает вас? Так чему ж такому учить меня собираетесь?

— Грамоте,— пояснил отчим.— Чтобы, значитца, умная была. Читать и писать умела. И жизнь, как нужно, понимала.

— Жизню я и без грамоты понимаю,— отрезала мать.— А в ученье вашем не нуждаюсь. Потому как и без того у меня делов по горло...

А тут еще сваты нагрянули. Они уселись под матицей и завели обычный разговор о купле и продаже:

— Слыхали, у вас сходный товар имеется. А у нас подходящий купец найдется. Так давайте сладимся и сторгуемся...

Купцом был парень из Сергеевки, которого и ждала Нюрка. Он понравился нам с первой встречи. Парня звали Гаврюхой. Высокий, чернявый, он выглядел почти красивым. Правда, немного заикался. Но это даже шло ему. К тому же недостаток покрывала простота и скромность. В общем, зять как зять. И мы сразу же согласились. Впрочем, согласия нашего никто и не спрашивал. А высказали мы его на добровольных началах. Теперь уже не только отчим, а и сам нарком просвещения не в силах был бы уговорить мать заниматься ликбезом. Да и то сказать... Какая мать будет тратить время на азбуку, когда надо готовить единственную дочь замуж? Тем более что подготовка предстояла серьезная. По нашим обычаям, даже самая бедная невеста и то не могла выйти замуж без приданого. А мы уже не считались бедняками. Стригун перевел нас в разряд маломощных середняков. И брат невесты, то есть я, состоял на руководящей службе. И по этим причинам никак нельзя было ударить лицом в грязь.

В эти дни мать и Нюрка работали без устали: шили, вязали, вышивали. Появилось ватное одеяло, простеганное замысловатыми узорами. Улеглись в сундук миткалевые простыни, подшитые кружевами. На кровати горкой выросли подушки, набитые куриным пухом. Возвращаясь с работы, я заставал мать и сестру перед тусклой коптилкой. Они трудились молча, лишь изредка перешептываясь. И часто терли красные и вспухшие глаза. Было жаль их. Утешало только одно, что это скоро кончится. И все же я с тоской смотрел на картонную

азбуку. У других родители как родителн. А у меия такая мать, что никак с ией не сладншь. А ведь одна в семье неграмотная. Мы же моглн по очередн обучать ее. Так нет же. Не поддается никаким уговорам. Единственио иа что согласнлась, так это подтверднть прн случае, что заннмается на дому. Дело в том, что я раиьше временн похвастался ячейке, что занимаюсь с матерью. И, коиечно, стыдно было признаться в бахвальстве. А кроме того, я все же не терял надежды на будущее.

* * *

Что такое тюря, пожалуй, все знают. А мы не только зиали, ио и жилн ею. До того как у иас появилась корова, тюря была частой гостьей на иашем столе. И было праздииком, когда мать в воду с черными сухарямн вливала несколько капель подсолиечиого масла.

Но вряд ли кому известно, что такое потютюриик. А вряд лн это известио потому, что нзобрел его отчнм. Одиажды, вылив в чашку бутылку самогону и покрошив в иее черствый хлеб, ои попробовал ложкой и, довольио цокиув языком, произнес:

— Ай да потютюрннк!..

И с тех пор с иескрываемым наслаждеиием потреблял его. Хлебает ложкой потютюриик, закусывает красным перцем и покрякивает от удовольствия.

Но еслн тюря для нас в иедалеком прошлом была каждодиевной едой, то потютюрник отчим позволял себе лишь в редких случаях. Самогои стоил недешево, и мать соглашалась иа непозволительную роскошь только по большнм праздиикам. И каждый раз выговаривала отчиму, что он разоряет ее.

— Другой мужик как мужик,— причитала оиа, доставая откуда-то деиьгн.— Выпьет какой-нибудь стакан — и на ногах не держнтся. А этого цельиое ведро ие свалит...

Устойчнвость отчнма удивляла н меия. И как-то я спросил, сможет ли ои зараз выпить больше бутылки. Отчнм усмехиулся, погладил бороду н сказал:

— А ты спробуй. Купи, к примеру, парочку и преподнесн. И тогда увидншь...

Соблазн был велик, н я ие удержался. С помощью сельсоветской уборщнцы — иачальства моиополкн по-

баивались — я достал две бутылки первача и принес домой. Мы выбрали время, когда в хате никого не было, и занялись опытом. Я вылил весь самогон в чашку. Отчим накрошил туда хлеба, положил перед собой два стручка перцу и перекрестился.

— Пресвятая дева Мария! Не оставь мя, грешного, без милости. И да помоги победити супостата во искушении...

Он без передышки съел весь потютюрник. И, вытерев дно чашки остатком стручка, как конфетку, швырнул его в рот. Потом закурил трубку и с удовольствием затянулся крепким дымом. И никаких перемен. Только щеки пылали ярче да улыбка стала шире и добрее.

— И как? — спросил я, глядя на него широко раскрытыми глазами.

— А никак,— загадочно усмехнулся он.— Можешь повторить...

И вот отчим сам не свой. Хмурится, кряхтит, стонет. Лицо неузнаваемо бледное, помятое. Будто за одну ночь старик переболел всеми болезнями...

— Лапонинский,— пожаловался он, когда я спросил о самочувствии.— Дьявольская отрава. Какое-то зелье подбавляет, черта ему в душу!..

И раньше ходили слухи об этом. А вчера на Нюркиной свадьбе они подтвердились. Когда свадебный поезд вернулся из соседнего села, где венчались жених и невеста, гости торопливо уселись за богатый стол. И с жадностью осушили по стакану первача, припасенного в избытке. Но тут же многие из них закашлялись, застонали и принялись глотать что попало. А длинноусый дядя жениха, подув перед собой, прохрипел:

— Лапонинский, убей бог! Прямо яд змеиный, ничуть не лучше!..

Я терпеть не мог самогона. Дважды пробовал и каждый раз задыхался. Но этого успел выпить глоток. И сразу почувствовал дурноту. А голова налилась тяжестью, будто к ней подступила вся кровь. Каково же было гостям, пившим самогон стаканами!

Я ушел в начале свадебного ужина. А утром мать, жаловавшаяся на голову, сказала, что на свадьбе творилось что-то невообразимое. Гости скоро и совсем обезумели. Они орали до хрипоты, до одурения выбивали чечетку под колупаевскую гармонь и безжизненно вали-

лись иа пол, как чувалы. Многие из ннх стоиали, будто их казннлн, и, как прнпадочиые, корчнлись в судорогах.

— Как перебеснлнсь,— вздыхала мать.— И с чего?

— С лапонннского самогону,— сердито ответнл отчим.— А он у него травлеиый. Это уж как пить дать верно. В таком деле меня фокусами ие проведешь...— И опять со стоном закачался.— Вот бы иакрыть и распозиать отраву...

Накрыть н распозиать. Этн слова ие давали мие покоя. Выследнть н разоблачнть. Гиать самогон — преступленне. А если еще с отравой... Может, это однн нз способов кулацкого вреднтельства?

* * *

Ребята тоже проникнись тревогой. И на редкость серьезно обсуждалн задачу. Выдвигалнсь смелые, даже фантастические планы. Но все после споров отвергались как иесбыточное. Трудно было подступиться к лапоииинской крепости. А проникнуть в ее тайну и совсем казалось невозможиым.

Расходились медленно и иеохотно. Надеялнсь, что в самую последиюю минуту кого-либо осенит мысль. И выход из безвыходного положеиия обнаружнтся. Но мысль никого не осеинла, и ребята один за другим разошлнсь. Я задержал Машу. Она осталась и, когда мы оказалнсь одии, потребовала проводить ее.

— Оторвал от попутчиков, так сам меряй коицы...

Я без возражений согласнлся «мернть концы», и мы, потушив лампу, вышли нз комиаты. Ночь стояла тнхая, морозная. С иеба падал сиег. Улнца выглядела пустынной. Лншь кое-где мерцали огонькн. Издалека доносилась песня. Звонкнй голос взлетал в морозную высь, бился там, трепетал, как диковииная птица. Потом стремительно падал вннз и, подхваченный другнмн голосами, звенел, разливался над балкой. Это был голос Ленки Светогоровой, карловской певуньи. Да, коиечно, это оиа, Ленка, выводит так высоко н днвно. Кто же другой способен забнраться голосом в самое поднебесье?

Маша тронула меня за руку и спросила:

— Что ж ты молчишь, Федя?

— Слушаю песню,— ответнл я, почему-то вздохнув.— Ленка иаша запевает. Вот девчоика!

Опять шли молча. Снег скрипел под ногами. Иногда Маша прижималась плечом, и мне становилось теплее. И только ноги коченели. Валенки старые и худые. Соломенная подстилка потерлась и высовывалась из дыр. Надо было заменить ее, но я все забывал.

— А меня зачем задержал? — снова спросила Маша, и в голосе у нее послышалось недовольство, будто она не одобряет мой восторг.— Для какой надобности?

Неожиданно песня оборвалась, и тишина снова затопила все вокруг. Я взял Машу под руку и сказал:

— Вот какое дело, Машенька. Ты ведь крестница Лапонину? Так?

— Так,— подтвердила Маша.— А только я-то тут при чем? Не я же напросилась ему в крестницы. Отец и мать уговорили, когда батрачили у него. Надеялись, притеснять меньше будет.

— А я и не виню тебя,— сказал я.— Да и родители твои не виноваты. Нужда заставила богача честить. Все это ясно. А напомнил я об этом вот почему. Может, ты возьмешь на себя задачу?

— Какую такую задачу?

— Да лапонинскую. Кроме тебя, никому из нас не проникнуть к ним. И не разоблачить махинацию.

Маша подумала и спросила, что должна делать. Не ответив, я поинтересовался, как ведет себя с ней Миня.

— Как ведет? — с удивлением переспросила Маша.— Да никак. У них я не бываю. А когда случаем встречаемся, нос воротит. Прошлый год, когда работала у них, жилы вытягивал, гад. Все мало да все не так. Мы же для них скот, а не люди.

— А сама ты к нему как относишься?

Маша с недоумением глянула на меня:

— Как это отношусь? О чем ты?

— Как его считаешь? По-твоему, что он представляет из себя как парень?

Маша даже не сразу нашлась что ответить.

— Да какой же он парень? Тип поганый. И дурак набитый.

— А могла бы ты притвориться? — продолжал я.— Ну хоть ненемного, чтобы в доверие втиснуться. И через него разузнать...

Маша долго не отвечала. Она заметно колебалась. Я не понимал этого и начинал горячиться:

— Ну что тебе стоит? Попробуй. Как говорится: испыток не убыток. Авось что и получится. Прикинешься любезной. Шла мимо и заглянула. Проведать. И так это подкатись к нему, Прыщу. Растормоши его. Глядишь, и проболтается. Хоть чуточку. Чтобы ухватиться. Другого ничего нет. А дело серьезное. Отраву они подбавляют неспроста.

— Миня дурак,— повторила Маша в раздумье, будто говорила с собой.— Но он и трус. Перед отцом дрожит... И вряд ли раскроет рот. А если нагрянуть с обыском?

— Обыск может погубить все. Вдруг ничего не обнаружится? Не каждый же день они курят! Да обыск и не уйдет. Сперва надо испробовать другое. И разведать. Вот ты и займись. Может, разведчица из тебя получится? А не получится, еще что-либо придумаем. А ничего не придумаем, тогда уж и на обыск решимся. Моську Музюлю позовем...

У Чумаковой хаты мы остановились. Маша расстегнула полы ватной кофты, сбросила на плечи теплый платок. Ей точно было жарко на морозе. Я же готов был плясать от холода. По дороге солома вывалилась из рваного валенка, и теперь пальцы выглядывали наружу.

— Значит, ты хочешь, чтобы я попробовала!..— Маша приблизилась ко мне, и я увидел в глазах у нее яркий блеск.— И стала разведчицей?

— Да, да! — горячо сказал я.— Попробуй. Очень важно. Понятно, тут есть риск. Они могут заподозрить. И тогда... И я боюсь больше не Мини, а Демы. Этот головорез... Но нам приходится рисковать чуть ли не на каждом шагу. А возьмем революционеров. Кто из них задумывался, когда надо было жертвовать ради революции?..

Маша порывисто припала ко мне. Так стояла несколько секунд. Потом так же быстро отстранилась, заглянула мне в глаза и ушла. А я, потоптавшись у чужого двора, повернул обратно и, пытаясь согреться, заспешил по накатанной и скрипучей дороге.

* * *

Несколько дней Маша не давала о себе знать. И вдруг явилась в сельсовет, где я безмятежно подшивал в папку документы. Подошла к столу, странно улыб-

нулась, словно извиняясь за что-то. Я отложил шило, которым прокалывал бумаги, и встал, предчувствуя неладное.

— Что?

Маша глянула мимо меня в окно, затянутое морозным узором, и сказала:

— Самогон, который гонят Лапонины, табачный.

Я не понял:

— Как это табачный?

— А так... В опару табак добавляют.

— Зачем?

— Для крепости. И для выгоды.— И, видя, что я все еще не понимаю, пояснила: — С табаком он намного злее. Они и разбавляют его водой. Отсюда и выгода...

Вот от чего дурман! Вспомнилась Нюркина свадьба. Перед глазами возникли багровые лица гостей. Если бы они знали, чем их дурманили!

— Как же ты узнала об этом?

Маша присела к столу, сплела изредка вздрагивавшие пальцы.

— Я все не знала, как подступиться. А вчера придумала и зашла к ним. Поздоровалась — и прямо к Петру Фомичу. Не дадите ли денег в долг? На юнгштурмовку, то есть комсомольский костюм, требуются. Петр Фомич аж позеленел. На хлеб попросила бы, говорит, и то не дал бы. А на эту пакость... Да как у тебя язык повернулся? И мне ты больше не крестница. И опрометью — из дому. А я про себя усмехнулась. На то и рассчитывала. И жалобно глянула на Миню. А он догадался и к себе зовет. Заходим, садимся, честь по чести. Ты, говорит, на отца не обращай внимания. Он у нас немного меченый. На деньгах помешанный. Не только тебе, нам отказывает. Правдами и неправдами добывать приходится. И все же я, говорит, кое-что скопил. Могу ссудить на эту самую юнгштурмовку. Только за это ты будешь рассказывать мне обо всем, что камса ваша замышляет. Я, конечно, прикинулась оскорбленной. Ты что ж, говорю, хочешь, чтобы я товарищей предавала? А он мне на это: твоим товарищам все равно скоро крышка. Так что, говорит, не очень-то держись за них. Лучше нам помогай. А мы и денег дадим. И услугу припомним. Вот так, гад, напевает. Я делаю вид, что колеблюсь. А потом свое условие ставлю. Денег, говорю, много не дашь.

Знаю, какой ты скряга. За копейку мать продашь. Лучше помоги в другом. Тогда, может, и сговоримся. Расскажи, спрашиваю, из чего самогон гоните. Не зря же ваш на обычный не похож. А зачем, говорит, тебе знать об этом? Я прикидываюсь овечкой: сами намерены попробовать. И хоть малость подзаработать. Хлеба-то лишнего нет. Вот ты и помоги. И тогда на юнгштурмовку не придется одалживать. Он и признался. Табак, говорит, подбавляем. Тот, говорит, какой на огороде выращиваем. Такую дает крепость, что лошадь свалится. А потом водой разбавляем. И загребаем денежки. Я выслушала и говорю: это как раз то, что нужно. Табак и у нас есть. Только сколько его требуется? И как он употребляется? Тут Прыщ мнется и предлагает зайти вечерком. Рассказывать трудно, говорит, надо показать, что и как...

Жадность кулаков казалась непостижимой. Но только ли в жадности дело? Может, и правда вредительство? Предположение перерастало в уверенность. Да, это вредительство. И ничего больше.

— Кулаки — жадные твари,— сказал я Маше.— Но дело тут не только в жадности. С табаком они гонят самогон не ради одной выгоды. Тут и другое. Вражеская работа. Одурманить людей, вывести из строя, лишить воли к борьбе. То же, что и опиум. А может, и того хуже. И мы должны разоблачить их. Надо узнать, где и когда они гонят этот табачный. Вот только как это сделать?

В мозгу возникали и тут же исчезали планы. Установить наблюдение? А как проникнуть во двор? Нагрянуть с обыском? Но в это время они могут не гнать. Отобрать самогон и отправить на проверку? А куда отправить? Кто и где может установить, какой он, этот самогон?

— Ничего не приходит в голову,— признался я.— Орешек не по зубам.

Маша убрала руки со стола и выпрямилась:

— А если я пойду к нему?..

Я подумал и почувствовал страх.

— А не замыслил ли он чего-нибудь?

— Все может быть. Но, может, и вправду надеется. Вдруг стану шпионкой. А если не так, зачем ему было признаваться? Ведь он рассказал такое... Нет, тут, должно быть, все так. Он покажет и расскажет. И мы разоблачим их...

Во мне боролись противоречивые чувства. Я и боялся и надеялся. Что, если это ловушка? Но, может, глупый расчет.

— Я не знаю... Надо все взвесить...

— Ты же говорил: революционеры ни перед чем не останавливаются.

— Да, но... риск — крайность...

Маша встала, снова глянула мимо меня в морозное окно.

— Я пойду к нему...

Я наклонил голову, покоряясь ее решимости.

— Только будь осторожна. И в случае чего...

Маша не дослушала и вышла. А я возбужденно прошелся по комнате и не без злорадства сказал:

— Берегитесь, сволочи! Теперь-то мы выведем вас на чистую воду.

* * *

Беднота не давала покоя. Каждый день в селькресткоме набивалось множество посетителей. Вдовы часто прихватывали с собой голопузых малышей. Да и сами выряжались в последнее тряпье, чтобы разжалобить начальство. И на все лады требовали подмоги. Однако перепадали и другие встречи. То кто-то из бедняков заявлялся не с просьбой, а с дельным советом. То какая-либо солдатка признавалась, что просила меньше, чем дали. И тогда досада сменялась радостью. Нет, не все, как видно, в нужде теряют достоинство. А у иных невзгоды и лишения даже пробуждают гордость.

И этот день ничем не отличался от других. С утра явились несколько женщин. Пошумели, поскандалили и уселись рядком на скамью. И завели разговор о жизни. Но я не прислушивался к их жалобам. Занятый бумагами, я ни на что не обращал внимания. Внезапно кто-то тронул меня за плечо. Это была средних лет женщина с изможденным лицом. Худые плечи покрывала старая, латка на латке, мужская поддевка. Из-под ветхого шерстяного платка выбивались жиденькие пряди седых волос.

— К тебе, товарищ,— скорее простонала, чем проговорила женщина.— Помоги ради Христа. Сынишка за-

хворал, Семка. Докторша в город приказала доставить. А на чем? Вот и пришла за милостью. Назначь какую подводу. Аль дай денег нанять. Не то помрет Семка-то.

Устинья Карповна Сударикова, бедная вдова. Мужа похоронила в голодный год. Осталась с целой кучей ребятишек мал мала меньше. Самый старший, Семен, был за хозяина. Вместе с матерью он батрачил у кулаков, добывая для братьев и сестер хлеб. И вот он слег, Семка Судариков, надежда и утешение семьи. Да так слег, что в нашей больнице отказались помочь. И предложили отправить в город. К хирургам на операцию. Вот и явилась она, Устинья Карповна, за подмогой. А раньше никогда не показывалась. И не потому, что не нуждалась, а потому, что робела и скромничала.

— Сколько нас, бездольных-то? — оправдывалась Устинья Карповна.— Вот и думала: может, кому труднейше, чем мне? Перехвачу кусок и оставлю беднягу голодным. А ныне никак уже не обойтись. Помрет Семка без подмоги...

Лошади в кресткоме не было, и я выдал деньги. Кое-как Устинья Карповна вывела свою фамилию на расходном ордере. Засунув деньги за пазуху, она неловко обняла меня и поцеловала в щеку.

— Спасибо, родной! Бога молить буду, чтобы здоровьем не обделил.

— А ты будь посмелей, тетка,— посоветовал я, растроганный ее чувствами.— Посмелей и понастойчивей. И требуй своего, добивайся. Ты же не просто какая-нибудь баба, а народ. Народ, понимаешь?

Устинья поморгала красными, вспухшими веками и нараспев сказала:

— И-и-и, какой я народ? Так, может, народинка какая. Только и всего.

— Вот, вот, народинка! — обрадовался я.— Ты народинка. Вот она народинка...— Я показал на вдову, стоящую у окна.— Вот она народинка. Она... Она... Она...— Я показывал на женщин, сидевших на скамье.— А все вместе мы народ. Сила!

Лицо Устиньи просветлело, морщинки на нем разгладились. Она поклонилась мне и с чувством повторила:

— Спасибо, родной! Уж так выручил. Сама буду помнить. И детям закажу...

Неслышно ступая стоптанными валенками, она вы-

шла. За ией, будто чем-то пристыженные, двинулись к выходу другие бабы. Оставшись один, я прииялся ходить из угла в угол. Народнка! Как хорошо сказаио! И как верио! Но почему же оиа робела и скромиичала? Ведь селькрестком существует для бедных. Или он для ловкачей, умеющих взять за горло? И что это с Семкой стряслось? Такой крепкнй пареиь — и свалился. И как долго будут лечить его городские врачн?

Мысли прервал скрнп двери. На пороге стояла Маша. Она смотрела иа меия округлившимися глазами. И будто не решалась войти. Я поспешнл к ней, взял за руки н сказал:

— Ну здравствуй! А я так ждал. Почему задержалась?

Маша вошла, прнвычио расстегнула полы теплой кофты, сбросила на плечи пуховый платок. Я выгляиул в корндор — не подслушнвает ли кто? — н на крючок закрыл дверь.

— Ну рассказывай. Узнала что-либо?..

Маша прнслоинлась спиной к стене н закрыла глаза. Потом открыла их, снова глянула на меня и глухо сказала:

— Да, узиала.

— Где стряпают? Где н в какое время?

— Курия в заднем сарае. С правой сторонь. А в курне — плита, котел н аппарат. Гонят по субботам. В полночь нли на рассвете...

Я загляиул в ее осуиувшееся лнцо:

— Это точно?

— Можешь не сомиеваться.

— Та-ак...— протянул я, потирая рукн.— По субботам. В полиочь или на рассвете. Так... Теперь мы вас накроем, подлые винокуры...

Я снова возбужденно зашагал по комнате. Да, уже не за горамн время, когда рухиет кулацкая крепость. Сначала одиа, потом другие. Все падут под нашими ударами. И ничто ие спасет эксплуататоров от народного возмездия.

— А что ж ие спросишь, как я добилась этого? — Голос Маши показался страниым, даже отчужденным.— И чего это мне стоило!

Я остаиовился перед ией, глупо перемииаясь с иоги иа иогу.

— Прости, Маша... Забылся... От радости... Надеюсь, ничего особенного?

— Ничего особенного!..— Она снова закрыла глаза, постояла так с минуту и опять ударила меня жестким взглядом.— Ну, так слушай... Он завел меня в курню и закрыл дверь на ключ. Все рассказал и показал. А потом...— И вся содрогнулась, как от боли.— Долго издевался, гад. Весь вечер не выпускал... Отбивалась изо всех сил... Вся измучилась... Но не поддалась...— И глубоко вздохнула: — А он... тварь... что только со мной не делал!.. Вот посмотри...

Дрожащими руками она расстегнула кофточку. Я невольно шагнул к ней. Грудь ее сплошь была покрыта кровоподтеками.

— Машенька! — ужаснулся я.— Как же это он, вражина? Да за это его задушить мало!

Она торопливо застегнулась, будто устыдившись.

— Я устояла... Но могло случиться... И тогда я не пережила бы...

— Маша! — сказал я, дрожа как в лихорадке.— Я же предупреждал. Помнишь?

Она снова скривилась в болезненной усмешке:

— Как же, помню. Ты предупреждал. Но думал не обо мне, а о них. Они тогда занимали тебя больше всего.

— Хорошо,— согласился я, чтобы успокоить ее.— Пусть так. Но ведь все же это...

— Ради революции? — перебила она.— Так? А не ошибаешься? По-моему, революции не нужны такие жертвы.

— Прости, Маша,— сказал я, покорно стоя перед ней.— И поверь... Если бы я только знал... Ты же победила... А что до этого гада... Идем к доктору. Сейчас же идем. Возьмем свидетельство и посадим его в тюрьму...

По губам Маши снова скользнула горькая усмешка:

— А как я докажу, что это он? Да и на что мне такая слава? Хватит того, что было. И я прошу... никому ни слова об этом. И буду рада, если и он не натреплется...

Отбросив крючок на притолоке, она вышла. Хлопнула входная дверь. Стук вывел меня из оцепенения. Я бросился в коридор. Но у входа остановился. Что скажу? Чем успокою?

Вернувшись в комнату, я припал к проталине в морозном окне. И через минуту увидел Машу. Забыв на-

бросить платок, она устало шла по улице. Мелкий снежок покрывал ее волосы. И мне казалось: это трудная ночь состарила ее, посеребрила голову.

* * *

Это случилось месяц назад. Неожиданно к музюлевской хате подкатили расписные санки, запряженные рысаками. В санках восседали Максим во всей своей милицейской красе и чернявая девушка в плюшевой кофте. Толстая коса ее была перевязана большим красным бантом.

Выбежавшей навстречу матери Максим тоном приказа объявил:

— Законная жена. Любить обязательно. Драк не допускать. От ругани тоже воздерживаться...

И каждый вечер стал являться домой со службы, меряя ногами версты. Но о ней, роговатовской девице, никто так ничего и не узнал. За целый месяц она ни разу не показалась на людях. И тем вызвала разные пересуды и кривотолки. Одни говорили: захворала после брачной ночи. Другие утверждали: муж боится дурного глаза. Но скоро те и другие мало-помалу угомонились, довольные, что участковый был под рукой. Мало ли что могло случиться?

Так и я в этот субботний вечер вдруг почувствовал, как важно, что страж порядка женился. Теперь-то его наверняка можно застать дома рядом с молодой женой, которую он так оберегал. Но жены Максима дома не оказалось. И ни малейших признаков пребывания ее у Музюлевых. А у самого Максима был необычный вид. В полной форме он лежал на кровати, набросив начищенный сапог на сапог, и кольцами выпускал дым изо рта. Рядом на постели лежала сталью сверкавшая шашка, а по другую сторону с кровати свисал в кожаной кобуре наган.

Я осторожно приблизился, на всякий случай покашлял.

— Здорово, Максим!

Он нехотя оглянулся:

— Здорово, если не шутишь!

— Что поделываешь?

— А ты что, не видишь? — послюнявив окурок, он ловким щелчком прилепил его к потолку.— Скучаю.

Я неуместно рассмеялся:

— Это отчего же?

— Оттого, что скучно.— Сбросив ноги на пол, он встал, оправил гимнастерку под поясом и прошелся по хате.— Каждый день — одно и то же. Воришки, жулики, драчуны. Мелочь. Ни одного приличного дела.— И звонко щелкнул в воздухе пальцами.— Шаечку бандитов бы! Вот тогда бы да! Ну, не шаечку. Где ее взять, шаечку? Хотя бы одного бандюгу. Пусть даже самого захудалого. А то надоело. Скукота.

Он звучно зевнул, потянулся, похрустывая косточками. Не сдержав любопытства, я спросил:

— А где жена?

Максим остановился посреди комнаты, точно застигнутый врасплох.

— Прогнал.

Трудно было скрыть удивление.

— Да за что же?

— Так... Неизячная...— И вдруг весь озлобился: — А тебе-то что надо? Какого черта явился? За жену заступаться?

— Успокойся, Максим,— сказал я, отступая назад.— Насчет жены просто так. Скучаешь же. Вот и полюбопытничал. А явился по делу. Самогонщиков обнаружили.

— Винокуры,— процедил Максим.— На них ничего не заработаешь. Да и не хочу со своими скандалить...

И присел на кровать, намереваясь снова улечься. Надо было стряхнуть с него безразличие.

— Скажи, Максим, ты пил лапонинский самогон?

— Откуда я знаю, чей он! — огрызнулся Максим.— Монополки не докладывают, где берут.

— А ты пил у Домки Земляковой?

— Ну, пил. И что из того?

— А то, что это и есть лапонинский.

— Ну и черт с ним! — рассердился Максим.— Мне наплевать. И убирайся.

Но я не двинулся с места.

— А ты знаешь, что этот самогон из табака?

Я рассказал все, что знал о табачном самогоне. Максим встал и снова прошелся по земляному полу,

— Не брешешь?

— Честное комсомольское!

Максим застегнул ворот гимнастерки, снял с гвоздя шинель.

— Пошли...

Пришлось удержать его. Надо было застать их на месте преступления. А для этого еще было слишком рано. Максим опустился на лавку у стола, покрутил головой, точно разгоняя дурман.

— А я-то, бывало, думаю: что за дьявол? Выпьешь какой-нибудь стакан — и места не находишь. А оно вон что! Табак. Ну и сволочи! Из-за денег людей травят. Погодите же. Теперь-то я доберусь до вас...

Я пообещал зайти в полночь и вышел. Теперь он сам будет подогревать себя. И к полуночи так распалится, что ничем его уж не затушишь.

* * *

Погода стояла мягкая, безветренная. Почти каждый день сыпал снег. Часто из-за бурых туч выглядывало солнце. А по ночам высокое небо сияло звездами.

Но в эту ночь как нарочно подул ветер, завьюжил неслежалые сугробы. И поднялся невообразимый шум, будто небо разом выпустило на землю всех злых духов.

Накануне Илюшка Цыганков разведал обстановку и теперь безошибочно подвел нас к курне.

— Тут...

Максим снял шапку и приложил ухо к двери. Так стоял долго, прислушиваясь. Потом притянул меня. Я тоже приложился к холодным доскам и ничего не услышал. Может, там никого не было? Или мешал шум бури?

Коротко посовещавшись, мы решили действовать. И все вместе навалились на дверь. Не выдержав напора, она сорвалась и с грохотом распахнулась. Мы переступили порог и очутились в какой-то темной каморке.

Я протянул руки, чтобы ощупать стены, но в ту же минуту перед нами открылась другая дверь, и в неярком свете встал Лапонин.

— Кто?..

Максим приставил к его груди наган и сказал:

— Именем советской власти!..

Лапонин испуганно отступил, и мы вошли в курню. Керосиновая лампа слабо освещала обмазанные глиной стены. В углу стояла закопченная плита с котлом. Рядом — аппарат со змеевиком. Из гнутой трубки в стеклянную банку выплескивалась мутная жидкость.

Я подошел к котлу, снял с него крышку. В нос ударил резкий запах табака, перемешанного с хмелем.

— Табачный!

— Гррражданин Лапонин! — произнес Маским.— Вы арррестованы!

— За что? — нахмурил тот бесцветные брови.— За какую провинность?

— А вот за эту самую,— сказал Максим.— За самогонокурррение...

Лапонин ощерил гнилые зубы, точно собирался укусить милиционера.

— Не имеете права. Это мое добро. И я хозяин. Что хочу, то и делаю.

— Добррро наррродное,— перебил его Максим.— Вами награбленное. Но об этом потом. А сейчас запротоколим. Вы не прррosто гнали самогон, а и занимались вррредительством...— И приказал: — Одевайсь! Живо!..

Лапонин надел полушубок, на голову натянул треух, достал из кармана рукавицы. Я заглянул ему в запалые глаза.

— Где Дема и Миня?

Лапонин вздрогнул, весь напрягся, будто собираясь кинуться в драку.

— Их не тронь! — крикнул он.— Они ни при чем. Один я. Меня и берите. А их не тронь!

— Ладно,— согласился Музюлев.— Пока возьмем одного. Уважим. А до них потом. Не уйдут...— И, ткнув наганом в сторону котла, приказал мне: — Набрррать месива. Для вещественного доказательства...

Придержав дыхание, я наложил опары в кружку, которую взял с полки, и тряпкой, валявшейся там же, обвязал ее. Максим показал Лапонину на дверь:

— Маррш!..

Мы с Илюшкой последовали за ними. Буран не утихал. Даже в замкнутом дворе бесновался, как сумасшедший. А на улице с силой швырял в лицо колючим снегом. И чуть не валил с ног.

Мы двигались гуськом, прижимаясь друг к другу. Я думал о Маше. Теперь ей будет легче. Враг разоблачен и схвачен. Пресечена и обезврежена подлость. Но самого это не успокаивало. Неужели Миня так-таки и ускользнет?

Из темноты выплыло бесформенное здание сельсовета. Своим ключом я открыл дверь, зажег лампу. Максим втолкнул Лапонина в «холодную». Так называлась комната для арестантов. Но она уже давно пустовала. И замок от нее куда-то исчез. Илюшка набросил скобу на петлю.

Составив протокол, Максим дал нам, как понятым, расписаться.

— Теперь вот что, братва,— сказал он, пряча бумагу в нагрудный карман гимнастерки.— Придется караулить арестованного. А утром я заберу его и препровожу в район...

Мы оба вызвались дежурить по очереди. Максим отстегнул кобуру с наганом.

— Возьмите. А то вдруг сыновья нагрянут. А их голыми руками не одолеть. Да осторожней,— предупредил он, наблюдая, как Илюшка целится в рыжее пятно на стене.— Самовзвод...

Проводив Музюлева, я закрыл входную дверь на замок и присел на табурет у двери в «холодную». А Илюшка, положив голову на руки, скрещенные на столе, уже посвистывал носом.

* * *

Вслед за Максимом и арестованным Лобачев и Апанасьев тоже отправились в район по какому-то делу. В сельсовете остался один я. Да в передней на табуретке тянул козью ножку сельисполнитель.

Тяжелые мысли продолжали мучить меня. А может, Прыщ не случайно избежал участи отца? Рассказав Маше правду, он, конечно, ждал налета. И держался подальше от курни. Но почему же он все-таки рассказал правду? Ведь ему ничего не стоило наврать с три короба. И почему не предупредил отца об опасности?

А перед глазами стояла Маша. Бледное, осунувшееся лицо... Кровоподтеки на теле... Гневный, негодующий

голос... До чего же мерзостный этот Миня! И неужели издевательство должно сойти ему с рук? А может, он все же верил Маше и не подозревал? И теперь нелегко снесет новость об аресте отца? Вот сейчас вызвать и сказать обо всем. Нанести неожиданный удар. И хоть так отплатить за гнусность.

Не раздумывая больше, я предложил сельисполнителю привести Миню в сельсовет. И принялся готовиться к встрече. Сразу же, как войдет, бросить новость в лицо. Отец арестован... Схвачен на месте преступления... Или лучше начать с самого. Где был ночью?.. Почему не помогал отцу на курне?.. А потом взять на пушку — и ему не уйти от кары. Вслед за отцом засадим в каталажку.

Миня вошел пугливо, как нашкодивший пес... Но, увидев, что я один, выпрямился и растянул толстые губы:

— Ты, что ли, потревожил? В чем дело, выкладывай. А то некогда рассусоливать...

В дубленом полушубке, черных валенках, барашковой шапке, он стоял передо мной и нагло гримасничал. И мне стоило больших трудов сохранять спокойствие. Ярость закипала в душе, сильнее огня жгла сердце. С каким наслаждением я уничтожил бы этого человека, если его можно считать человеком!

— Да, это я потревожил тебя. А потревожил затем, чтобы сообщить новость. Нынче ночью мы взяли твоего отца в курне. Взяли в тот момент, когда он стряпал табачный...

Миня выпучил слюдяные глаза.

— Так это ты? — И снова противно растянул губы.— Ну что ж. Коль так, то спасибо...

Я не ожидал благодарности и даже несколько растерялся.

— За что же спасибо?

— Ну как же! Отца помог пристроить. Такое дело...— И притворно захихикал.— А я-то думал... Моська Музюля удочку закинул. А на крючок Машку нанизал. А это ты. Не комса, а чудеса.— И опять забулькал поганым смешком.— Ну что ж. Хожу в открытую. И раскрываю козыри. До печенок затиранил родитель. Такой стал жлоб. То не так, это не этак. И все норовит в зубы. Просто беда. Не знали, как унять. Я уж хотел донос учинить. Письмо без подписи прокурору. Так и так... Да не успел. Машка опередила. Незвано на помочь пожаловала. Расскажи,

самн желаем подзаработать. Вот, думаю, Моська какой кралей пошел! Ну, ну! Давай, давай! Может, н кралю тузом побью, и батьку со двора сплавлю. А это, выходнт, не Моська, а Хвнляка...— И весело, будто приятелю, подмнгнул: — Теперь все понятно. Подсуну, мол, Мишке Машку. Растает и разболтает. За дурака посчитал, а в дураках-то сам остался. И вышло дышло. Так-то... А что до Машкн... Я хоть и не добился, чего хотел, а все же помучил ее. Так помучил, что надолго запомнит. Всю по косточкам руками перебрал...

На что же он рассчитывал, подлец, подливая масла в огонь? Надеялся, что все сойдет безнаказанно? И что в сельсовете не посмеют тронуть? Но в эту минуту я не помнил, где я и кто я. Собрав всю силу в кулак, я ударил его в лицо. Он шарахнулся назад и, наткнувшись на табурет, грохнулся на пол. Я бросился к нему, готовый топтать его ногами, но в дверях показался сельисполнитель.

— Что за шум?

— Споткнулся о табуретку,— сказал я, нехотя возвращаясь на свое место.— Помоги, что ли...

Сельисполнитель поднял Миню, посадил на табурет.

— Полегче надоть, — многозначительно посоветовал он, выходя в корндор.— А то не поднимать, а выносить придется...

А Миня мычал что-то нечленораздельное и вертел головой. Похоже, удачно приложился затылком к полу. Но все же он пришел в себя н встал.

— Ладно, Хвиляка,— прошипел он, трогая вздувшиеся губы.— Дождешься и ты. Придет и твой черед.

— Ладно,— в тон ему ответил я.— Поживем — увидим. А пока вот что. Насчет Машн запри хайло на замок. И не вздумай бахвалиться тем, чего не было. Иначе башка оторвется.

Мння презрительно хмыкнул:

— А башку оторвешь ты?

— Нет. Я не стану поганить о тебя рукн. Это сделает твой брат Дема. Набрешешь на Машу — раскроем ему глаза. И он узнает, кто загнал отца...

Угристое лицо Минн побледнело.

— Так он н поверил вам!

— Поверит. Можешь не сомневаться. Вот так. А теперь убирайся...

Но Миня не двинулся с места. Он лишь переступил валенками. Распухшие губы передернулись. Изо всех сил Прыщ старался казаться спокойным, хотя готов был расхныкаться.

— Ладно. Замкнусь. А только и ты помни. Демка оторвет не одному мне башку. Он и твою не пожалеет. Отец сел в тюрьму и по твоей вине.

— На том и поладили,— заключил я.— А теперь вон отсюда! Скажи спасибо, что дешево отделался.

Когда за Миней закрылась дверь, я беспомощно опустился на стул. Итак, не мы, а он, гадливый Прыщ, обвел нас. Над Машей поиздевался, отца сбагрил и сам сухим из воды вышел. И во всем этом виноват я. Только я, и никто другой. А виноват потому, что слишком понадеялся на себя и недооценил врага.

Враг же оказался куда хитрее и коварнее, чем представлялось нам.

* * *

Захотелось повидать Машу и рассказать о событиях. Лапонин арестован. Махинация разоблачена, и предотвращена большая беда. Может, от этого ей, Маше, станет легче?

Бури как и не бывало. В морозном воздухе кружились снежинки. Занесенные сугробами белые хаты поблескивали оконцами. Впрочем, не все хаты белые. Некоторые из них для тепла обложены кугой. И не все оконца поблескивают стеклами. Многие звенышки заделаны тряпками либо забиты дощечками. Не на что да и негде бедноте купить стекло. Может, не только о хлебе, а и о быте следует кресткому позаботиться?

На улице оживленно и весело. Шумно гоняют на санках с горок ребятишки. У обледенелых колодцев заливаются смехом молодки. Кому на этот раз промывают косточки сплетницы? Звонко повизгивают полозья розвальней. Вороная от инея кажется покрытой серебристой шалью.

Но взгляд мой по всему скользил без задержки. А ноги торопились, как на праздник. Скорей повидаться с Машей. Обрадовать и успокоить ее. Ведь это благодаря ей удалось обезвредить кулацкую гидру.

Дома у Чумаковых был один только дед. Подслеповато щурясь, он перед окном дратвой подшивал валенок. Незваного гостя встретил настороженно. Видно, принял за налогового агента. Но сразу подобрел, узнав, кто я и зачем пожаловал.

— Так ты про Машутку? Нетути. Намедни уехала. Куда уехала-то? Да в город подалась. Родственница у нас там. Вот Машутка-то к ней и укатила. Когда повертается?А кто ж ее знает. Может, скоро, а может, и нет...

Назад я плелся медленно и устало. Давала о себе знать бессонная ночь... До утра я не сомкнул глаз. Не хотелось будить Илюшку. Да и побаивался братьев Лапониных. Вдруг нагрянут. Тогда наган должен быть в моих руках. И я сидел перед дверью «холодной», время от времени поворачивая барабан с патронами. Но братья Лапонины так и не нагрянули. Либо крепко спали, либо сами струсили. И ночь прошла спокойно. Даже старый винокур ни разу не дал о себе знать, будто тоже мертвецки спал...

«Уехала,— думал я, с усилием переставляя ноги.— Собралась и уехала. Даже не предупредила. Но ничего. Может, там ей будет легче? Поживет немного, успокоится и вернется. И тогда порадуется вместе с нами. Порадуется тому, что помогла разоблачить вражину. Ничего. Пускай поживет там... А мы тут без нее поскучаем...»

* * *

На одном из партийных собраний, когда повестка дня была исчерпана, Лобачев неожиданно сказал:

— Еще вопрос. Внеочередной. Предлагаю принять в партию Касаткина. Правда, он не подавал заявления. И поручителей пока что нет. Но все это можно оформить сейчас...

И принялся расхваливать меня. Школу под клуб отвоевал. Гужналог с богачей придумал. Недоимку в селькрестком собрал. Хлеб дня бедноты заготовил. Лапонина разоблачил. Ликбез организовал. Сам на рабфак поступил.

По мере того как перечислял он мои «заслуги», голова моя опускалась ниже и ниже. Стыд жег щеки. Школу отвоевали ячейкой. Недоимку собирали комсомольцы.

Все вместе органнзовывали лнкбез. А Лапонина разоблачнла Маша. Так за что хвалить меня?

Но я слушал и молчал. К стыду прнмешивался страх. Вдруг обнаружат, что мне нет восемнадцати? Что тогда? Посрамят и откажут. А мне так хотелось в партию. Это было мечтой, в которой я даже себе ие признавался.

Но коммуннсты ничего не обнаружили. По очереди они — а нх было четверо — хвалнлн меня. Оказывается, я и трудолюбивый, н скромный, н вежлнвый, и даже способный. И каждый под конец заявлял, что поручится за меия с радостью. Да, да! Не как-ннбудь, а с радостью.

А я слушал и молчал. И не смел поднять глаз. Но поднять глаза все же прншлось. Лобачев спросил, как я сам отношусь к этому. И мне ннчего не оставалось, как глянуть нм в лнцо. Все обошлось просто, как будто так н иадо. Откашлявшнсь, я сказал:

— Считаю для себя большой честью быть в партин. И обещаю всего себя отдать народу...

Коммуннсты дружно закивали. Чем-то покорнлн мон слова. Конечно, онн были сказаны от всего сердца. Но я должен был сказать и другое. Я не заслужнвал похвалы. И мне не было восемнадцатн. А несовершеннолетннх в партню не приннмают. Но я противно смолчал. И дрожащимн руками напнсал заявленне.

Когда коммуннсты проголосовали, Лобачев крепко пожал мне руку и растроганно сказал:

— Поздравляю. Отныне у тебя начинается новая жнзнь. Так будь же всегда и во всем правдивым н честным!..

* * *

В эту ночь я долго не мог уснуть. Сам того не замечая, беспрестанно вздыхал н охал. Слова Лобачева не давали покоя. Быть правднвым и честным. А я сразу же покрнвнл душой. Не остановнл их перед ошибкой. Почему же смалодушничал?

В полночь мать тронула меня за плечо и прошептала:

— Слышь, сынок, выпей воднчки. И перестанешь маяться...

Я жадно выпил полстакана. Вода оказалась густой и какой-то вощеной. Но я ни о чем не спросил и уткнулся в подушку. И в самом деле скоро забылся.

А утром, вспомнив об этом, поинтересовался, какую воду мать давала мне.

— Наговорную,— призналась та.— Уже давно лечу тебя ею. С той поры, как комаровский кобель испугал. Бабка Гуляниха наговорила. Вот и вызволяю. То в борщ налью, то в молоко подбавлю. И ты вон как поправился. Уже не стонешь по ночам. Только вчерась опять что-то приключилось. Вот я и попотчевала тебя. И ты сразу забылся.

Это не было моей виной. И все же пятнало совесть. Партиец, а лечится у знахарки. Нет, рано еще в партию. Недостоин пока звания коммуниста.

«Отложить прием,— думал я, торопясь в сельсовет.— Пока не выйдет возраст. И пока не очистится совесть...»

Но решимость покинула меня, как только я увидел Лобачева. Тот выглядел туча тучей. Густые брови чуть ли не закрывали глаза. На скулах двигались желваки. Что-то стряслось, и партячейка сама отвергает меня. А я-то собирался каяться и признаваться.

— Слушай,— сказал Лобачев, сопя, как растревоженный хорь.— Что же это получается? Тебе же только семнадцать. Три месяца каких-то на восемнадцатый. А?

Я удрученно молчал. Все-таки разобрались и уличили. И уж не пощадят теперь. Нет! И про заслуги, какие расписывали, не вспомнят.

— Устав партии читал? — продолжал Лобачев.

— Читал,— понуро отвечал я.

— Знаешь, с каких лет принимают?

— Знаю.

— Помнил, что тебе не хватает?

— Помнил.

— Так чего же молчал?

Я набрал полную грудь воздуха.

— Боялся, что откажете.

— Сейчас отказали бы, через год приняли.

Лобачев озадаченно почесал за ухом:

— А я думал, ты с девятого. А ты, оказывается, с десятого. Гм... Непредвиденный спотыкач. А почему я так думал? Постой... Постой... Та-ак...— Он несколько раз протянул это слово, напряженно хмурясь.— Ну да, ошибка,— вдруг просветлел он.— Вместо девятого записали десятый. Церковники напутали. Ну да! Ты родился не в десятом, а в девятом. Это я хорошо помню. Почему? Сам

был в этом году крестным. Племяка носил в церковь. Через месяц после твоего рождения. Вы ж с племяком мои одногодки. А он не с десятого, а с девятого. Так что все точно. Тысяча девятьсот девятый. С чем тебя и поздравляю...

Крупными цифрами он вывел на бумаге мой новый год рождения. А я следил за ним и чувствовал, как сердце убыстряет удары. Было радостно и стыдно. Но почему же стыдно? Может, так оно и есть? И никакой подделки!

— А как же с другими документами? — дрожа, спросил я.

— И другие уточним,— сказал Лобачев как о чем-то обычном.— Все оформим надлежащим образом.— И снова поднял на меня потеплевшие глаза.— Мы советовались с Дмитрием Иванычем и Симоновым. У всех — одно мнение. Надо тебе вступить в партию. Она поможет закалиться с юности...

* * *

В комнату я вошел спокойно и уверенно. Остановился сразу за дверью и, никого не замечая, уставился на Дымова. А он, сидя во главе длинного стола, коротко кивнул мне и сказал:

— Садись, товарищ Касаткин! — И когда я сел, обратился к членам бюро райкома: — Рассматривается заявление товарища Касаткина о приеме в кандидаты партии. — И перелистал сколотые бумажки. — Материал оформлен в соответствии с уставом. Есть заявление вступающего, рекомендации членов партии.— И назвал фамилии рекомендателей.— Имеется рекомендация райкома комсомола. Решение партячейки о приеме в кандидаты. Товарищ Касаткин на бюро присутствует. Можно задавать ему вопросы. Пожалуйста!

Несколько долгих минут длилось молчание. Я сидел на стуле. И, внутренне съежившись, ждал. Вопросы казались мне выстрелами. Они если и не убьют, то изрешетят всего наверняка. И чтобы выдержать, я весь напрягся.

И вот он, первый вопрос. Его запустил в меня простуженным голосом председатель райисполкома Селез-

нев. Высокий, громоздкий человек с родимым пятном на правой щеке. Он спросил, что мне известно об обязанностях коммуниста. Я встал. И ответил почти слово в слово как в уставе. Сел после этого на свое место. И опять напрягся.

Но едва я успел сделать это, как другой член бюро, бородатый и красногубый Рыжиков, заведующий отделом пропаганды райкома, спросил, какое место комсомол занимает в системе государства и в чем заключается его роль как помощника партии. Рыжиков слыл в районе самым грамотным в политике. И я больше всего боялся какого-либо подвоха с его стороны. Но вопрос его был легким. И я без запинки ответил и на него.

Однако Рыжикову этого оказалось мало. И он спросил, знаю ли что-нибудь об идеализме и материализме. И если знаю, то в чем, по-моему, разница между ними. Я ничего не знал ни об идеализме, ни о материализме. И растерянно посмотрел на главного пропагандиста района. И уже готов был признаться в своем неведении, как Дымов выручил меня. Он повел рукой в сторону Рыжикова, как будто закрывая тому рот, и сказал:

— Вопрос — не обязательный. Таких знаний мы не можем требовать от поступающих в кандидаты. Прошу ограничиваться уставом партии.— И обратился ко мне: — Можешь ответить, товарищ Касаткин. А можешь и не отвечать.

Конечно, я предпочел не отвечать. И продолжал сидеть со спокойным видом. И можно было подумать, что не отвечаю я не по незнанию, а из-за принципа. И в самом деле, если не обязательно отвечать, зачем же делать это?

Тогда сам Дымов попросил:

— Ты лучше расскажи, товарищ Касаткин, как твоя ячейка борется за идеи партии. Коротко и на конкретных фактах.

На этот раз я не заставил себя ждать. Может, даже чересчур поспешно встал. Но заговорил неторопливо, как человек, уверенный в себе. Перечислил все, что сделала ячейка в последнее время. Строительство клуба. Ликвидация неграмотности. Разоблачение церковников с барометром. Сбор задолженности в селькрестком. Раскрытие кулацкой махинации с табачным самогоном. Прием лучших ребят в комсомол. И каждому проведенному делу

давал политическую оценку. Чтобы было видно, что мы не просто делали, а и сознавали, что делали.

Но Рыжиков опять огорошил меня. Он спросил, какие недостатки имеет ячейка в свете требований партии. О недостатках я, конечно, знал. Еще бы не знать, когда они, что называется, застревали в горле. Но были ли они недостатками в свете требований партии, этого я не понимал. И потому пустил в ход фантазию. Дескать, партия требует, чтобы в деревнях создавались ТОЗы. А в Знаменке его до сих пор нет. И виноват тут немало комсомол. Он не развернул воспитательную работу среди молодежи. Чтобы та и сама пошла в такие артели и родителей своих повела. Или та же история с церковью. Разоблачили служителей бога в обмане. Принудили попа покинуть приход. Даже постригли в миряниина. А антирелигиозную пропаганду не развернули. И получилось — церковь не работает, а люди в бога продолжают верить. И виноват в этом комсомол. А виноват потому, что не раздул огонь против святош, которые и без церкви продолжают дурманить народ.

Я готов был говорить в таком духе долго. Но меня остановил Дымов. Обращаясь к членам бюро, он сказал:

— Я думаю, все ясно, товарищи! Перейдем к обсуждению. Кто хочет говорить? Прошу!

Первым говорил Симонов. Он не жалел слов. На все лады расписывал меня. Но похвала его не смущала. Я уже знал, чем все кончится. И слушал так, как будто речь шла о другом.

Потом выступил Лобачев. Он тоже не скупился на краски. И договорился до того, что будто иногда я даже задавал тон коммунистам. Но и ему я не возразил. Пусть выговаривается до конца. Может, не так трудно будет ему потом оправдываться?

За Лобачевым слово взял Рыжиков. Этот был сдержан. Он сказал, что мало знаком со мной. Но тут же заявил, что считает меня достойным быть в партии.

— Конечно, политическая подковка у него слабая,— говорил он.— Потому он плавает даже в самых простых вопросах. И тонет в самых мелких местах. Но у него есть задатки. И со временем он сумеет ликвидировать свою идейную отсталость.

Выступали и другие члены бюро. Говорили коротко.

чтобы только выразить свое мнение. А районный прокурор Сучков даже отметил мою революционную бдительность.

— Я имею в виду кулака-самогонщика,— говорил прокурор, как будто был на суде.— Это, так сказать, враг в квадрате. Он вредил нам на двух фронтах одновременно. Вредил умело, хитро. И разоблачить такого врага, изобличить доказательно нелегко. Для этого надо было обладать и острым политическим чутьем, и высокой классовой бдительностью.

В конце и Дымов сказал несколько слов. Я нравился ему. Своей безотказностью в работе и преданностью делу. И он был уверен, что из меня выйдет стойкий большевик. А потому он предлагал принять меня в кандидаты партии с шестимесячным кандидатским стажем, на который принимались рабочие и батраки. И готов уже был проголосовать, как я остановил его.

— Я прошу отказать мне,— сказал я, встав и вытянувшись, словно перед военным трибуналом.— За обман партии.— И, почувствовав на себе удивленные взгляды членов бюро, продолжал с еще большей решимостью: — Я смалодушничал. И покривил душой. А поступил так из-за желания быть в партии.

— Говори ясней,— нахмурившись, предложил Дымов.— В чем дело?

— Дело в том,— сказал я, прижимая дрожащие руки к телу.— Возраст у меня еще не вышел. Мне нет восемнадцати. А по уставу в партию принимают с восемнадцати. Вот я и прошу отказать. За нечестное поведение.

Я замолчал. Но продолжал стоять, не смея сесть. А еще потому, что, казалось, Дымов предложит убираться вон. Но Дымов молчал. И смотрел на меня широко открытыми глазами. И как будто не знал, что со мной делать. А потом вдруг мягко спросил:

— А ты очень хочешь быть в партии?

— Очень! — с жаром подтвердил я.— Так хочу!.. Даже не знаю, как выразить.— И добавил с прорвавшейся помимо воли жалостью: — Очень сожалею, что мне нет восемнадцати.

И снова — молчание. Дымов зачем-то перелистал мои бумаги. Покашлял в кулак. И все так же дружески сказал:

— Ступай, товарищ Касаткин! Побудь в коридоре. А мы тут посоветуемся. И тогда позовем тебя.

Не ответив, я выбежал из комнаты. Но дверь прикрыл осторожно, плотно. И не остался в коридоре, а вышел на крыльцо. Вышел раздетый, без фуражки. Но холода не почувствовал. Наоборот, было даже приятно. Морозный ветерок охлаждал пылавшее лицо. И разгоряченная кровь в висках начинала стучать реже.

Вспомнился утренний разговор с матерью. Я спросил ее, когда я родился. И когда она назвала день, месяц и год, заметил, не ошибается ли она. Мать ответила, что память у нее на такие дела пока не ослабела. Тогда я напомнил, что родился в одном году с племянником Лобачева. А тот рожден в девятом, а не в десятом. Мать подумала и покачала головой.

— Вот когда лобачевский племяк вылупился, не помню. А не помню потому, что дела мне до него нет никакого. А вот когда тебя на свет божий произвела, точно знаю.— И тихо рассмеялась.— Да как не помнить-то? Случилось это необыкновенно...— И деловито пояснила: — Рожь мы с отцом твоим убирали помещичью. Он косил, а я вязала за ним. А была в положении. На последнем месяце. И вот тут случилось. Аккурат перед обедом. Как схватило меня, так я и свалилась. И завопила на все поле. Отец твой испугался до смерти. А как понял, кинулся к смотрителю. Дай лошадь ради бога! К бабке-повитухе надо. Смотритель был строгий. Не баловал. А тут сочувствие проявил. Остановил одну из подвод, на каких возили снопы на ток. Ездоку приказал на косьбу стать, а вожжи вручил отцу твоему. Даже помог положить меня на телегу. И погнал отец лошадь. Погнал во всю прыть. А меня швыряет на телеге, подбрасывает. Кричу, как резаная. Силов моих нету. Да и разрешилась. А отец, как услыхал твой крик, остановил лошадь. Взял тебя в руки. И уж так смеется, так смеется. От радости, значит. А тут откуда ни возьмись туча. Гром такой, что земля задрожала. И дождь. Да не какой-нибудь, а ливень. И выкупал тебя. С головы до ноженек. Смех и грех.— И, вдруг устыдившись откровенности, спросила: — А на что это тебе? С чего это ты о том допытываешься? Уж не беда ли какая нависла?

Я никогда и ничего не скрывал от матери. Не скрыл и в этот раз. Выслушав, она подумала и сказала:

— Рада бы, сынок, да не могу врать. И тебе не советую. Тем более в таком деле. Самого ж всю жизнь совесть будет мучить. А потому ступай и скажи правду. Скажи прямо и честно...

И я сказал прямо и честно. Впрочем, не потому, что мать посоветовала. Совет матери лишь укрепил решимость. Но и без нее я все равно бы признался. Слишком дорожил партией, чтобы обманом вступить в нее.

Я долго стоял на крыльце. В дом входили какие-то люди. Выходили из него. На меня поглядывали с удивлением. Что за чудак? С чего это раздетым торчит на морозе? Но я продолжал стоять. Не мог сдвинуться с места, точно примерз к нему. И хотя холод все настойчивей забирался за воротник и расползался по всему телу, ни на что не обращал внимания. Теперь было как-то все равно. Жизнь сразу померкла, будто я наполовину ослеп. И уж никогда больше не будет радостной. Но на душе все-таки стало легче. Словно признанием я очистил ее от какой-то скверны. Или выдворил из нее лукавого беса, который чуть было не попутал меня.

«Пусть не буду в партии,— думал я с облегчением.— Но зато и перед ней и перед самим собой останусь честным. И уж никогда не буду терзаться, что замарал свою совесть...»

Тоже раздетый на крыльце появился Симонов. Глянул на меня узкими глазами, будто не узнавая. И сердито спросил:

— Ты что тут прохлаждаешься? Тебе ж сказали, чтобы дожидался в коридоре.— И кивнул на дверь: — Айда за мной! Бюро ждет.— И, вразвалку шагая по коридору, продолжал ворчливо: — Бегаю по всем закоулкам. Кричу, кличу. Как сквозь землю. Не удрал ли домой? Так нет! Экипировка — на месте. Думаю: не мог же обалбеситься так, чтобы раздетым смыться...

Я молча ступал позади. И безрадостные думы заполняли голову. Значит, отказали. Об этом говорило ворчание Симонова. Да и как могло быть иначе? Ведь по уставу не положено. А только теперь не о том речь. Как бы совсем не закрыли дверь. Совсем и навсегда. За недостойное поведение.

Но на душе сразу же отлегло, как только я оказался в комнате. Члены бюро встретили меня просто, без отчуждения. А в глазах Дымова даже сверкнул огонек.

— Итак, товарищ Касаткин! — проговорил он, когда я опустился на краешек стула.— Мы тут потолковали, посоветовались.— И неожиданно спросил: — А откуда тебе известно, в каком году ты родился?

Вопрос показался странным. И я невольно пожал плечами:

— Мать говорила.

— А она не могла ошибиться?

Я замялся. Подмывало сказать, что такое могло случиться. Но я устоял перед соблазном. И твердо ответил:

— Нет. Мать не могла ошибиться. На это у нее хорошая память.

Члены бюро рассмеялись. Дрогнула улыбка и в уголках рта Дымова. Но он серьезно продолжал:

— Товарищ Лобачев сказал нам, что попы в метриках напутали. Он проверил эти церковные метрики. И установил, что так оно и есть. Записи в них до и после твоего рождения помечены девятым годом. И только ты один за весь этот год значишься под десятым. Так что считай себя с девятого. И в сельсовете уже внесены исправления. В армию, к примеру, пойдешь вместе с девятым. И матери своей скажи, что ты на год старше, чем она думает. Уверен: она не опечалится, а обрадуется. Для матерей чем сыны старше, тем лучше. Скорей можно поженить и внучат заиметь.— И нахмурился, словно вспомнив что-то важное.— А сказал ты нам об этом правильно. Так и надо поступать. Всегда и во всем надо быть правдивым перед партией. И я думаю: будь все так, как ты говорил, мы бы все равно приняли тебя. Несовершеннолетие не помешало бы. И это не было бы нарушением устава. В суровые годы бывали случаи, когда и пятнадцатилетних принимали. Таких, которые в борьбе с врагами проявляли отвагу и мужество. Сейчас тоже не такое уж мирное время. И враг теперешний — не менее сильный, опасный и хитрый. Ты показал себя мужественным в борьбе с врагом. И райком считает, что ты заслужил чести быть коммунистом.

С этими словами он расписался на карточке, лежавшей на столе. Встал. И сказал:

— Подойди ко мне, товарищ Касаткин! — И когда я остановился перед ним, продолжал: — Вручаю тебе кандидатскую карточку. Надеюсь, ты будешь членом партии. И всей своей жизнью оправдаешь это высокое звание.

Я взял из его рук карточку. И пересохшим голосом сказал:

— Клянусь партии! Всю свою жизнь отдать ей! Всю до последнего часа!

Дымов вышел из-за стола. Обнял меня. И поцеловал в щеку.

* * *

Шли дни, а Маша не возвращалась. Ребята начинали беспокоиться. Как же это так? Ни с того ни с сего уехала. И не дает о себе знать. Неужели ж не скучает по ячейке?

Андрюшка Лисицын раздобыл у Чумаковых адрес, по которому в городе жила Маша, и попросил меня в срочном порядке написать ей письмо.

— От имени всей ячейки. Чтобы знала, как нехорошо обошлась она с нами...

Я написал. И вскоре получил ответ. Он был кратким. Маша писала, что временно работает на заводе. И домой пока не собирается. О ячейке не забывает. И всех нас по-прежнему горячо любит.

Письмо не очень обрадовало нас. Но мы все же успокоились. Как-никак, а она была при деле. К тому же в рабочем котле варилась. Одного этого было достаточно, чтобы не тревожиться. А кроме того, мы надеялись, что она вернется на родину. И порадует нас пролетарским опытом, который приобретет там.

Главную заботу Маши в ячейке составляли книги. Теперь пришлось вверить их Сережке Клокову. Тот горячо взялся за новое дело и весь отдался ему. Он заново переписал их в тетрадь, расставил по алфавиту и завел картотеку.

— Книга уму учит,— говорил он.— Но и к себе ума требует...

А книг уже было порядочно. Рядком стояли они на полках шкафа. С гордостью мы называли этот шкаф библиотекой. Да это и в самом деле была библиотека. И пополнялась она регулярно. То я приносил книги из района, то Лобачев привозил из города.

Здорово выручил отчим. А произошло это как-то вечером. Мы с Сережкой сидели за столом и занимались каждый своим делом. Он подклеивал обложки и корешки

старых книг, а я подсчитывал затраты на покупку хлеба для бедноты.

В эту минуту в комнату вошел отчим. Сняв шапку, он поклонился. И сказал:

— А я до вас, ребятушки. Принимайте подарочек...

Это были книги. Отчим уложил их в салазки, укрыл рогожей и увязал веревкой. И на себе привез к сельсовету.

— Принимайте до опчей кучи,— говорил он нам, растерянно глазевшим на возок.— И пущай ребяток учат...

В одну минуту мы перетаскали их. И аккуратными стопками сложили прямо на полу. А потом подошли к отчиму, отдыхавшему на скамье. Он поднялся и смял в руках потертый треух.

— Я как рассудил? — объяснил он. — Хвиля одолел, почитай, их все. А ежели какие и остались, наверстает и тут. У Дениски интерес к ним покудова не прорезался. А нам с матерью куда стока? Вот я и приволок вам. Все забрал. Оставил тока церковные. Послания святых апостолов и прочие сказки. Такие вам ни к чему. Пользы от них как от козла молока.

Я обнял его, поцеловал в заросшую щетиной щеку:

— Спасибо тебе, па! И за книги, и за доброту твою!

А Сережка крепко пожал ему руку. И тоже взволнованно сказал:

— Спасибо вам, дядя Алексей! От всей ячейки. Это для нас — большая выручка и поддержка...

* * *

Проводив отчима, мы сразу же занялись его подарком. Прежде всего разложили книги по алфавиту. Потом я стал записывать их в тетрадь, а Сережка устанавливать на полки. Шкаф сразу оказался тесным. Пришлось изменить весь порядок. И установить книги в два ряда. Конечно, так труднее было обращаться с ними. Но ничего другого не оставалось.

Закончив работу, мы уселись за стол передохнуть и уставились на раскрытый шкаф. На всех полках его снизу доверху в два ряда стояли книги. В свете керосиновой лампы они сверкали, переливались красочными корешками.

— Целое богатство! — с тихой радостью произнес Сережка.— На всех желающих хватит. Даже с избытком...

В комнату вошла Ленка Светогорова. С пунцовыми от мороза щеками и сверкающими инеем длинными ресницами. Иней на ресницах тут же растаял, а щеки запламенели еще ярче. Загорелись они и у Сережки. И весь он как-то преобразился, засиял, будто освещенный необычным светом изнутри.

— Здрасте! — пропела Ленка, подходя к столу.— Пришла книжечку переменить.— И положила перед Сережкой книгу.— Эту прочитала. Дюже интересная. Опять бы такую. Чтоб про любовь.

— Сперва эту отметим,— деловито ответил Сережка.— Вычеркнем, чтобы за тобой не значилась.— Он нашел в тетрадке Ленкину страничку и зачеркнул последнюю строчку.— А теперь проверим, все ли тут в порядке.

Он принялся просматривать странички книги. А Ленка напряженно следила за ним. И, сама того не замечая, нервно перебирала пальцами на груди.

Внезапно Сережка изменился в лице. Сначала побледнел, потом покраснел. И поднял на Ленку строгие глаза:

— Два листа вырваны. Кто вырвал?

Ленка замахала ресницами.

— Это брат Ванька,— сказала она и шмыгнула носом.— Я берегла. За пазухой носила. Только на минутку оставила. А он и вырвал.

— На цигарки?

— Да.— И проглотила слезы.— Я даже подралась с ним.

Сережка решительно захлопнул тетрадь.

— Все! — гневно сказал он.— Можешь идти. Книгу не дам. Больше не получишь.

Ленка закрыла ладонью глаза. Плечи ее вздрогнули.

— Вырывать страницы! — возмущался Сережка.— Да я скорей вырвал бы себе волосы. Варварство! Дикость! И когда только поумнеем? Когда станем культурными?

— Ну, ладно, хватит,— сказал я.— Она ж не сама вырвала. На первый раз можно простить.

— Ладно,— сдался Сережка, обрадованный моим вмешательством.— На первый раз прощаем. Но имей в

виду...— И вдруг застенчиво улыбнулся, будто сам во всем был виноват: — А вообще-то... Постарайся, Леночка. Это ж не что-нибудь, а книга. Понимаешь?

— Понимаю, Сереженька,— покорно ответила Ленка.— И постараюсь.

Сережка подошел к шкафу и озадаченно посмотрел на книги.

— Так тебе про любовь?

— Ага, про любовь,— подтвердила Ленка.— И хорошо б про самую сильную.

Сережка растерянно поскреб затылок. Он не так уж много читал. К тому же предпочитал приключенческие романы. А любовь... Где она тут? Да еще самая сильная? И он беспомощно взирал на книги, таившие в себе загадочные события.

Я поспешил ему на выручку.

— Смотри на букву «Т»,— посоветовал я.— И возьми «Анну Каренину» Льва Толстого. Сильней такой любви не было на свете.

Сережка быстро отыскал книгу и записал ее в тетрадку. Дал Ленке расписаться. А потом торжественно подал книгу девушке.

— Пожалуйста, Леночка! — сказал он, уже сияя глазами.— Я еще не читал ее. Но раз Хвиля говорит, значит, так и есть.

Ленка прижала книгу к груди. И ответила Сережке также счастливым взглядом.

— Спасибо. Верну в целости. Будь уверен...

Но случаев порчи книг все же было мало. И это радовало Сережку. Огорчало его, как и всех нас, лишь одно: работать приходилось в сельсовете, а не в клубе. Клуб с наступлением холодов пришлось закрыть. Печи оказались непригодными. Они почти не давали тепла.

А клал печи наш сосед Иван Иванович, дед Редька. Он слыл в селе лучшим мастером, и мы надеялись на него как на самих себя. И вот надежды рухнули. Ячейка на зиму опять осталась без пристанища.

Узнав о нашей беде, отчим учинил деду Редьке допрос. И тот признался, что напортил с умыслом.

— Каюсь, Данилыч. Заглушил тягу, чтобы тепла не было. И чтобы дым комсу из ограды выкурил. А тока сделал так не по своей вине. Батюшка на исповеди приказал. В аккурат это было, когда комса захапала школу.

Навреди, говорит, безбожникам, чтоб не богохульствовали перед храмом. Ну я, понятно, подчинился... А он сам, Сидорка-то, вон что выкинул: похуже всякой комсы набогохульствовал...

Выслушав отчима, я ринулся к соседям. Авось возьмется печник и хоть малость поправит. Бояться-то ему уже нечего было. Поп со своими чадами давно перебрался в областной центр, и церковь благополучно пустовала. На худой конец можно припугнуть печника. Дескать, вольное или невольное вредительство, а оно карается по всей строгости.

Но, переступив порог соседской хаты, я понял бесплодность затеи. Иван Иванович лежал на кровати и жалобно стонал. На животе у него возвышался горшок.

— Хворь напала, чуму бы ей в глотку,— пожаловался он.— Вот бабка и водрузила черепок. А сама кудысь запропастилась. Должно, у какой подружки закалякалась, шалава. А тут все пузо втянуло. И мочи никакой нетути.— Он глянул на меня с жалобой и часто заморгал глазами, готовый расплакаться.— Слышь-ка, вызволи ради бога. Возьми каталку за печкой. И вдарь по горшку. Вдарь, чтобы на черепки рассыпался...

Дед Редька провалялся долго. А раньше чем он выздоровел, выпал снег, ударили морозы. Вот и пришлось повесить на двери клуба замок. И снова перекочевать в тесный сельсовет.

— Какой промах дали,— возмущались ребята.— Сами культпоходу ножку подставили. И до самой весны заморозили...

* * *

Это было ранним утром. Мы с Сережкой увлеченно рассматривали новые книги: рассказы Горького и Чехова, стихи Лермонтова и Демьяна Бедного, наставления по кооперации и сельхозналогу. Где там было оглядываться и прислушиваться?

А Симонов стоял за порогом и укоризненно качал головой:

— Так-то вы привечаете друзей?..

Я бросился к нему, протянул руку. Смущаясь, поздоровался и Сережка.

— Рукопожатие — предрассудок, — поучительно заметил Симоиов.— С иим надо бороться. И все же мне приятно пожать руку друзьям...—Он подал нам сверток и предложил развязать его.— Отгадаете, что это, получите иасовсем...

Небольшой деревяиный ящик. Сверху иа крышке — стекляииая трубка. В трубке — стальиая иголка, иацелеииая иа какой-то шероховатый комочек. Рядом с трубкой — две пары дырок. И больше иичего.

Мы осматривали ящик и молчали. А Симонов, иаблюдая за иами, довольно ухмылялся.

— Вот так и я в обкоме, когда получал эти штуки, лупастился и молчал...— Он достал из портфеля два металлических кружочка, соедииенные дужкой, размотал витой шнур, воткнул вилку в дырки на ящике.— А теперь что это?

Я подумал и сказал:

— Телефои.

Симоиов отрицательио покачал головой.

— Не телефои, а радио. Детектор. А точнее — детекториый приемиик. Пять штук выкляичил иа райои. И вот вам привез...

Я снова повертел в руках ящик. Но теперь уже с опаской, как бомбу. Потом иадел наушиики и затаился.

— Ни слуху ни духу...

Симоиов передал нам моток проволоки.

— Антениа. Повесить иа улице. Чем длииее, тем слышиее...— Он показал, как следует иглой щупать кристалл в трубке.— Вот и вся премудрость.

— И будет говорить? — недоверчиво спросил Сережка.

— Как живой!..

Неожидаино он достал из портфеля кулек, развернул его. В кульке оказались пряники — белые и розовые. Мы с Сережкой разом проглотили слюнки. Симонов заметил это, улыбиулся и предложил:

— Угощайтесь. Вкусные до ужаса...— И сунул целый себе в рот.— Смерть люблю... Вчера зарплата была... Вот и блажеиствую...

Мы с Сережкой взяли по прянику. Они и впрямь были вкусиыми и прямо таяли во рту. Даже страшно целиком запихивать в рот, как делал Симонов.

Сережка, смущаясь, сказал:

— А мне почему-то больше нравятся конфеты.

— А ты часто их ешь, конфеты?— спросил Симонов.

— Нет, не часто,— признался Сережка.— Один раз пробовал.

Мы рассмеялись. Симонов серьезно сказал:

— Конфеты не то. Ни пожевать, ни проглотить. А пряники...

И предложил нам еще. Но мы отказались. Только что завтракали. И вообще... Не охочи до лакомств. Симонов недоуменно пожал плечами:

— Не понимаю, как можно отказываться от пряников. Это ж не еда, а наслаждение. Того и гляди, язык проглотишь...— Внезапно он встрепенулся, вынул из нагрудного карманчика часы и встал.— Засиделся я у вас, а мне еще в Верхнюю Потудань. А оттуда — в Роговатое. Им тоже детекторы везу...

Простились у райисполкомовских санок. И лошаденка, заиндевевшая, а потому казавшаяся седой, резво затрусила по улице.

* * *

Мы решили сразу же заняться детектором. Кстати, подошел и Володька Бардин. Он тоже долго вертел в руках загадочный ящик. А под конец все же сказал, что будет участвовать в опробовании, хотя поручиться за успех не может.

— В Москве или поблизости эта штука, может, и бормочет. А у нас, за тыщу верст... Сказка!

Главное было — установить антенну. Лучше всего протянуть ее от здания сельского Совета до селькресткомовского амбара. На сельсоветской крыше провод легко завязать вокруг печной трубы. А вот как прикрепить его к крыше амбара?

Но Володька довольно легко решил задачу. Обойдя вокруг амбара, он сказал:

— Есть длинная слега. Пристроим на распорках, и будет мачта.

Вдвоем с Сережкой они сбегали к Бардиным и приволокли слегу. Она оказалась даже выше сельсоветской трубы. Мы привязали к ее макушке провод и установили рядом с амбаром. В нескольких местах рейками приши-

ли к углу сруба. Слега стала прочно, готовая выдержать любую бурю.

Потом мы подсадили Сережку на крышу сельсовета и подали ему другой конец антенны. Осторожно он дополз на четвереньках до конька, натянул провод и замотал его вокруг трубы. После этого мы с Володькой продели отвод антенны в форточку окна. Вернувшись в комнату, воткнули вилку на конце его в отверстие на крышке детектора.

Когда все было готово, мы уселись за стол и почувствовали, что находнмся в преддверии невероятного. Неподвижно и загадочно стоял перед намн деревянный, выкрашенный в черный цвет ящик со стеклянной трубкой, блестящей иглой н наушниками. Мы молча и пристально смотрели на него. Неужели ж он и вправду заговорит человеческнм голосом? Неужели свершится чудо и мы услышим Москву?

Володька решительно махнул рукой и с отчаянием сказал:

— Пробуй!

Я надел наушники и с опаской взялся за иглу. В ушах что-то зашуршало. Потом послышался треск и писк. Я смелей стал тыкаться в кристалл. Тыкался усердно и долго, чувствуя, как мокнет лоб. Но, кроме треска, писка и шума, похожего на ветер, ничего не слышал. И уже готов был снять наушники, чтобы передать ребятам, не спускавшнм с меня глаз, как различил чей-то голос. Далекий, неясный, но все же человеческий голос. Я затаил дыхание. Напряглись н ребята. Это видно было по их багровым лицам. Но голос исчез, словно задохнулся. А в уши опять хлынул шум. Я с досадой ткнул иглой в одно место, потом в другое, потом в третье. И снова услышал человеческий голос. Да, настоящий человеческий. Теперь уже громкий, звучный, отчетливый.

— Молодежь — наша надежда, наше будущее. Ей придется завершать начатое нами. И мы не должны жалеть труда на ее воспитание...

Я снял наушники и передал Володьке. Он надел их и замер, уставившись взглядом на ящик.

— Слышу,— прошептал он, точно боясь спугнуть говорившего.— Прямо рядом...

И протянул наушннки Сережке. Тот слушал так же

напряжеиио. Но в голубых глазах то и дело вспыхивали искорки. Радость брала верх над страхом.

Послушав мииуту, Сережка вериул иаушники мие. Я иадел их и сиова услышал тот же мягкий и ясиый голос:

— Враги советской власти миого раз делали ставку на молодежь. Но расчеты их ие оправдались. Молодежь всегда следовала за партией, живо откликалась на ее призывы...

Я сиял наушники и сказал:

— Говорит!

— Говорит! — подтвердил Володька Бардии.

— Говорит! — расплылся в улыбке Сережка Клоков.

— Москва говорит! — продолжал я.

— Москва говорит! — подхватил Володька.

— Москва говорит! — весь сняя, воскликнул Сережка.

— И Знамеика слушает столнцу! — ие переставал я, охвачеииый энтузиазмом.

— Знамеика слушает столицу! — повторил Володька.

— Зиаменка слушает столицу! — лнковал Сережка.

Я протянул один иаушиик Володьке:

— А ну, давай вместе!..

Мы уперлись лбамн иад ящнком н прнложилн к ушам по иаушнику. Из них уже лились нежные и ладиые звуки. Музыка! А мы-то и ие зиали, что оиа может быть такой! И откуда было зиать? Как могла оиа залететь в нашу глухомаиь? Ииой раз бна вырывалась из окои поповского особияка. Там заводнли граммофои. Но какая это была музыка! Воющая, рыдающая, стоиущая. От иее хотелось бежать без оглядки. А эта... Оиа звеиела колокольчиками, пела жалейкамн, заливалась соловьями. Оиа проиикала в самую душу. И рождала что-то несравиимое, иеизведаииое.

Сережка приткиулся лбом к нашим лбам, стнснул иас за плечи:

— Дайте и мие, дьяволы!..

Так сндели мы, сгрудившись над говорящим ящиком. И как зачарованные слушалн иежные звукн, рождавшиеся в ием. И было иеобыкиовеиио на душе, будто оиа взлетала ввысь. А перед взором стлались необозрнмые поля с волнующимися хлебами. Возникали яружкн н балки, поросшне лесамн и перелесками. Вставалн дерев-

ни и села с белыми хатами в цветущих садах. Русская земля! И по ней уверенно шагали мы, новые люди. В прошлом бесправные, теперь свободные хозяева своей доли. Те самые голодранцы, не в шутку, а всерьез великие строители новой жизни.

Но вот музыка замерла, и женщина сказала:

— Мы передавали симфонию Чайковского. А сейчас объявляется перерыв...

Я положил наушники рядом с приемником и глянул на ребят. Они молчали, точно все еще вслушиваясь. Потом Сережка мечтательно сказал:

— Си-им-фо-ни-ия!

А Володька вдруг обнял ящик, как ребенка, и проникновенно заговорил:

— Ах ты ж, наш дорогой! Да откуда ж ты к нам пожаловал? Да мы с тобой теперь такие дела будем делать!..

Я разомкнул Володькины руки и подтянул детектор к себе.

— Осторожно. А то и поломать недолго. Он хоть и говорящий, а не пожалуется...

* * *

Новость с быстротой ветра разнеслась по селу. И Знаменка загомонила, затараторила на все голоса:

— Слыхали, комса балакающую коробку раздобыла?

— Бают, такое чудо, что и церковному нос утрет!

— Нечистая сила в той коробке на все лады разоряется!

— Нет, что ни толкуй, а здорово! Москва, она же вон где! А выходит, будто рядом!

— Окститесь, окаянные! Страшный суд наступает! Антихрист уже сошел на землю!

— Вот теперича жизня будет! Такая жизня, что и помирать не захочется!

— Одним словом, радиво!..

И любопытные повалили в сельсовет. Одни — с затаенной радостью, предчувствуя великое. Другие — с недоверием, страшась неизвестности. Но мы встречали всех.

— Милости просим на радиосеанс!

— Добро пожаловать к нашей культуре!

Когда набралось много народу, я решил произнести речь.

— Видите эту штуковину? — спросил я, поднимая ящик и поводя им, чтобы всем было видно.— Это радиоприемник. Называется детектор. Почему так называется? А леший его знает. Только суть не в названии. Суть в том, что говорят в Москве, а в Знаменке слышно.

— Как же это? — поинтересовался Яшка Поляков, застенчиво улыбаясь.

— А очень даже просто,— пояснил Семка Сударик ков; он только что вернулся из города, где ему вырезали слепую кишку, и теперь выглядел еще более худосочным и длинным.— Как по телефону. Слова снуют по проволоке, как молния.

— А ты что же, никак разговаривал по телефону? — съехидничал Петька Душин.

— Не разговаривал, а слышал,— уверенно ответил Семка.— На роговатовском тракте, известно, столбы бегут. А по ним — проволока. Вот я один раз решился. Сбросил чеботы — и на столб. Взобрался до стеклянной чашечки — и ухом к проволоке.

— И подслушал? — не унимался Петька Душин.

— Подслушал,— соврал Семка не моргнув глазом.— Все до словечка. Кубыть сам был там. Как чичас с вами.

— А что подслушал-то? — спросил Яшка Поляков.— Какую новость?

— Разные были новости,— отмахнулся Семка.— Два ответработника резались. Ууу, здорово! Аж до потасовки. Один как даст другому...

— Постой, постой,— вмешался Володька Бардин.— Как же до потасовки? Один — на одном конце провода, другой — на другом. Может, за сто верст? Руки у них, что ли, такие длинные?

Ребята смеялись дружно и весело. Заврался-таки Сударик. Споткнулся и носом запахал. А Петька Душин, когда смех погас, снисходительно заметил:

— На тракте — проволока. А тут что? Тут она вон тока до амбара. А дальше — пустота. К чему ж ухом прикладываться?

Совсем сконфуженный Семка не нашелся что ответить. И с кислой миной уселся на подоконнике. А я,

вспомнив, как в романе «Тайна пятнадцати» Земля связывалась с Марсом по радио, заявил:

— Телефон и радио — разные вещи. По телефону разговор ведется по проволоке, а радио передает по волнам. Есть такие в воздухе. Они так и называются — радиоволны. На радиостанции их начиняют словами и звуками и пускают во все стороны. Они летят и, встретившись с антенной, садятся на нее. А уж по ней — в приемник.

Яшка Поляков подскочил к проводу, тянувшемуся из оконной форточки к детектору, ухом приложился к нему и объявил:

— Ни шиша!

— От проволоки ничего не услышишь,— пояснил я, переждав смех.— Тут Семка перехватил через край. Чтобы слова зазвучали, и нужен приемник. Он озвучивает и передает в наушники.

— Ты говоришь, слова летят по проволоке,— заметил Петька Душин, в усмешке скривив губы.— А чего ж мы не видим этого?

— А ты видишь сейчас мои слова? — в свою очередь спросил я, испытывая желание сбить спесь с Петьки.— Вот я говорю с тобой. И мои слова летят к тебе. Так что ж, ты видишь их?

— А они и не летят ко мне, твои слова,— отрезал Петька.— Нечего им летать, раз я их и так слышу.

— А ну-ка, кто-нибудь заткните ему уши,— попросил Володька Бардин.— Да хорошенько. Пускай потом скажет, что слышал.

К Петьке подскочил Яшка Поляков, ладонями зажал ему уши.

— Готов!

— Слушай же, задавала и фармазон,— негромко произнес Володька Бардин.— Игра твоя не доведет тебя до добра. Скоро мы возьмемся за тебя. И зададим такого перцу, что век будет горько.— Он кивнул Яшке, и тот отнял ладони.— И что ж ты слышал?

— А ничего,— ответил Петька, озираясь на хохочущих ребят.— Уши-то были закупорены.

— В том-то все и дело,— сказал Володька.— Уши были закупорены, и слова мои в них не залетали. Долетали до Яшкиных ладошек и рассыпались. Значит, слова

летают. А только мы их не видим. Так не видим и радиоволны.

Володька говорил уверенно, как ученый. Он, как и я, дважды прочитал книгу о полете на Марс. Теперь эта книга вместе с другими отчимовскими книгами стояла в шкафу. Но ребята смотрели на Володьку без веры.

— Ладно,— сказал Яшка Поляков.— Все одно непонятно. А потому хватит болтовни. Давай-ка лучше показывай...

Я не заставил себя упрашивать. Надел наушинки и принялся настраивать приемник. Вытянув шеи, ребята жадно следили за мной. Но они уже не беспокоили. И недоверие сменялось любопытством.

В уши хлынули слаженные голоса. Хор пел про Ермака, покорителя Сибири. Песню эту часто напевали и мы. Только теперь она звучала могучее, будто пело само вольное войско.

Сняв наушинки, я позвал Яшку Полякова:

— Садись...

Яшка слушал серьезно. Широко раскрытые глаза не мигали. Губы часто вздрагивали. Казалось, вот-вот по ним пробежит улыбка. Но Яшка так и не улыбнулся. Торопливо стащив наушники, он посмотрел на них, потом на приемник и проникновенно сказал:

— Как распевают! И прямо тута!..

Семка Судариков слушал долго. Я пробовал прервать его, но он всякий раз отмахивался:

— Чичас... Ишо каплю.

Когда же песня кончилась, сам снял наушники и весь расцвел в улыбке.

— «Черного ворона» пели...— И медленно покачал головой: — А как тянули! Нам так не потянуть!..

За стол уселся Петька Душин. Сдвинув на затылок барашковую шапку, он расправил клапаны накладных карманов френча, зачем-то подул на наушники, словно сдувая пыль, небрежно надел их. И сразу же замер, полузакрыв глаза, точно отчалил в другой мир. Даже не заметил, как шапка сорвалась с крутого затылка и упала на пол. И тоже слушал долго. А когда я снял с него наушинки, встрепенулся. И, входя в обычную роль, сморщился:

— Ничего особого... Про Марусю-трактористку под баян... А вопче...

Потом подходили другие. Тихо усаживались за стол и слушали. Слушали спокойно и растерянно, с удивлением и восторгом. А поднимаясь из-за стола, коротко выражали чувства:

— Вот это да!

— Аж поджилки трясутся!

— И додумаются же люди!..

Среди ребят я увидел Мнню Лапонина. Прыщ появился незаметно и держался позади, выглядывая из-за плеч других. Мне захотелось выпроводить кулацкого отпрыска. Но сделать это было не просто. Нельзя же без всякой причины взять за рукав и вывести. Разгорлопанится, что и рад не будешь. Да и ребята могут возроптать. Пришлось смириться. Ничего не поделаешь. Гражданских прав не лишен.

Неожиданно вошли отчим и Иван Иванович. Остановились в стороне и зашептались. Я позвал их. Они подошли робко, смущенно присели на скамью.

— Прослышали и завернули,— оправдывался отчим.— Больно занятно. Прямо не верится...

Первым я надел наушники отчиму. Он сразу напрягся, будто радиоволны побежали и по его нервам. Но скоро лицо его округлилось, а впалые глаза заблестели. Сам того не замечая, он согласно кивал головой. Один раз даже довольно хихикнул и погладил усы. А когда снял наушники, с сожалением заметил:

— И что это у тебя их одна пара? Хоть бы дюжинку заимел. Народ гуртом мог бы приобщиться...

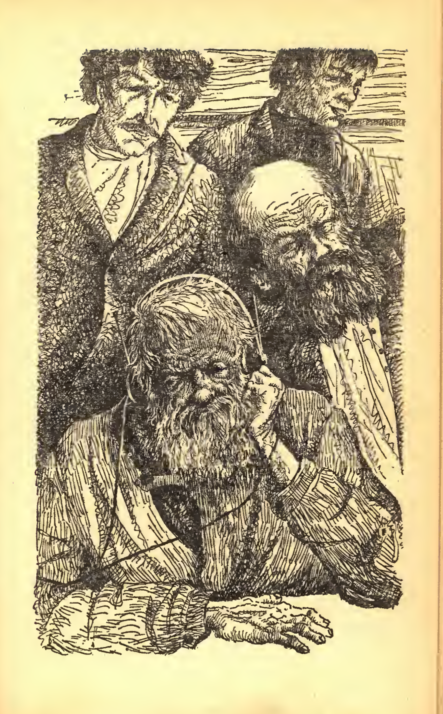
А Иван Иванович слушал настороженно, недоверчиво. И выглядел ершистым, задиристым. Так и казалось, вот сейчас вскочит и забунтует. И опасения мои оправдались. Внезапно он стукнул кулаком по столу и гневно крикнул:

— Нет, брешешь, милок! Не такие уж мы простаки. Понимаем, что к чему...

Я сорвал с него наушники. Сосед мог ляпнуть что угодно. Он вспыхивал, как порох от искры. Я приложился к наушнику. Что рассердило старика? Передавали о деревне. Она становилась на социалистический путь. Бедняки создавали кооперативы, освобождались от кулацкой зависимости.

А Иван Иванович продолжал кипятиться:

— Сидит там, ядрена мать, и несет чушь. Середняки



колебались в революцию... Да нешто это правда? В Знаменке и бедняки и середняки — все вместе громили помещика. И с бандами дрались без колебаний. А он, умник, такое куролесит!

— Будет тебе, Иваныч,— сказал отчим, обнимая соседа.— Утихомирься. Ты слышал середку. А поначалу говорилось другое.

— А надоть, чтобы не только начало, а и середка была правильная,— не унимался Иван Иванович.— Мы за советскую власть горой. И бедняки и середняки. Вот так-то. И нечего наводить тень на плетень...

Отчим взял разбушевавшегося деда Редьку и увлек к выходу. А мы продолжали показывать наше чудо, по очереди усаживая к детектору любопытных. И с радостью замечали, как люди, преодолевая растерянность, проникались к нам доверием.

Уже поздно ночью, когда все желающие посидели у приемника, а мы еле держались на ногах от усталости, к столу вдруг приблизился Миня.

— А ну, дай-ка и мне,— потребовал он, опускаясь на скамью.— Хочу тоже послушать. Что оно и как?..

И протянул руку к наушникам. Но я раньше подхватил их и объявил:

— Шабаш! Перерыв до утра.— И выключил антенну.— А что до тебя, Миня... Ищи-ка ты для прогулок подальше переулок. А мы тебе не товарищи. Ясно?

Миня закусил толстую губу, удерживая ругательство, кольнул меня злобным взглядом и, не ответив, нехотя вышел.

* * *

На другой день я помчался в сельсовет чуть ли не с рассветом. А взбудоражил меня и выбросил из теплой хаты странный сон. Иду я будто бы по залитой солнцем улице и вижу, как со всех сторон слетаются птицы. Но не простые какие-то, а птицы-радиоволны. И начинают эти птицы клевать меня. Я отбиваюсь всеми силами, но ничего не помогает. Тогда я со всех ног бросаюсь наутек. А птицы-волны летят следом и клюют меня куда попало.

Но вот вижу я перед собой большой ящик. А на ящике надпись: «детектор». Я влезаю в ящик и закрываюсь крышкой. И слышу, как птицы говорят:

— Вот и хорошо. Сам забрался. Берись за углы и поднимай. И взлетай выше, чтобы лучше разбился...

И ящик поднимается вверх. Все выше и выше. Сквозь расщелины в досках видны тучи. Потом — голубое небо. И яркое солнце. А птицы говорят:

— Хватит. Дальше некуда. Бросай. Разобьется в лепешку...

И отлетают в стороны. А ящик вдруг устремляется не на землю, а к солнцу. И летит со свистом, как снаряд. Все дальше и дальше. И вот его весь охватывает пламя. Оно сжигает стенки, дно, крышку. И уже один я, без ящика, лечу прямо на расплавленное светило. Тело обжигает огонь, душа наполняется тяжестью. Я просыпаюсь и обнаруживаю себя на печке рядом с посвистывающим Денисом. Спину палят раскаленные кирпичи, а едкий дым перехватывает дыхание. Я сползаю вниз и вижу на кухне мать. Она виновато улыбается:

— Нынче у меня хлебы. Вот пораньше и затопила. И напустила дыму...

Мне хочется рассказать сон. Мать умеет отгадывать их. Но я подавляю это желание. Комсомольцы не верят в сны. А я еще и кандидат партии.

«Неужели украли детектор? — с тревогой думаю я, подгоняя собственные ноги.— Мы же надежно спрятали его. А может, надо было забрать домой?»

Но детектор оказался на месте. Я прижимаю его к груди, целую в стеклянную трубку.

— Ах ты ж, дружище! — радостно смеюсь я.— Знал бы ты, как я перетрусил. Думал, что ты погорел безвозвратно. Ну, то есть что тебя утащили. Сон, понимаешь, такой привиделся. Даже сам невера поверил бы...

Поставив приемник на стол, я включил антенну. Вот сейчас заговорит Москва. И польется в нашу глухомань музыка. Симфония. Более всего хотелось услышать ее. И я принялся настраивать детектор. Долго тыкался в кристалл иголкой. Но все бесполезно. Приемник молчал как мертвый. В ушах только шуршало да потрескивало. Ни человеческого голоса, ни музыки. Будто этого никогда и не было. Что же случилось? Неужели он все-таки побывал в чужих руках?

Я принялся осматривать ящик. На задней стенке увидел два шурупа. Один показался не до конца завернутым. Так оно и есть. Кто-то проник внутрь и напортил.

Карманным ножиком я отвернул шурупы, осторожно снял дощечку. Ну, конечно, какой-то гад побывал тут! Вон как перепутаны проволочки! Я начал усердно выпрямлять их. Они охотно поддавались, словно были живыми. Откуда-то выпала пластинка. А вот откуда? Где ее место? Скорее всего, она тут случайно. А может, подложена с какой-то целью? И этот шпенек почему-то отскочил. Может, тоже лишний? Или подложен?

Едва я снова привернул дощечку, как в комнату ввалился Сережка Клоков. На ходу сбросив пиджак, он подсел к столу и, сняя глазами, спросил:

— И как он, наш друг?

— А вот сейчас попробуем,— ответил я, надевая наушники.— Должен балакать...

Но на этот раз детектор даже не шуршал. Казалось, он совсем испустил дух. Все мои старания ни к чему не привели. Ни к чему не привели и Сережкины старания. Мы долго смотрели на безжизненный ящик. Потом с отчаянием глянули друг на друга.

— Может, нутро испортилось? — спросил Сережка.— Как-нибудь само собой?

— Смотрел,— безнадежно махнул я.— Все поправил. Полный порядок навел...

Вошел Володька Бардин. На лице тоже тоска. Будто и ему уже известна кончина нашего агитатора.

— Молчит? — спросил он, тяжело опускаясь на скамью.

— Молчит,— удрученно подтвердил я.— Как воды в рот набрал.

— Значит, контра поработала?

— Поработала,— согласился я.— Только непонятно, как она могла?

— Что ж тут непонятного? — возразил Володька.— Слегу — набок. Кусачками — провод.

— Какую слегу? — спросил Сережка.— Какими кусачками?

Володька глянул на Сережку как на очумелого.

— Как это какую? А антенна-то где? Она же тю-тю! Один хвостик на крыше болтается...

Забыв одеться, я вылетел на улицу. Антенны не было. Действительно, на крыше болтался провод, зацепленный за печную трубу. А отвод антенны отжеван у самой фор-

точки. Слега же валялась возле амбара. Ночной снег запорошил все следы.

— Вражина,— сказал Сережка, выбежавший следом.— К ногтю бы такого. Как гниду...

Володька и Сережка отправились собирать ребят. А я вернулся в сельсовет и снова открыл детектор. Неспроста перестал он шуршать и потрескивать. Вывихнул я ему нутро. И теперь, как видно, ничто не поможет. Как же быть? Признаться и покаяться перед товарищами? А может, все-таки ничего с ним не сделалось? И он заговорит, если будет антенна?

* * *

Конечно, больше всех досталось мне. Как мог я проявить беспечность? Неужели ж мне не известно, что враг только и ждет случая? Разве нельзя было сделать так, чтобы убирать антенну на ночь?

Но мало-помалу страсти улеглись. Стали думать, как поправить дело. А поправить дело оказалось нелегко. А вернее, просто невозможно. Где взять проволоку? Такую не то чтобы в селе, в районе не раздобыть.

— А веревочкой нельзя заменить? — робко спросил Андрюшка Лисицын.— Я б такую свил! Не хуже проволоки!

— По веревочке слова не пойдут,— вздохнул Сережка Клоков.— В пеньке застрянут. А ежели бы веревка пришлась, свой бы телефон соорудили. Опутали бы хаты веревочками, и болтай себе сколько хочешь.

— На роговатовский бы тракт податься,— цокнул языком Митька Ганичев.— Там проволоки!.. Один бы пролетик чиркнуть. Понятно, трудно забраться на столб. Зима все ж таки. В валенках или сапогах не вскарабкаться. А только это ерунда. Можно и разуться. А проволока потолще этой будет. Даже лучше примет радио...

Ребята с удивлением уставились на Митьку. А Илюшка Цыганков вкрадчиво спросил:

— Ты это серьезно, Мить?

Митька беспокойно заерзал на скамье.

— Не то чтоб серьезно, а между прочим. Как говорится, думка не сумка. Даже самая тяжелая ничего не

весит. Вот я и соображаю. Может, смотаться ночью? Вдвоем с кем-нибудь? С тем, кто швыдко на дерево взбирается? И сразу на два столба. И кусачками — по стекляшки.

— А как же телефон? — спросил Гришка Орчиков.— Разговор-то оборвется?

— Понятно, оборвется,— согласился Митька.— Но до утра. Утром обнаружится и поправится. Мы можем срезать поближе к райцентру. А что? — пугливо оглянул он нас.— Разве ж она не портится, линия? В пургу и бурю? А ветер, он, бывает, даже столбы валит...

Митька говорил полушепотом, точно боясь, как бы кто не подслушал. Глаза его горели, ноздри раздувались. Да, он легко обделал бы это дело. И проволока вполне заменила бы антенну. Побежали бы по ней слова и звуки. И мы опять стали бы удивлять односельчан чудом. И не каким-то колдовским, а взаправдашним... Так думал я. Это можно было прочитать и на лицах ребят. Но в глазах у них металось и мое беспокойство. А что будет с телефоном? Когда и как исправят его? Сколько времени пройдет, пока разговор возобновится?

— Ну как? — снова заговорил Митька воровским полушепотом.— Решимся?

— Да ты что? — спросил Володька Бардин.— Свихнулся? Как же это можно разорить линию? Да это похлестче, чем украсть антенну.

— Я ж не красть,— оправдывался Митька.— А одолжить. Один пролетик. А то ж погибнет радио. Некоторые хоть трохи послушали. А я даже не приложился. Да и для народа польза. Через радио люди куда скорей окультурятся...

— Слушай,— остановил его Илюшка Цыганков.— Я вижу: свая не пошла тебе впрок. И ничему не научила. Жалко, что она стукнула тебя по ноге. А надо бы по башке...

Илюшка говорил сердито, даже зло. Выглядел он каким-то напряженным, точно собирался драться. На руках бугрились мускулы. Откуда они? Откуда эта собранность и подтянутость? Как здорово изменился он за последнее время!

— Прекратим этот разговор,— сказал Прошка Архипов.— Это просто недостойно комсомола. Мы ж не разбойники какие, чтобы по ночам выходить на дорогу...—

Он повернулся ко мне и насупил брови: — Надо идти в райком и просить помощи. Вот так. И придется шагать тебе самому. Ты и секретарь и виновник. А потому с тебя и спрос...

Да, я был главным виновником. И больше, чем они, винил себя. Без труда можно было соорудить съемную антенну. А во время радиопередач устраивать дежурства под ней. Все можно было сделать. И помешала этому не беспечность. Нет. В беспечности ни меня, ни кого-либо из них упрекнуть нельзя. Простодушие и доверчивость — вот причина того, что случилось. Мы считали кулаков своими врагами, вели с ними борьбу. Но боролись открыто, честно. Они же, как видно, не гнушались никакими средствами. Вплоть до самых гнусных и подлых.

— Прошка прав, я виноват во всем,— сказал я, загораясь желанием раскрыть душу.— И вы правильно ругали меня. Стоит. Проморгал. Да что проморгал. Разиней оказался. Но все же... Урок этот не для одного меня. Он для всех нас. Отныне надо знать: враг способен на все. На любую подлость. И сделать из этого выводы. Для работы и жизни. Да, жить надо по-другому. Честно, правдиво, преданно. И дороже жизни беречь свободу, советскую власть, свое государство. И к выбиху товарища Ганичева подойти с этих позиций. Да, это политический выбих. И говорит он о нашей незрелости. Отсюда задача: повышать политическую зрелость, идейно закалять себя. И делать это надо постоянно, каждый день, каждый час. Только при этом условии мы сможем разгадывать коварные замыслы врагов, вовремя отражать их удары.

Речь моя была выслушана с глубоким вниманием. А когда я кончил, Прошка Архипов порывисто встал и протянул мне руку.

— Клянемся не распускать нюни! — воскликнул он, сильно сжимая мою ладонь.— И все силы отдавать борьбе с врагами!..

На наши руки легла рука Володьки Бардина.

— Клянемся!..

Потом присоединил свою руку Сережка Клоков. Потом — Илюшка Цыганков, Гришка Орчиков, Андрюшка Лисицын, Митька Ганичев. И каждый твердо произносил:

— Клянемся!..

* * *

Симонова в райцентре не оказалось. Техсекретарша райкома сказала, что он обещал к вечеру вернуться из Роговатого.

От нечего делать я забрел в раймаг. И, к своему удивлению, увидел там новенькую балалайку. В Знаменке играли на самодельных. А эта была фабричная. Она сверкала гладким лаком, блестела серебряными ладами. А кроме балалайки, на полке лежали струны. И как же их много, этих струн! Я держал балалайку в руках и чувствовал, как дрожат они. Просто невероятно! Фабричная балалайка! Вместо противных колышков, которые то и дело надо слюнявить, чтобы не прокручивались, костяные закрутки с металлическими колесиками и валиками. Я легонько тронул струны. Они забренчали вразнобой. Я настроил их, поставил на место «кобылку». Теперь балалайка заиграла звонко и напевно. Но стоила она дорого. Со мной были селькресткомовские деньги. Я захватил их на всякий случай. Никогда мне не приходилось занимать на личные нужды. Но тут особое дело. К тому же балалайка нужна не только для личной забавы, а и для общей культуры.

«Как-нибудь рассчитаюсь,— думал я, выходя из раймага с балалайкой и почти полным карманом струн.— В долгу не останусь».

Зимний день короток, и вечер наступил быстро. А Симонова все не было. Техсекретарша посоветовала подождать в его комнате и отдала ключ. Я зажег висячую лампу и устроился на деревянном диване. Хотелось со всей силой ударить по струнам. Но я еле перебирал их. В соседних комнатах трудились люди, и нельзя было мешать. А балалайка пела ладно и нежно. И душа моя пела ладно и нежно. Теперь мы создадим целый оркестр. И в центре оркестра будет фабричная, сверкающая и блестящая балалайка. И пусть тогда Ванька Колупаев задается сколько хочет.

А Симонов все не появлялся. Какие-то юнцы без конца заглядывали в комнату, спрашивали его и с досадой скрывались за дверью. Я же продолжал сидеть на диване и улыбался. А самому уже было не до улыбок. На дворе вовсю хозяйничала ночь. Очень хотелось есть. Можно было бы сбегать в чайную. Но на это уже не было

денег. И я терпел, прислушиваясь к урчанию в животе. И с опаской поглядывал на мутнеющее окно. Никогда мне не приходилось так поздно возвращаться из райцентра. Какой же дорогой лучше пойти? Стежкой между оврагом и болотом? Или проезжим трактом через поле? Первый путь короче, но страшнее. Через поле — много дальше. Зато там далеко видно. Только бы не разыгралась пурга.

Симонов ввалился чуть ли не в полночь. Сбросив тулуп, с удивлением уставился на меня:

— Это из какой же пушки тебя выстрелило?

Я рассказал, ради чего явился. Симонов сразу посерьезнел.

— Та-ак,— протянул он.— Враг не сидит сложа руки. И на активные меры отвечает контрмерами. Диалектика...— Он прошелся по комнате, потирая замерзшие руки.— А запасной антенны нет. И взять ее негде. Дефицит...— Он постучал пальцем по моему детектору.— А его зачем приволок?

Уши мои запылали жаром.

— Да что-то плохо работает...

Симонов поставил приемник на стол, достал из-за шкафа провод и включил его. Надев наушники, он принялся тыкать иголкой в кристалл.

— Гм... Не подает признаков жизни...— Он достал из ящика стола свой детектор, переключил в него антенну и улыбнулся: — Антенна на месте. А я уж думал, и нашу сперли... Значит, дело не в антенне. Барахлит сам приемник...

Сняв наушники, он долго смотрел на мой детектор. Впервые я видел его нерешительным. А мне-то казалось, ему все нипочем. Выходит, между нами небольшая разница.

— Жалко, нечем открыть,— сказал Симонов, переворачивая ящик.— Посмотреть бы, что там...

Я протянул карманный ножик. Симонов отвернул шурупы, отнял заднюю крышку. Глаза его округлились, будто он увидел что-то диковинное.

— Минуточку... Что-то не то...— Он открыл и свой детектор.— Так и знал... Они не только сняли антенну, а и изуродовали приемник. Смотри, как перекорежено...

Но я не двинулся с места. Зачем смотреть, когда и так все видно? Можно было бы подтвердить подозрения

Симонова, но язык не поворачивался. Противио было лгать даже на кулаков. И я призиался, что сам все перекорежил.

— Тоже думал, что залезли. И стал поправлять. И поправил...

Симонов взглянул иа меия так, как будто увндел впервые. Раскрыл рот, чтобы выругаться, но тут же захлопнул его. И запустил пятерию в свон густые, пышные волосы.

— М-да... Ремонтер из тебя получнлся аховый... Ладно,— смягчнлся он, заметнв мое отчаянне.— Как-ннбудь переживем...— Он поставнл мой детектор рядом со свонм.— Антенна вам пока что не нужна. А нужна бдительность. И аккуратность...— Он взглянул иа часы, поддев ремешок большим пальцем.— Ух ты! Уже совсем поздно. Где ночевать думаешь? У родственинков?

У меия не было родствеииников в райцеитре. Симонов иаброснл тулуп на плечн.

— Пошли ко мне. Я тут иедалеко коиуру ареидую. Тесно и неуютно. Но как-ннбудь переваляемся.

Я отказался. Утром надо быть в кресткоме. Не уговорнл меня Симоиов н сходнть в чайную, хотя в желудке моем скребли кошкн. Я взял балалайку, стоявшую за днваном, и направился к выходу. Но Симонов задержал меня. И попросил сыграть что-ннбудь.

— Что самому любо...

Я сыграл «Страдания». Снмонов порывисто сжал мон плечн:

— Спасибо, Федя. Очень рад за тебя...

* * *

На окраине, где дорога выбрасывается в степь, мы простилнсь. Симонов крепко пожал мне руку н посоветовал не трусить. Но я трусил самым постыдным образом. Оставшись одни, я почувствовал себя беспомощным н жалкнм. А валенки иа ногах чересчур растоптаиными, чтобы одним духом перемахнуть поле. В такнх скороходах не разбежншься. А боснком бежать в такую даль по сиегу еще ие приходилось.

Подбадривая себя, я принялся громко иапевать. Смотрите, злые духи, мие все равно. Я иикого и иичего

не боюсь. И ходьба эта для меня все одно что прогулка. Такая прогулка, какую я совершаю с охотой.

И ночь словно бы расступилась в удивлении. Даже звезды повылезали на небе. И с восторгом уставились на шагающего по земле смельчака. Они казались добрыми фонариками, освещавшими путь в безлюдной, полутемной степи.

Но вот перепеты все песни. Усталость разливается по телу. Оказывается, песня не только укрепляет смелость, а и утомляет. Но если нельзя петь, чтобы не задыхаться, то надо думать. О чем же? Конечно же о новой жизни. О том, какой она будет. Какой же? Точно этого пока никто не знает. Но, в общем, все уже известно. Она будет хорошей. Даже счастливой. Не станет богатых и бедных. Все люди будут равными. Исчезнут невежество и бескультурье. Попы перестанут обманывать народ. Да и некого будет обманывать. Люди станут грамотными и сознательными. На полях появятся машины. Где-то уже бороздят степь тракторы. Прибудут они и на наши угодья. А за тракторами пожалуют и другие машины: самокоски и самовязки всякие. Не придется тогда нам гнуть спину и обливаться по́том. И хлеб насущный не будет для нас таким горьким и соленым от пота.

Впереди справа возникают темные точки. Или это кажется? Нет, не кажется. Точки движутся поперек поля. Одна за другой. Волки? Да, волки. Целый выводок. Раз, два, три, четыре. Целых четыре. Я останавливаюсь, замираю на месте. Скрыться? А куда? В поле как на ладони.

А волки уже у дороги. Сейчас пересекут ее и помчатся к лесу. Тогда я сброшу валенки и дам ходу. А пока стоять и не шевелиться. Пусть думают: не человек, а столб какой-то.

Но волки не пересекают дорогу. Выбежав на нее, они устремляются ко мне. Что делать? Бежать? Но разве от волка убежишь? Вступить в схватку? А с чем? С балалайкой и карманным ножиком? Да еще против целой своры? Ледяная дрожь пронизывает меня. Неделю назад где-то здесь волки вытащили мужика из розвальней и растерзали. Может, это та же стая?

А звери — уже рядом. Останавливаются в двух шагах. И рычат. А я смотрю на них и стучу зубами. Что же будет? Чем кончится встреча? А может, это опять сон?

Я до боли кусаю губу. Нет, не сон. Страшная явь. Вон как скалят они клыки. Как сверкают зелеными глазами. А рык все громче и свирепее. Злятся, что не падаю перед ними. Но я не хочу умирать. Не хочу. Я буду бороться. Всеми силами. До последнего вздоха.

Становится дурно. К горлу подступает тошнота. Тело странно немеет. Колени подламываются. Сейчас я упаду. И тогда все будет кончено. Балалайка выскальзывает из рук. Бренчат струны. Волки пятятся назад. Чего испугались? Стука или звона? Я подхватываю балалайку и дергаю за струны. Волки снова откатываются. Вот оно что! Музыка действует. Я вскидываю балалайку и начинаю играть. В ночной степи льются ладные звуки. Волки пятятся дальше и дальше. Потом вдруг расступаются, садятся по два на обочинах и, задрав оскаленные морды, воют. А я медленно иду между ними и наигрываю «Барыню». Шагаю с таким видом, будто мне нет до них никакого дела. Но когда волки остаются позади, еле удерживаю ноги. Нет, нет! Идти шагом. И играть. Играть без конца. Только в этом спасение.

Я шагаю по дороге и старательно бью по струнам. А волки всей сворой следуют за мной. И в четыре глотки истошно воют. До каких пор они будут сопровождать меня? Скоро ли кончится концерт? И чем кончится? Не надоест ли им музыка? И хватит ли у меня сил играть долго? Пальцы уже начинают коченеть и с трудом перебирают струны. А дороге не видно конца. Что же будет, когда оборвется музыка? Не обрадуются ли звери? И не набросятся ли?

Я прибавляю шагу. Уйти бы, оторваться. И хоть немного подышать на озябшие руки. Но волки не отстают. Они движутся по пятам. И воют гнусаво, жутко, дико. Я теряю представление о времени. И не чувствую самого себя, словно растворяюсь в ночи. И весь превращаюсь в слух. А он до самых краев полнится воем. И только нестерпимый вой звенит в ушах, раздирает барабанные перепонки.

Но вот дорога ложится под уклон. Впереди — балка. А в балке — село. Неужели волки пойду и дальше? Я прислушиваюсь и замечаю: вой отдаляется. Скоро он и совсем затихает. Хочется оглянуться, чтобы передохнуть, успокоиться. Но страх подавляет желание. Вдруг зверюги втихомолку следуют за мной? И набросятся, ко-

да увидят на лице ужас. И я продолжаю идти и играть, еле перебирая замерзшими пальцами. И как же долог этот путь!

А в балке дорога и совсем разбита. Часто ее пересекают снежные валы и рытвины. Да и ночь в логу плотнее. Серый сумрак смешивается с туманом. И все же я не сбавляю хода. И, спотыкаясь, не перестаю играть. А волки будто крадутся за мной. И ждут, когда замолкнет балалайка. А только не дождутся, поганые. Никогда не дождутся!

А вот и улица. Она в глубоком снегу. И в таком же глубоком сне. Не видно ни одного огонька, не слышно ни малейшего звука. И все же люди рядом. И душа возвращается на место. Я заставляю себя обернуться. А потом долго стою посреди дороги, тяжело дыша и размазывая слезы по лицу.

* * *

Зимой в Знаменке принято устраивать посиделки. Девчата снимают хату. Она должна быть просторной и стоять на бойком месте. Плата сходная — керосин и топливо. А веселья — хоть отбавляй. Хороводы, игры, пляски. Плясать приходится под гребенку. Между зубьями гребенки вставляется лист бумаги. Чем тоньше, тем звонче. Девчонка или парень прикладывается к листу губами и наигрывает что душе угодно: «Страдания», польку, «Барыню». Даже перед вальсом не пасуют. И гребенка звенит, как диковинный инструмент. А что же делать? Ванька-то Колупаев со своей гармошкой бывает не на всех посиделках. Да и не задерживается, если и заглянет. Попиликает минуту-две и смотается. Дескать, другие тоже ждут не дождутся. Мало радости от такой музыки. А тут еще лихая компания, увивающаяся за гармонистом. Дема и Миня Лапонины, Петька Душин и прочие задавалы. Они кривляются, матерщинничают. И, что хуже всего, хлещут девчат ремнями. Ни за что ни про что. Отказалась плясать — и засвистел ремень. И свистит, пока из девичьих глаз не посыплются слезы.

Мы горячо обсуждали проблему посиделок. Володька Бардин и я предлагали ради связи с молодежью не чураться их. Другие ребята колебались. Хотелось веселья, но пугали насмешки. А Прошка Архипов и Илюшка Цы-

ганков с пеной у рта доказывали, что посиделки — страшный пережиток. По этой причине снизойти до них значило совершить грехопадение, какому нет оправдания. В конце концов победа досталась нм, Илюшке и Прошке. Большинством ячейка запретила комсомольцам бывать на посиделках, их объявили очагами старины и бескультурья.

И вот мы, как отшельники, чахли в сельсоветской комнате. Штудировали газеты, читали разные книжки, спорили о социализме, о котором понятия не имели. И конечно, скучали. Коротать вечера приходилось без девчат. А какое же веселье без девчонок? Они же наотрез отказывались идти к нам. Никакие уговоры и посулы не помогали.

Но вот появились струны, и все изменилось. Впрочем, не одни только струны, а и фабричная балалайка. Та самая, которая так неожиданно выручила меня в ночной степи. Андрюшка Лисицын и Гришка Орчиков принесли и свои самодельные, но голосистые. На каждую навесили по шести струн. И зазвенели они, три балалайки, как оркестр. Куда там старой колупаевской гармозе!

Несколько дней на здании сельсовета красовалось объявление, намалеванное крупными буквами. Но на «Вечер дружбы» явилось лишь трое девчат и двое парней — Леика Светогорова с подружками и Яшка Поляков с Семкой Сударниковым. Не густо, а даже пусто. За многотрудную подготовку — и такая скромная плата. И все же мы радовались. Лед тронулся. Заговор равнодушия нарушен. Завтра эти девчонки и ребята разнесут молву о том, как хорошо было в сельсовете. И другие не устоят. Потому-то мы, сил не жалея, развлекали первых гостей. Мы кружили девчат в вальсе, с ребятами выбивали чечетку. И старания наши не пропали даром. Надежды оправдались с избытком. На другой день пришло вдвое больше ребят. На третий — втрое. А на четвертый мы и считать перестали.

Но и после этого приходилось трудиться до седьмого пота. Мы попеременно играли на балалайках, носились с девчонками в танцах, не скупились на рассказы и шутки. Так от вечера к вечеру. Ребята валили в сельсовет чуть ли не с заходом солнца. Теперь что-то неудержимо тянуло их к нам. Может, звонкие балалайки? Или деревянный пол? На нем не то что на земляном — легко вы-

стукивать каблуками. А может, покоряло разнообразие? В перерывах между танцами Сережка Клоков декламировал стихи, Андрюшка Лисицын показывал остроумные фокусы, а Володька Бардин организовывал массовые игры. Правда, игры были без поцелуев. Ребята называли их постными. Но желающих участвовать в таких играх хватало. И проходили они весело, с шутками и смехом.

По вопросу о поцелуях в ячейке тоже были жаркие споры. На этот раз победили мы с Володькой Бардиным. Мы заклеймили такие игры как старорежимные и вредоносные. Да и как это можно целоваться в сельсовете? На посиделках еще куда ни шло... Но в сельсовете?.. Нет, это было бы чересчур! От стыда покраснел бы не только комсомол, а и советская власть...

Но и без поцелуев молодежь развлекалась неплохо. До полуночи звенели балалайки, стучали каблуки, слышались песни. А в полночь приходил конец забавам. Парочками и группами растекались гости по домам. В сельсовете оставались только мы, комсомольцы. И начиналось самое трудное. Из соседней комнаты выносились подогретые возле грубки ведра с водой. С ног сбрасывалась обувка. Штаны закатывались выше колен. И мокрые тряпки начинали плясать по старым, выщербленным половицам. Таково было условие Лобачева.

— Хотите собираться и развлекаться? — сказал он, отвечая на нашу просьбу.— Пожалуйста, ничего не имею против. Только керосин ваш, как и на посиделках. А вместо топлива — пол. Утром пол должен быть как зеркало...

И мы терли его, старый шершавый пол, мыли теплой водой, насухо вытирали суконками. И он в самом деле блестел почти как зеркало. А лбы наши покрывались крупными каплями пота. Но никто не жаловался, не роптал. Каждый знал, что победа не дается без труда.

* * *

Однажды в самый разгар веселья в сельсовет ввалилась ватага подвыпивших молодчиков. Как на самых захолустных посиделках, они принялись кривляться и паясничать. Ванька Колупаев без приглашения уселся на видном месте, оттеснив Андрюшку Лисицына, игравшего

на фабричной балалайке, и рванул поблекшие мехи гармошки. Но сиплый, расстроенный лай ее не вызвал восторга, и круг оставался пустым. Только Миня Лапонин вразнобой затопал хромовыми сапогами и гнусавым голосом запричитал:

Челды, елды, через колды чеколды.
Пил бы, ел бы, не работал никады!..

Мы с тревогой следили за гуляками, не зная, что предпринять. Затевать ссору, а тем более драку в сельсовете не хотелось: легко можно было испортить хороший вечер. Да и скандал не принес бы пользы. Скорей наоборот. По селу поползли бы кривотолки и пересуды. И Лобачев мог закрыть «красные посиделки». Вряд ли он стал бы разбираться, кто прав, а кто виноват. Уговаривать же хулиганов было бесполезно. Уговоры действовали на них так же, как арапник на бешеных собак.

Вдруг Миня рванул Ленку Светогорову на середину круга:

— А ну, Светогориха, поддай жару! А то захочу, враз поколочу!

Ленка брезгливо фыркнула и пошла на место. Миня подскочил к ней, повернул ее к себе и звучно чмокнул в губы.

— Вот тебе, шваль!

Ленка со всего размаха залепила ему оплеуху:

— А вот тебе, мразь!

Кругом одобрительно засмеялись:

— Молодец, Ленка!

— Так ему и надо!

— Не будет слюнявиться!

Побурев от стыда, Миня приблизился к Ленке и принялся расстегивать ремень на френче.

— Сейчас я проучу тебя, зануда!..

Но перед ним встал Сережка Клоков:

— Отставить учебу. Учи себя на печи, а тут лучше помолчи...

Снова смех. Миня повернулся к Сережке, смерил его вызывающим взглядом. Но тем и ограничился. Крепкий комсомолец не девчонка. С ним не так-то просто сладить. А Миня не отличался храбростью. И нападал только на слабых. Да и то исподтишка.

На выручку брату поспешил Дема.

— Сгинь, комса, а то дам по носам! Го-го-го!

Сережку отстранил Илюшка Цыганков. Он спокойно сказал Деме:

— Уноси ноги, живодер! Да поскорей, пока цел.

Дема обалдело выпучил глаза. Его не боятся! Ему угрожают! Вот так диво! Он захохотал так, что огонь замигал в лампе.

— Мотри-ка, пужают! А кто? Голытьба! Хлам и мусор!..

Илюшка вплотную подступил к Деме, сжал кулаки:

— Хватит ломаться, бузотер! Мы не пугаем, а предупреждаем. Убирайся со своей шатией! Не то вынесем на носилках...

Дема хотел было гаркнуть, чтобы голосом потушить лампу, но поперхнулся, словно подавившись собственным гневом.

— Не ты ли вынесешь, Цыган?

— А хоть бы и я.

— Не чуди, пролетарий! А то как бог черепаху...

— А ну, пойдем, друг!

Дема еще пуще выкатил слюдяные глаза:

— Ты это сурьезно?

— Как видишь.

— Один на один?

— Верно понял...

Я с беспокойством смотрел на Илюшку. Что он делает? На что надеется? Вспомнилась схватка в церковной ограде. Тогда Илюшка и Митька вдвоем еле сдерживали Дему. Теперь же он один вызывает громилу. Уж не рехнулся ли парень?

— Гоже! — рыкнул Дема, багровея.— Но допрежь гроб закажи. И с комсой простись...

Илюшка взял Дему за руку и потащил к выходу:

— Пошли, комик! Сейчас сам угодишь в могилу...

Упираясь плечо в плечо, они вышли на улицу. За ними, перебрасываясь шутками, хлынули все. На ходу мы условились разнять драку, как только Илюшка выбьется из сил. На улице нас ничто не связывало. Да и большая часть ребят держала нашу сторону.

Вокруг бойцов сразу же сомкнулось живое кольцо. И со всех сторон посыпались советы и предупреждения:

— Порядок блюди, ребя!

— Дуй на полную и без обману!

— Сзади не нападать!..

Яшка Поляков и Петька Душин бросились притаптывать снег. Ничто не должно мешать бою. Миня снял с брата ватный пиджак. Под ним оказалась куртка с ременными застежками. Илюшка тоже разделся, оставшись в одной рубашке.

— Правильно! — громогласно похвалил Семка Судариков.— А то жара будет!

Илюшка и Дема сошлись в центре круга и насторожились, готовые ринуться друг на друга.

— А ну, вдарь! — великодушно предложил Дема, будто Илюшкин удар должен был доставить удовольствие.— Да не промажь! Больше одного не удастся!..

Еще несколько секунд они стояли один против другого, освещенные звездами. Но вот Илюшка качнулся в одну, потом в другую сторону, словно раскачивая в себе силу, и стремительно ударил Дему в лицо. В ответ раздался многоголосый выкрик:

— Вот это съездил!

— Аж зашатался!

— Дема, дай сдачу, милок!

Подхлестнутый криками, Дема бросился на Илюшку. И остервенело заработал кулачищами. А Илюшка пятился назад по кругу, отбиваясь и увертываясь. Казалось, не будь плотной стены из возбужденных зрителей, он бросился бы наутек. Но так только казалось. Я видел: удары Демы впустую бороздят воздух.

«Так, Илюша,— мысленно подбадривал я его.— Уходи от прямых. Уклоняйся и жди случая. И бей без промаха. Глуши одним ударом...»

И Илюшка будто услышал меня. Как молния, метнулся он на Дему, едва тот остановился перевести дух. И нанес несколько ударов, вызвавших всеобщее ликование.

«Как мексиканец,— с радостью думал я, вспомнив рассказ Джека Лондона.— Сначала закрывался от вихря, потом сам налетел вихрем. Молодец!..»

Тревога отступила, и я с интересом стал наблюдать за поединком. Еще бы! Не простая, а классовая схватка! От ее исхода зависело многое: либо богатеи вволю поиздеваются над нами, либо сами проглотят горькую пилюлю. И я еще жарче подбадривал Илюшку:

«Так, Илюша! Уклоняйся и выматывай! Так. Очень хорошо. Не пропускай момента. И наноси ответ...»

Дема с каждой минутой выдыхался. Удары его становились редкими, а дыхание — тяжелым и прерывистым. Мы видели это и торжествовали. Видел это и Илюшка. И постепенно захватывал инициативу. Наконец пришла пора Демы защищаться. Но он делал это неумело: ведь до сих пор ему не приходилось обороняться. А Илюшка, вдохновляемый нами, атаковал без устали, не оставляя ни одного открытого места. Бил сильно, точно, расчетливо, не давая Деме ни минуты покоя.

Ребята ревели от восторга. Даже девчонки, обычно молча наблюдавшие кулáчки, визжали. Да и как было не визжать! Непобедимого громилу бьют. И кто бьет-то? Илюшка Цыганков. Ничем не приметный парень. И поделом грубияну. Не будет измываться над девчатами.

Внезапно Дема, как мешок с мякиной, рухнул наземь. И вытянулся на снегу, будто испустив дух. Миня бросился к нему и принялся тормошить брата:

— Дем, а Дем! Ну же, вставай! Не кобенься!

А мы окружили Илюшку. Прошка набросил ему на плечи пиджак. Митька заботливо пригладил на голове взмокшие волосы. Ребята поздравляли победителя, похлопывали его по плечу. Но Илюшка ничего не замечал. Он стоял в боксерской стойке и смотрел на еле поднимавшегося Дему. А когда тот наконец встал, шагнул к нему и спросил:

— Сыт или еще хочешь?

Дема не ответил и, пошатываясь, побрел прочь. За ним уныло поплелись дружки. А вдогонку им полетели свист, смех и злое улюлюканье.

* * *

В тот же вечер, когда мы остались в сельсовете, Илюшка рассказал, как все случилось. Вскоре после того как я поведал ребятам о храбром мексиканце, Илюшке пришлось побывать в городе. Вместе с отцом он возил на базар пеньку, чтобы на вырученные деньги подкупить хлеба.

В городе Илюшка зашел в горком комсомола. И признался, что хочет научиться боксу. Он сказал, что стремится к этому не ради забавы, а для борьбы с классовым врагом. Секретарь горкома со вниманием отнесся к просьбе и написал записку с адресом.

В спортивном обществе Илюшку приняли также приветливо. Показали кожаные перчатки и грушу. И подробно объяснили, как надо тренироваться. А на прощание подарили книжку, в которой обо всем рассказывалось просто и ясно.

Вернувшись домой, Илюшка набил песком сумку и подвесил ее в сарае. Потом надел овчинные рукавицы и принялся обрабатывать самодельную грушу. И так с весны до нынешнего боя. Каждый день по нескольку раз. Даже жарким летом не изменял режиму.

— Хотелось, как тот мексиканец,— признавался Илюшка, застенчиво улыбаясь.— Это здорово помогало. Но помогало и другое. Я представлял, что передо мной не сумка с песком, а враг. Сильный, злой, хитрый. И надо было победить этого врага...

Мы смотрели на Илюшку во все глаза. Он казался нам героем. Достойным не только похвалы, а и награды. Но награждать у нас нечем было. И мы отдавали ему дань уважения своим восхищением.

— Все это хорошо,— глубокомысленно изрек Прошка Архипов.— Плохо только, что таился. А у комсомольца не должно быть тайн от ячейки.

Илюшка виновато опустил голову.

— Боялся: смеяться будете. И помешаете тренироваться.

Сидевший рядом с ним Митька Ганичев заглянул дружку в лицо, словно спрашивая у того разрешение на что-то, и с ухмылкой сказал:

— А от меня не таился. Я знал про все. И даже помогал ему... это самое... боксировать...

И он рассказал обо всем. А произошло это так. Както в конце лета Митька зашел к Цыганковым. И, не застав Илью в хате, спросил, где он. Мать сказала, что только что видела сына во дворе. Митька вышел во двор. И принялся разыскивать друга. И нашел его в дальнем сарае. Нашел за таким занятием, которое показалось непостижимым.

Солнечный свет проникал в сарай сквозь многочисленные щели в плетневой стене. В обрезанных подштанниках, сжатыми в кулаки рукавицами Илюшка изо всей силы молотил чем-то набитую сумку, подвешенную на жерди. И при этом топтался босыми ногами, подпрыгивал, качался в стороны. Словно бы совершал какой-то

странный танец. Кожа на его спине сверкала капельками пота. И по этому можно было догадаться, что забава давалась ему нелегко.

Некоторое время Митька с любопытством наблюдал за другом. Потом, когда это надоело, кашлянул. Илюшка быстро повернулся. И испуганно вытаращил на Митьку глаза.

— Ты как тут очутился?

— А очень просто,— объяснил Митька.— Мамка твоя сказала, что ты во дворе. Я пустился искать. И вот нашел.

Илюшка с досады ударил себя по лбу рукавицей.

— Ах ты черт! — выругался он.— Забыл закрыть дверь.— И безнадежно махнул рукой: — Ладно. Раз уж увидел... Тока держи язык за зубами.

— А что ты тут делаешь? — спросил Митька.— Чем таким забавляешься?

Илья нахмурился. Но ответил миролюбиво:

— Это не забава, а бокс.

Митька впервые услышал это слово. И попросил рассказать, что оно значит.

— Бокс — это спорт,— объяснил Илюшка.— Драка по правилам. И не голыми кулаками, а в перчатках. Есть такие, боксерские. А я приспособил рукавицы. Даже две пары напялил, свои и отцовские.— И показал на сумку.— А это тренировочная груша. У меня она не настоящая. Песок там с мякиной. Об эту грушу я развиваю силу и точность удара.

— А зачем тебе это? — поинтересовался Митька.— И бокс и точность удара?

— Чтобы быть сильным,— ответил Илья.— И врагов побеждать.

— Врагов побеждать надо идеями.

— А вот ты побеждай идеями, а я боксом. Так мы скорей одолеем их.

— А как же ты дошел до этого?

Илюшка достал из-под рубахи, лежавшей на верстаке, книжку и подал Митьке. В ней рассказывалось, как надо тренироваться. Советы сопровождались картинками, на которых дрались боксеры.

— А подштанники зачем обрезал? — допытывался Митька.

— А это у меня трусы,— терпеливо объяснял Илюш-

ка.— Боксеры дерутся в трусах...— И вдруг попросил: — Слышь, Мить! А подерись-ка со мной.

Митька не понял. И простодушно переспросил:

— Как это подраться?

— А так,— сказал Илья.— По-взаправдашнему. Ты кулаками, а я рукавицами.

Митька испуганно попятился к двери.

— Что ты, Илюха! — воскликнул он.— Я не хочу драться. Да еще с тобой. Мы же, кажись, друзья?

Но Илюшка не отступился. И с еще большей горячностью принялся упрашивать Митьку:

— Боксеры не только грушей тренируются. А и меж собой дерутся. Матчи у них такие бывают.

— Но я ж не боксер,— продолжал отбиваться Митька.

— Зато ты друг мне, Митя! — не отступал Илья.— И я как друга прошу тебя. Ну хоть разочек! Да не бойся. Рукавицами не так больно, как кулаками.— И снял с Митьки пиджак.— Бить можно по лицу, в грудь. Нельзя ниже пояса, по затылку. Ну, давай, Митя! Бей со всей силой. Представь, что перед тобой заклятый враг. И разозлись.

— Ладно,— сдался Митька.— Давай уж, заклятый враг. Держись! — И первым напал на Илью.

Увертываясь, тот отступал. И, отводя Митькины удары, несколько раз проехался жесткими рукавицами по его лицу. От боли Митька рассвирепел. И в свою очередь, изловчившись, съездил Илюшку по лицу. Тот тоже вышел из себя. И обрушил на приятеля град ударов. Оглушенный Митька, как чувал, рухнул на землю. И вытянулся во весь свой рост. Илья подхватил его, принялся трясти.

— Мить, слышь ты,— просил он.— Очнись! Ну же, Мить?!..

Но Митька долго не приходил в себя. А когда открыл глаза, осоловело посмотрел на Илью, точно не узнавая его.

— Ну, как, Митя? — спросил Илья, все еще поддерживая того.— Очухался? — И, когда тот утвердительно кивнул, пояснил: — Это нокаут. Понимаешь? Значит, чистый проигрыш...

Закончив рассказ, Митька глубоко вздохнул. И под смех ребят добавил:

— Вот теперь чуть ли не каждый день деремся. Я уже тоже подштанники обрезал. И рукавицы надел. А только долго никак не могу держаться. И почти каждый раз про-

игрываю нокаутом.— Он пытливо осмотрел нас.— А может, очередь устроим? Чтобы каждый с ннм треннровался. А то мне одному не выдержать. Боюсь: нокаутнрует так, что не очнусь...

Ребята вволю посмеялнсь, посочувствовалн Мнтьке, но предложенне его отвергли. Ннкто не захотел испытать на себе Илюшкнн нокаут.

* * *

Мысли о Маше не давалн покоя. И я решнлся. Повндаться с ней. Поговорить начистоту. Во всем разобраться. В последнем пнсьме она пнсала, что думает остаться в городе. Но чувствовалось, что она тоскует по Знаменке. Что же мешает ей вернуться?

Ребята волновалнсь, горячились Однн одобряли мое намеренне. Другие возражалн. Особенно упрямнлся Илюшка Цыганков.

— Удрала — и пусть,— говорил он, размахивая над столом кулаками.— Не хочет возвращаться,— н ладно. А только и мы с гордостью. Плакаться и кланяться не будем...

Хотелось рассказать им всю правду. Но я стискивал челюстн. Маша проснла ннкому нн слова не говорнть. А кроме того... Они могли не поверить. И подумать, что Миня своего добнлся. А тогда трудно было даже представить, как бы все обернулось. Конечно, меня осуднлн бы единодушно. За то, что послал ее в пасть врагу. Но это полбеды. Осуждение было бы справедливым. И я безропотно покорился бы. Хуже было бы с Миней. Тот же Илюшка мог прикончить Прыща. А это не сулило ничего хорошего.

Все же в конце концов ячейка одобрила поездку. Только Илюшка голосовал против. Он так и остался верен себе. Для него отъезд Машн был беспричнним бегством. Тем более обидным, что уехала она скрытно. И он не намерен был прощать ее.

— Захотелось жить в городе? — продолжал он н после голосования.— Пожалуйста, живи. Ннкого не держим. А только дисциплина на что? Соблюдать ее полагается или иет?..

Но Илюшку уже никто не слушал. Взоры были обращены ко мие. И одии за другим сыпались советы:

— В поезде поосторожней. А то жулье враз подметки оторвет.
— И в городе не разевай рот. Там такая сутолока, что недолго и шею сломать.
— А с Машей — поделикатней. Выведай все. И от ячейки выскажись. Скучает, мол, ячейка. И домой приглашает.
— Пускай не боится и не беспокоится. Упрекать не будем. А встретим с радостью. Как-никак родная...
Володька Бардин предложил складчину на дорожные расходы. Но я остановил его:
— На свои поеду. Сберёг месячную зарплату. А больше не потребуется. Задерживаться не собираюсь...
Провожал меня Прошка Архипов. На рассвете мы встретились у сельсовета. И, не теряя времени, двинулись в путь. Верхнюю улицу прошли в молчаливом раздумии. А когда вышли в поле на большак, я посоветовал:
— Случаем, Симонов нагрянет, скажи: в Сергеевку к сестре отлучился. А то заругается, что без разрешения в область отправился...
Нехорошо было обманывать. Но что делать? Симонов мог запретить поездку. Он такой, что никогда не угадаешь, как поведет себя.
И с родными пришлось слукавить. Им я сказал, что командируюсь в областной центр по комсомольским делам. Тут, конечно, почти не было обмана. Ведь и в самом деле туда я ехал по нашему общему делу. Но не было и всей правды.
Мать, услышав такую новость, даже испугалась. Она почему-то решила, что у меня ума не хватит добраться туда. Но отчим успокоил ее:
— Чай, не маленький он, наш Хвиля. Да и бывал же он там, в городе. Дорога-то знакомая...
А Дениска пристал с просьбой взять его с собой. Он сразу все продумал. И предусмотрел до мелочей.
— У тебя есть деньги на проезд туда и обратно,— говорил он, как взрослый.— Вот мы и купим на них билеты туда. А оттуда... Я у мамки выпрошу сала, чтобы купить на него подарки. Продадим это сало на базаре и купим обратные билеты. А мамке скажем: воры обворовали...
Прошка ушел со мной так далеко, что от Знаменки виднелись только кресты церкви. Они высовывались прямо из снега. И золотом сияли на восходящем солнце,

Вид у Прошки был сумрачный. Покашляв в варежку, он сказал:

— Мне история с Машей кажется какой-то такой... Прямо-таки загадочной. Не могла она просто так уехать. Для этого должны быть веские мотивы. А вот какие?..— и впился мне в лицо колючими глазами.— Признайся, может, ты ее обидел?

— Как обидел? — не понял я.

— А как обижают ребята девчат?

От этих слов я почувствовал себя так, как будто меня окатили варом.

— Что ты, Проша? Как мог я обидеть Машу? Да у меня и в думках ничего такого не было. Могу поклясться.

— Не надо клясться,— сказал Прошка.— Без клятвы верю. А только непостижимо это. Не могла Маша просто так уехать. Это ж не какая-то легкомысленная девчонка...

Я сдался. И рассказал все. Как она пошла к Мине. Как издевался Прыщ над ней. Как призналась она мне во всем. И как в тот же день уехала из Знаменки. Прошка слушал с раскрытым ртом. А когда я закончил, смачно выругался:

— Какой гад этот Миня!..

Я попросил его никому не рассказывать об этом.

— Маша боялась сплетен. И я дал слово...

Прошка торопливо закивал головой. И заверил, что до могилы не проговорится.

— Передавай ей жаркий привет. И самый низкий поклон.

Встряхнув меня за плечи, он повернулся и зашагал назад.

* * *

День стоял морозный. Но солнце светило по-весеннему. Глубокий и слежалый снег сверкал множеством искринок. В свежем воздухе мерцала прозрачная кисея.

И на душе у меня было светло. Завтра я увижу Машу. И увезу ее домой, в родную Знаменку. Увезу на радость нашей комсомолии. И на счастье самой Маши.

Я шел легко и быстро. И все же на полпути почувствовал усталость. И чаще стал оглядываться назад. Не нагонит ли какая подвода? Не подберет ли? Но лишь двое

розвальней проскрипели мимо. Да и те были так нагружены, что я не решился проситься.

Короткий зимний день подходил к концу. Вот и солнце зарылось в сугроб и потухло. Подкрадывался вечер. А я все шел и шел. Ноги мои в окаменевших от мороза сапогах закоченели. А рубашка на спине взмокла от пота.

Внезапно позади послышался частый топот. Я сошел с дороги, остановился. И увидел карего жеребца, запряженного в санки с задком. Жеребец весь был покрыт инеем и казался посеребренным. Но бежал он резво, взмахивая гривой и фыркая. На козлах возвышался бородатый кучер в полушубке и треухе. А в задке виднелся кто-то, закутанный в тулуп. Либо большой начальник возвращался из командировки. Либо какой-нибудь богач спешил на станцию.

Когда санки поравнялись со мной, я узнал работника Комарова. А из овчинного тулупа на меня глянули чьи-то черные, как угли, блестящие глаза. Они даже раскрылись не то от удивления, не то от любопытства.

Но санки пронеслись, и я снова устало поплелся вперед. Кто это там в тулупе? Уж не сам ли мельник? И как, должно быть, приятно мчаться на санках со скоростью ветра. А остановился бы он, если бы я поднял руку? И взял ли бы с собой?

Вдруг жеребец замедлил бег и стал. Из саной выскочила девушка и побежала мне навстречу. Это была Клавдия. Ну да, она самая! В дубленой шубейке, теплом платке и валенках она походила на деревенскую девчонку. И я, сам того не замечая, заторопился к ней.

— Здравствуй, Филя! — сказала она.— Очень рада... Такая неожиданность.— И в самом деле она радостно улыбалась.— А я сначала не узнала тебя. Подумала, что показалось. С чего бы это тебе тут очутиться? А потом все же решилась... Пойдем, подвезу. Ты на станцию?

Разгоряченный жеребец взрывал копытами укатанную дорогу. Кучер ласково успокаивал его. На нас даже не посмотрел. Видно, не одобрял прихоти молодой хозяйки. А та распахнула тулуп по всему задку и предложила мне садиться.

— На двоих хватит. А ты, наверно, замерз?

Я не заставил себя упрашивать. И, усевшись на мягкое сиденье, завернул на себя полу тулупа. Клавдия опу-

стилась рядом и тоже завернула свою полу. И весело крикнула кучеру:

— Поехали, Парамон!

Жеребец с места взял рысью. Я откинулся на спинку санок. И почувствовал себя как в раю. Некоторое время ехали молча. Потом Клавдия сказала:

— Я на именины мамы приезжала. И вот опять возвращаюсь.

— А что делаешь в городе? — спросил я, чтобы поддержать разговор.

— Работаю,— ответила Клавдия.— Чертежницей на заводе. Окончила курсы и поступила.— И заглянула мне в лицо: — А ты куда?

Я сказал, что тоже еду в областной центр. Глаза Клавдии заблестели.

— Правда?

— Правда,— подтвердил я.— По важному делу.

— Значит, вместе поедем? Очень приятно. А то одной скучно.

И также откинулась на спинку санок. А я про себя усмехнулся. Что бы сказал Илюшка Цыганков, если бы увидел меня в комаровских санках? Да еще рядом с молодой мельничихой? Ни за что не поверил бы, что это случайная встреча. И предложил бы выгнать меня из комсомола. За связь с чуждым элементом.

Повизгивая стальными полозьями, санки легко скользили по гладкой дороге. Холодный ветер порывами бил в лицо. Клавдия прижалась ко мне, с головой закрылась воротом тулупа. Я же смотрел на широкую спину Парамона и думал. Узнал работник меня или нет? Пришлый откуда-то, он не водился с знаменцами. Но мог на мельнице проговориться. Дескать, комсомольского секретаря с хозяйской дочкой на станцию возил. А это не сулило ничего хорошего.

Жеребец мчал так быстро, что не успел я согреться, как мы были на станции. Вокруг уже стлался серый полумрак вечера. Клавдия выпрыгнула из санок вслед за мной. Она приказала Парамону принести вещи в зал ожидания и сказала мне:

— Пошли билеты покупать...— А перед кассой спросила: — В мягком поедем?

Я замотал головой:

— На мягкий у меня нет денег.

— Я доплачу разницу,— сказала Клавдия и умоляюще глянула на меня.— Ну, поедем, Филя.

Щеки мои загорелись огнем. Не хватало еще, чтобы ехать на деньги мельничихи.

— Поезжай сама в мягком. А я поеду в общем.

— Какой упрямый! — рассердилась Клавдия и сунула мне в руку деньги.— Бери два общих. Поеду с тобой,— и направилась к работнику, ставившему вещи у стены.— Поезжай, Парамон. А то уже поздно. Я поеду с ним. Он поможет мне сесть.

Парамон поклонился и вышел. Клавдия присела на лавку и закусила губу. Должно быть, сожалела, что придется ехать в общем вагоне. И я решил по-своему. Ей купил в мягкий, а себе в общий.

— Пожалуйста,— сказал я, подавая ей билет.— Поедешь в мягком. А я в общем.

Она широко раскрыла глаза и с обидой сказала:

— Ну, зачем же так? Я же просила...

— Поедешь в мягком одна,— перебил я.— Не хочу, чтобы из-за меня терпела неудобства.

По лицу Клавдии скользнула улыбка, глаза заискрились.

— Спасибо, Филя. Ты, видать, добрый парень.— И положила мне в руку доплату.— Садись, посидим. До прихода поезда — двадцать минут.

Я присел рядом и решил, что поступил правильно. В самом деле, незачем ей нести из-за меня лишения. Пусть себе по привычке нежится в мягкой постели. Меня же это избавит от нужды быть с ней вместе. Нет, она не казалась нудной. С ней было даже приятно. И все же что-то сковывало меня. И делало непохожим на самого себя.

Клавдия сбросила платок на плечи и вдруг сказала:

— Вчера поссорилась с отцом. Очень сильно поссорилась. Довела его чуть ли не до бешенства. Если бы не мама, избил бы меня.— И вся повернулась ко мне: — Знаешь, что я посоветовала ему? Отдать мельницу обществу. Подарить бесплатно. А самому начать честную жизнь.— И снова посмотрела куда-то затуманенным взором.— Как он рассердился, если бы ты видел. Весь побагровел. Затрясся. И бросился на меня с кулаками.— И глубоко вздохнула.— Странный он какой-то. Помешался на деньгах. Правдами и неправдами выжимает из людей. И, как слепой, ничего не видит вокруг себя...

Звоиок возвестил о подходе поезда. Пассажнры оживнлись. И заторопнлнсь к выходу. Мы тоже встални. Я взял чемодаи и саквояж. Клавдии досталась какая-то коробка.

На перроне гулял холодный сквознячок. Клавдня подняла воротник н сказала мне:

— Застегнн рубашку. Простудишься.

Я сделал внд, что не расслышал. И продолжал стоять с распахнутой душой. Холод забнрался за воротннк, расползался по телу. Мороз начннал драть уши, оттопыреиные фуражкой.

Но я не успел замерзнуть. Из полутьмы неожнданно брызнулн огнн, н вскоре затем послышался шум. С каждой секундой он прнблнжался н нарастал. И вот, грохоча и громыхая, пронесся громоздкнй паровоз. За ним, стуча колесамн и лязгая буферами, побежали вагоны.

Мягкий оказался перед нами. В узком корндоре повеяло теплом. А в купе было уютно н краснво. Место Клавдни оказалось вннзу. А верхнее над ней оставалось свободиым.

— Вот вндншь,— упрекиула она меня.— И место есть. Как хорошо было бы вместе ехать...

Я поставил ее вещи иа диван и вышел в коридор. Оиа последовала за мной.

— Поезд прнбывает в город утром. Прнходи пораньше. Позавтракаем...

Я пообещал и кииулся к выходу. Уже прозвоиил второй звоиок. А когда я вскочнл на подножку своего вагона, раздался свисток коидуктора. Ему ответил гудок паровоза, н поезд тронулся.

В общем вагоне было темио и душно. На всех полках лежалн и сндели люди. Все же мне удалось отыскать свободиую. Оиа оказалась под самой крышей вагоиа. Но меня это ие смутило. Взобравшись туда, я улегся и почти сразу же усиул.

* * *

Проснулся я оттого, что кто-то тряс меия за плечо. И вслед за тем услышал серднтый жеиский голос:

— Да очиись же ты, дьявол! Или тебя пригвоздили к полке?

Вспомннв все, я кубарем скатился вниз. И увидел молодую жеищииу с веииком в руке.

— Ты что это разлегся? — строго спросила она.— Дом тебе тут родной, что ли?

В вагоне никого уже не было. Проводница заканчивала уборку. Она сказала, что поезд стоит в тупике. И пригрозила запереть меня, если я сейчас же не уберусь.

Я не заставил ее повторять угрозу. И пулей вылетел из вагона. День был в разгаре. Солнце, поднявшись над крышами высоких домов, заливало бесчисленные товарные составы холодными лучами. В разных концах гудками переклинкались паровозы. Откуда-то доносился приглушенный шум, какое-то позвякивание, тягучая заунывная песня.

Пожилой железнодорожник объяснил, как пройти к вокзалу. Ни на перроне, ни в зале ожидания Клавдии не оказалось. Должно быть, она уже дома. И наверное, вспоминает меня недобрым словом. Да, нехорошо получилось. И как это я не услышал, когда пассажиры выходили?

Но я недолго думал о Клавдии. Конечно, ее встретили родственники. Или же она взяла носильщика. Вон сколько их без дела слоняется.

Теперь мной целиком завладела Маша. Поскорее добраться до нее. И застать дома.

Трамвай довез меня до центра города. Тут я соскочил на мостовую, отошел в сторону, огляделся. Высокие, каменные дома один к другому впритык тянулись вдоль улицы. А вдоль домов взад и вперед сновали горожане. Многие исчезали в дверях под разными вывесками, откуда, в свою очередь, вываливались на улицу другие. Со звоном и лязгом по блестящим рельсам мчался красный трамвай, набитый людьми. Дуга над ним высекала из провода, подвешенного на железных столбах, голубые искры. Разрывая воздух гудками, вихрем пронеслись два автомобиля. Рысью бежали холеные кони, запряженные в черные санки.

Среди каменных громад, людской сумятицы и разноязычного гвалта я почувствовал себя одиноким и беспомощным. Захотелось поскорее отыскать Машу. И я поспешил к милиционеру, стоявшему на перекрестке. Выслушав меня, тот объяснил, как добраться до нужной мне улицы. Предстояло снова сесть в трамвай и ехать до конца. А там пройти сотню шагов, свернуть в переулок, который и выведет на эту улицу.

Вскочив в подошедший вагон трамвая, я пожалел, что только что вышел из него. Потратил лишний пятак и зря потерял время. Надо было сразу же все разузнать. И мчаться туда без остановки.

Это уже была окраина. И дома здесь стояли одноэтажные. Чуть ли не похожие на наши хаты. А на улицах, как и в деревне, лежали сугробы снега. Даже колодцы такие же, как у нас,— рубленые и обледенелые.

Маша оказалась дома. Она растерянно стояла передо мной, словно не веря глазам своим. Потом обхватила меня за шею и принялась целовать в щеку.

— Федечка!.. Милый!..— И вдруг отстранилась, будто устыдившись своего порыва.— Здравствуй! Вот не ожидала. Да как же ты это?..

А успокоившись, заставила меня раздеться. Усадила за стол, на котором гладила белье. Сама села напротив.

— Никак по делу приехал? В обком, что ли, вызвали?

Дорогой я собирался соврать ей. Но теперь не решился. Она так доверчиво смотрела на меня, что стыдно было обманывать ее даже в мелочах. И я признался:

— К тебе приехал. Специально. По поручению ячейки. Повидаться, поговорить. И увезти тебя домой. В родную Знаменку.

Маша опустила глаза и тихо, словно про себя повторила:

— По поручению ячейки... Увезти в Знаменку...— Но вдруг встрепенулась и виновато: — Ой, что ж это я! Ты ж не завтракал? А я кормлю тебя словами.

Она убежала за деревянную перегородку и загремела там посудой. Я оглядел комнату. Маленькая, с низким потолком и крохотным оконцем, она выглядела уныло и грустно. И обстановка была бедная. Железная кровать, застланная стареньким покрывалом. Простенький столик, покрытый вязаным настольником. Вешалка, задернутая полотном. Старинный комод с выдвижными ящиками. А над комодом на стене — несколько фотографий в рамках. Висел здесь и Машин портретик. Она смотрела прямо перед собой. И во взгляде ее серых глаз таилась тоска. Должно быть, грустила по Знаменке?

Сложив белье на кровать, Маша постелила на столе клеенку и собрала завтрак. И пока я ел, молча смотрела на меня. Так смотрят на вернувшегося из долгой отлучки брата. А когда я придвинул к себе стакан с коричневым

чаем, принялась расспрашивать о деревне. Ее интересовало все. И я еле успевал отвечать.

А потом, когда Маша убрала посуду, наступила моя очередь.

— И как ты тут поживаешь?

— А вот, как видишь,— развела руками Маша.— В этой комнате. Вместе с двоюродной сестрой, ее мужем и их дочкой.

— Тесновато.

— Да, тесно. Но зять скоро уезжает на Дальний Восток. Вместе с семьей. Он ведь у нас военный. Вот его переводят по службе. И тут я останусь одна.

— А где они сейчас, сестра и зять?

— На работе. А девочка — в школе...

Маша заметно похудела. И выглядела тоненькой, как березка. Почему-то стало жаль ее. Захотелось на руках унести в Знаменку. На простор полей, в степную тишь. Из суетного, каменного города. Где она может зачахнуть, как цветок без солнца. Но это была фантазия. И я выбросил ее из головы.

— А скажи, Маша, почему ты уехала? Даже не уехала, а прямо-таки сбежала. Тайно. скрытно. Почему?

Лицо Маши потемнело. Даже перекосилось, как от боли. А глаза стали влажными. Будто наполнились слезами.

— Ничего не сбежала,— ответил она, отводя взгляд.— Уехала — и все. Сестра пригласила погостить. Я и собралась. А не простившись... Думала, скоро вернусь. А получилось: и совсем осталась.

— А почему так получилось?

— Понравилось на заводе. Город понравился. Вот и осталась.

— И не жалко было нас?

Маша долго молчала, глядя куда-то через замороженное окно. Потом встала. Взяла потухший утюг. И вышла с ним. А я продолжал сидеть, ничего не понимая. Мой вопрос расстроил ее. Почему? Никто же не понуждал ее покинуть родное село. И никто не мыслил расставаться с ней. Больше того, мы все хотели, чтобы она поскорей вернулась. Затем я и отважился в такое путешествие.

Маша вернулась с тем же утюгом. Через узорчатые отверстия в нем виднелись раскаленные угли. А в покрасневших Машиных глазах блестели слезы. От чего это?

От чада, невидимо сочившегося из продухов утюга? Или от чего-то другого?

Поставив утюг на тарелку, Маша виновато сказала:

— Извини, Федя! Я поглажу белье. Обещала сестре.

Она разостлала на столе простыню. И принялась водить по ней утюгом. На руке у нее под синей кофточкой вздулся бугорок. Она выглядела худенькой, но крепкой.

— Мы все переживали, когда ты уехала,— снова заговорил я.— В особенности я. Прямо места себе не находил. Все казалось, из-за меня ты так. Будто чем-то обидел тебя. А вот чем? Сколько ни ломал голову, так и не разгадал загадку. Надеялся, тут все прояснится. А надежда не оправдалась. И тут — все тот же туман. Даже, может, еще гуще.

— Не будем об этом, Федя! — попросила Маша, и губы ее дрогнули.— Все уже перемололось. И отошло в прошлое.— Она сложила простыню и разостлала мужскую рубашку.— Ты надолго в город?

— Это будет зависеть от тебя,— ответил я.— Как ты соберешься, так и поедем.

Маша бросила на меня испуганный взгляд. И сразу же опустила глаза. С минуту подумав, сказала:

— Я не поеду с тобой, Федя! Я останусь здесь. И буду работать на заводе. А Знаменка... Она всегда будет в сердце. Как милая, дорогая родина.

Мелькнула мысль. А что, если?.. Какая была бы подруга! Преданная и верная. И годы у меня теперь есть. Лобачев и метрику оформил. А свадьбу сыграли бы комсомольскую. Торжественную. С приветственными речами. Но я отогнал этот дурман. Нет, нет! Рано еще. Не только для меня, а и для нее. Надо пожить ради других. А потом уж и о себе заботиться.

— Нет, правда, я очень мучился,— продолжал я, желая, чтобы она поверила в это.— Дни и ночи думал. Ты все перед глазами стояла. И все больше такой, какой в последний раз предстала. Измученной, с синяками. Может, до сих пор остались они?

Маша покраснела. И принужденно рассмеялась.

— Ну что ты, глупый! Как могли они остаться? Сколько времени прошло...— И, видно, чтобы переменить разговор, повторила: — Так что извини, Федя! Рада бы, да не могу. Уже пустила корни на заводе.— И, спрятав в ко-

мод выглаженное белье, сиова спроснла: — Так сколько же ты думаешь пробыть в городе?

Как видио, ей хотелось, чтобы я задержался. А мне не терпелось поскорей увезтн ее домой. И хотя надежды на это уже не было, я все же еще раз спроснл:

— Зиачнт, окончательно отказываешься вериуться?

Маша глубоко вздохиула. И сказала с болью в голосе:

— Не могу. Полюбила завод. И рабочнх. Очеиь хорошне людн. Меия прииялн как родиую. Учат, помогают.— И решительно встряхнула головой: — Нет, ие могу, Федя! Так и передай ребятам. И попроси за меия прощения.

Я поблагодарнл за завтрак. И сказал с горечью:

— Смотрн сама. Тебе видней.— И вылез нз-за стола.— А мы будем сожалеть. Мы ж так тебя любнлн.

Оиа приблнзнлась ко мне. Заглянула в глаза.

— А ты любнл?

Я растеряиио заморгал глазамн.

— Не знаю...— И тороплнво добавил, заметив, как потемиела оиа: — Ты всегда была мие родной... Нн о ком так ие думал...

Маша закрыла глаза. Сдавнла челюсти. Так стояла несколько секуид. Потом сиова гляиула иа меня. И иеожндаиио предложнла:

— Пойдем иа завод. Посмотришь, где я работаю. С рабочнмн ребятамн познакомншься. Оин будут рады. Я много рассказывала о вас. В особеииостн о тебе. Пойдем.

Я колебался. Маша заметнла это. И спроснла:

— Не хочется посмотреть наш завод?

— Хочется,— прнзнался я.— И боязио.

От удивлеиия Маша раскрыла глаза:

— Чего же ты боншься?

— Ну, как поиравится? — признался я.— И захочется остаться?

— И останешься,— сказала Маша.— Вместе будем работать. Станкн рядом попросим. В первое время я буду помогать. Да и заводскне ребята помогут.

— А иашн ребята что скажут? — спросил я.— И этот удрал. Броснл ячейку н смылся. И осудят.

— А за что? — в свою очередь спроснла Маша.— За что осуждать-то? Куда удрал? На завод. В рабочнй класс. Разве ж за это можно осуждать?

Я подумал над ее словами. И замотал головой.

— Нет! Не смогу остаться. Люблю Зиаменку. И людей нашнх. И поля.— И прибавнл, чтобы не обиделась: — А просто так, чтобы посмотреть... Пожалуйста, пошлн. С удовольствнем.

Маша повеселела. И предложила сейчас же отправнться. Чтобы до ее ночиой сменн побывать где нужно и повндаться с кем надо.

* * *

В цехе стоял шум. Его пронизывали стрекот, свист, скрежет. Врывалнсь в него н надрывные человеческне выкрнки. И казалось, гвалтом этнм полннлось все огромное помещение. Даже под высокнм потолком с шумом вертелись какне-то валы, как деревья иа ветру, шелестелн ремин, соеднненные шкнвамн.

Но цех был заполнен не только шумом. В ием стояло множество разиообразных стаиков. С какнми-то рычагами, колеснкамн, движущимися рамами, вертящнмися валиками. А у станков работали люди. Онн вставлялн н выиимали какне-то металлические предметы, обрабатывали нх, складывалн на соседннх столах. И вид у людей был уверенный и сосредоточеиный, какой бывает, когда они сознают важность и иужиость своего дела.

Мы медленно шлн между станками. Маша, я и мастер цеха, пожилой рабочий, назвавшийся Юрием Аидреевичем. Он и Маша на ходу о чем-то переговаривалнсь. Но я не разбирал нх слов. Вндно, чтобы разговарнвать в таком шуме, нужно к нему прнвыкнуть. Впрочем, я н не старался их слушать. Более всего занималн меня рабочие. Я всматривался в нх строгие, даже суровые лица. Следнл за их уверенными н точными движениями. И все больше убеждался, что они ничем ие отличалнсь от нас, крестьяи. Только выгляделн более усталымн и бледными. Но это, должно быть, оттого, что в цехе мало было солнца н свежего воздуха.

Я мельком взгляиул на Машу. Она, казалось, вся цвела в этом шуме. Будто ои был для иее иежной музыкой. И глаза ее излучали такие же искры, как сварочные аппараты. Да, оиа, как вндио, уже вошла в эту жизнь. И, как вндио, полюбнла ее иастолько, что никакой другой ие желала. Даже той, с какой свыклась со дия рождения.

«Ну что ж,— со сладкой горечью подумал я.— Пусть остается здесь. И живет этой рабочей жизнью. Была бы она только для нее счастливой. Тогда и мы будем счастливы, ее друзья...»

Возле одного станка мы остановились. За станком стоял чернявый парень в темно-синей спецовке. Он обтачивал на станке какую-то железную болванку. Маша подтянулась ко мне и сказала:

— Игорь Малышев! Секретарь нашего заводского комитета!

В свою очередь я наклонился над ней. И спросил, что он делает.

— Деталь для конной сеялки! — ответила Маша.— Предварительно обрабатывает...

Неожиданно Малышев повернул какой-то рычаг. И лапы, зажимавшие железный обрубок и вертевшие его с немыслимой быстротой, медленно завертелись вокруг своей оси. А вскоре и совсем остановились. И визг, который только что висел над этим токарным станком, вдруг растаял и совсем оборвался. А шум других станков как-то сразу отдалился, будто отхлынул. И мне почудилось, что я не только увидел, а даже услышал широкую улыбку на слегка вытянутом лице Игоря, пересеченном чуть выше карих глаз прямыми, почти соединявшимися на переносице, черными бровями.

Когда Маша познакомила нас, Малышев сказал, окинув меня внимательным взглядом:

— А я сразу догадался, что это ты, Касаткин. Маша так много о тебе рассказывала, что не только я, а и другие ребята узнали бы...

А мне Маша ничего не говорила о нем. И я не только впервые видел его, а и впервые слышал о нем. И все же чувствовал себя с ним так, как будто мы были давно знакомы.

Одного со мной роста, он в то же время выглядел более крепким, сильным. И взгляд умных глаз казался добрым и радушным, будто перед ним был долгожданный и желанный гость.

Но ничего этого я не сказал ему. А, пожимая его шершавую ладонь, только произнес:

— Очень рад... Хотелось познакомиться... Посмотреть, как тут у вас...

Голос мой показался самому мне невнятным. Но Игорь добродушно улыбнулся. И только одобрнтельно кивнул:

— Вот и смотри.— И развел руками в стороны.— Это наш механический. А вот это иаш станок.— Он показал на Машу и опять улыбнулся.— Мы с ней на нем трудимся. Каждый — в свою смену. Значнт, сменщнкн.

Маша вдруг повернулась ко мне. И спросила, сверкнув глазамн:

— А хочешь посмотреть, как я работаю?

Я закнвал головой. И тороплнво проговорил:

— Хочу... Очень даже... Интересно!

Маша сбросила с плеч теплую кофту. Сняла с головы шерстяной платок. Все сунула мне в руки. Зашла за станок. Оглянула его. Повернула какой-то рычаг. Станок ровно загудел. Завертелась на нем невзрачная железяка. Маша повернула колеснко иа станке. И блестящнй резец врезался в металл. Воздух пронизал скрежет. Чуть ли не с болью ворвался в уши. А над вертящейся болванкой запеннлась кружевная металлнческая стружка.

Я перевел взгляд на Машу. Она выглядела строгой. На гладком лбу ее залегла еле заметная складочка. А большие серые глаза блестели, как обструганный резцом металл.

Гордостью наполнилась душа. Она, наша Маша, была работницей. Частицей рабочего класса. Вместе с другими рабочнми делала для нас, крестьян, машины. Такне машнны, которые облегчали наш труд. И пусть их еще мало, этих добрых машин. Все равно они уже переделывали наше сознание, ломали и переиначивали наш характер. А когда их появится в достатке на наших полях, этих умных н умелых машнн, мы, может, перестанем быть крестьянами. С помощью машнн, сделанных рабочнми, мы и сами превратимся в рабочнх, объединимся с ними в единую трудовую семью.

Обработав деталь, Маша остановила станок. С помощью рычага развела зажимы. Надев рукавицы, вынула разогретое железо. И с торжественным видом поднесла мне.

— Пожалуйста! — произнесла она со смущенной улыбкой.— Оцени.

Мне трудно было оценить ее работу. Я ннчего не смыслил в этом деле. Но деталь показалась ровной и гладкой,

И такой блестящей, как будто была зеркальной. И я сказал, не скрыв восхищения:

— Здорово!.. Никогда не думал!.. Молодец, Маша!

Мастер взял у иее деталь, перебросил из руки в руку. И швырнул иа стол, где лежали обработанные Малышевым.

— Ничего,— сказал он.— Но могла сделать и получше.

Маша вся зарделась. Как школьница, не выучившая урока. И виновато сказала:

— Волновалась. Вы ж все смотрели иа меия. Как на экзамене.

— Я ничего худого не сказал,— ответил мастер.— Только заметил, что ты можешь и лучше работать.

Я бросил взгляд иа болванки, к которым мастер присоединил и Машину. И не обнаружил никакой разницы между ними. Что-то вроде обиды заскребло в душе. Ничем не хуже Игоря работала Маша. И обработала железку так же, как он. За что же такое замечание? Чтобы показать себя? Или чтобы умалить ее?

Игорь и Маша перебросились какими-то словами. И Малышев, кивнув мне, зашел за станок. А мы двинулись дальше. Оглядываясь по сторонам, я заметил станки, которые ие работали. Маша, когда я спросил, почему простаивают станки, сказала, что на заводе не хватает рабочих.

— Завод расширяется, а рабочих не прибавляется. В городе свободных рук нет. Служащие не желают расставаться с конторами. А из сел тоже мало охотников переселяться в город. Вот и простаивает оборудование. И завод делает машин меньше, чем мог бы делать.

У выхода из цеха мы простились с мастером. Но в соседний сборочный не успели. Едва мы вышли во двор, как над всем вокруг разлился густой и тягучий заводской гудок. Он возвещал конец утренней смены. К цехам спешили запоздавшие рабочие. Они заступали на дневную смену.

Маша взяла меня под руку и сказала:

— Оставим сборку. Посмотришь в другой раз. А сейчас пошли в комитет комсомола. Мы с Игорем договорились после гудка собраться там...

* * *

Ребят собралось около дюжины. Члены заводского комитета, комсорги цехов, активисты. Кто был свободен от работы. И кого сумели оповестить.

Разные между собой, они в то же время были похожи друг на друга. Тот же внешний вид и одинаковый рабочий характер. А главное, что роднило и объединяло всех,— безотказный труд и преданность общему делу.

Игорь Малышев представил меня. При этом он не упустил, что я из того же села, откуда и Маша Чумакова. И добавил, что по этой причине довожусь ей земляком, а им всем — желанным гостем.

После этого я принялся здороваться с ребятами. Подходил к каждому. Пожимал его руку. И произносил одно и то же:

— Привет! Очень рад! Будем знакомы!..

Ребята отвечали так же приветливо. Называли себя. И откровенно улыбались. Было видно, знакомство со мной доставляло удовольствие. Это радовало меня. И я, переходя от одного к другому, чувствовал, как все они становились мне родными и близкими.

Закончив знакомство, я снова присел рядом с Машей. И вдруг смутился. Поздоровался со всеми и никого не запомнил. Ни по имени, ни по фамилии. Хотя нет. Чернявая девчонка, бывшая тут единственной, задержалась в памяти. Женя Волгина. Да, так она сказала — Женя Волгина. И белобрысый парень в матросском бушлате тоже всплыл в памяти. Славка Рюриков. Остальные же вылетели из головы. Как будто я и не слышал.

Постучав карандашом по столу, Игорь сказал:

— Сперва мы расскажем о наших делах. О том, что делаем, что намечаем, о чем мечтаем. А потом попросим нашего гостя поделиться делами и думами своих комсомольцев...

И стал рассказывать о заводском комсомоле. Он вовсю раздувал на заводе соревнование. Более половины комсомольцев, работавших в цехах, были ударниками и перевыполняли нормы. И культпоход комсомол проводил с энтузиазмом. При заводском клубе создано много разных кружков. В цехах регулярно выпускали стенгазеты. Лекции и диспуты на политические и моральные темы проводились.

— Молодой человек должен быть примерным везде и во всем,— говорил Малышев.— Потому-то мы боремся с грубостью, неряшливостью, хулиганством. И требуем от комсомольцев, чтобы они во всем задавали тон. Чтобы опрятными были, чистоплотными, аккуратными. Чтобы с другими, особенно со старшими, были вежливыми. Чтобы не грубили девчатам, а помогали им, заступались за них. Чтобы дома, в семьях своих, были прилежными, помогали родителям, уважали их и слушались. И конечно, чтобы учились, книги и газеты читали, культурой новой овладевали и пропаганду вели среди рабочих...

Иногда ребята прерывали Малышева. Подсказывали что-либо, дополняли. А я слушал всех. И старался запомнить все. И испытывал какие-то новые чувства. Вдруг самому захотелось стать рабочим. Чтобы вместе с ними бороться за новую жизнь. Но тут же перед взором встали знаменские ребята. Такие же передовые, безотказные. И захотелось поскорее увидеть их. Рассказать им о заводе, который работал для нас. И еще более сильное желание запало в душу. Объединиться с рабочими ребятами и остаться со своими крестьянскими парнями. Вот если бы можно было разделиться между ними. А еще лучше, если бы соединить тех и других в единый, дружный и нерушимый коллектив.

Закончив рассказ, Игорь предоставил слово мне.

— Маша много рассказывала нам о вас,— заметил он, точно оправдываясь, что просит о том же.— Но нам бы хотелось услышать от тебя самого. От самого секретаря сельской ячейки, вожака крестьянской молодежи. А кроме того, с тех пор, как Маша поступила на завод, прошло немало времени. И за этот срок у вас там, наверно, появилось много нового. Вот потому мы и просим...

Маша сдавила мне руку выше локтя. Она волновалась за меня. И старалась меня приободрить. Ее прикосновение, как электричество, пробежало по телу. И в то же время как-то просветило сознание. Стало отчетливо ясным, что и мы в Знаменке трудимся и боремся не только для себя, а и для других. И может, в первую очередь для них, этих рабочих ребят, которые теперь с любопытством глядели на меня. И я почувствовал себя своим среди них. Мы были братьями по труду и борьбе. А союз наш, который мы называли смычкой, казался могучим утесом, о который разобьются любые вражеские волны.

Сначала я поделился впечатлениями о заводе. Все там понравилось мне. Дух же захватывало от того, что работал завод на нас, крестьян. И я попросил ребят трудиться еще дружней, еще ударней. Делать для нас машин побольше и получше. И таких, какие помогали бы нам не только выращивать хлеб, а и перековывать людей.

Потом я рассказал о Знаменке. И уже после этого — о делах своей ячейки. Конечно, не очень хвастался. Успехов у нас было не так уж много. А недостатков — хоть отбавляй. Но под конец все же похвалился, как разоблачили кулака Лапонина.

— Алчный был мироед,— сказал я.— И до ужаса вредный. А теперь отсиживается за решеткой. Пять годков всыпали.

— Об этом случае мы знаем,— сказал Игорь.— Маша рассказывала. Тут вы прямо-таки совершили подвиг.

При этих словах я скосил глаза на Машу. Она опустила голову. Щеки ее порозовели. И я спросил Малышева:

— А она сказала, кто совершил этот подвиг?

— Маша не назвала никого,— ответил тот.— Да мы и не допытывались. Мы ж никого из вас, кроме нее, не знали.

Маша и совсем свела плечи. Она словно ожидала удара. Но я сделал вид, что ничего не заметил. И сказал:

— Подвиг этот совершила она сама.

Маша повернулась ко мне. Лицо ее пылало огнем. В глазах сверкала обида.

— Никакой это не подвиг,— сердито возразила она.— А потом... Ты же надоумил. Сама бы не догадалась.

Ребята во все глаза смотрели на Машу. А Игорь попросил меня рассказать об этом поподробнее.

— Она же теперь наша комсомолка. И для нас это не только интересно, а и важно.

Я охотно послушался. И обстоятельно рассказал обо всем, как было. И до того разоткровенничался, что даже пожаловался на Машу:

— Понимаете, не успели мы отправить этого кулака — самогонщика — в район, как узнали, что героиня наша уехала в город. Уехала без ведома, даже без предупреждения ячейки. Прямо как все равно сбежала. Мы даже не успели поблагодарить ее. И ужас как были расстроены ее бегством.

Ребята снова посмотрели на Машу. Но теперь уже с

удивлением. А она иахмурнлась, потемнела, будто ее обнделн.

— Как же так? — спросил Игорь.— Сделала большое дело. И тут же уехала. Без причнн так ие бывает.

— Вот н мы так думаем,— сказал я.— Какая-то причина была. А вот какая?.. В пнсьмах спрашивалн, не ответнла. Нынче в городе опять не пpнзиалась. Спросите вы. Может, вам откроется?

— А иу-ка, Маша! — сказал Игорь.— Выкладывай.

Маша снова повернулась ко мне. И вызывающе спроснла:

— Значит, ты хочешь знать причину?

В голосе ее слышалась какая-то угроза. По спине моей пробежали мурашкн. Но я все же ответил:

— Ну, конечно, хочу. И давно этого добнваюсь.

— А хочешь, чтобы я прн ннх сказала? — продолжала Маша с необычным возбуждеиием.— Вот сейчас при всех. Хочешь?

Подавляя смутную тревогу, я пожал плечами:

— Давай при всех, раз одному мне не хочешь.

Маша глубоко вздохиула. И в упор глянула на меня.

— Ну, так слушай же,— начала она так, как будто мы были одии.— Я любнла тебя. Любнла всем сердцем. Но ты не любнл меня. Я поняла это, когда ты предложнл мне пронннкнуть к Лапонниым. И выведать нх тайну. Правда, ты опасался, предупреждал. Но не тревожнлся, не удержнвал. Конечно, я все равно пошла бы, еслн бы даже запретил. Уже ннчего ие остановнло бы меня. Но тогда я была бы смелее. У меня больше было бы снл. И мне легче было бы бороться с Мнней.. А так... Я шла туда, как на погнбель. И даже не вернтся, что устояла. Чудом какнм-то спаслась. А когда опять встретилась с тобой н совсем убеднлась... Ты обрадовался. Но не тому, что я уцелела, а тому, что узнала. И я окончательно решнла: сердце ошнблось. Никакой надежды нет. И потому решила уехать. Уехать сразу, чтобы оборвать все н навсегда. А уехала без предупреждення, чтобы не мучнться при расставании.— И перевела дыханне.— Вот и все. Вся правда.— И добавнла, опустив глаза: — Конечно, я не упрекаю тебя. За это нельзя упрекать. Сердцу не прнкажешь. Но и себя не упрекаю. Уехала сюда не гулять, а работать. И очень рада, что поступила на завод. Я нашла здесь не только хорошую работу, а н чудесиых друзей.

Она замолчала. Ребята как зачарованные смотрели на нее. А на меня не обращали внимания. Будто меня и не было среди них. И я радовался этому. И без того огнем пылали мои уши. Я не знал, куда деться. Сквозь землю провалился бы, если бы можно было.

Игорь прервал молчание. И с торжественной ноткой в голосе сказал, обращаясь к Маше:

— Мы очень рады, что узнали об этом. О том, что ты проявила такое бесстрашие. И сочувствуем всему, что ты пережила. Ты показала себя настоящей комсомолкой. И мы благодарим тебя за это. Враг, которого ты разоблачила, и наш враг. А дело, ради которого ты рисковала, и наше дело...

Ребята возбужденно зашумели. А Женя Волгина бросилась к Маше. И, порывисто обняв ее, поцеловала в щеку.

— Милая, дорогая! — воскликнула она.— Не тоскуй, не печалься. Ты уехала от хороших ребят. Но приехала к таким, которые не хуже...

А Игорь, уже полушутливо, сказал мне:

— И ты, товарищ Касаткин, прими от нас благодарность. За то, что хоть и невольно, а все же помог нам заполучить такую отважную комсомолку. Можешь не сомневаться: мы будем любить ее не меньше, чем вы. И не меньше вашего будем гордиться ею. Так и передай своим ребятам. Вместе с нашим приветом. И пожеланием успехов в работе...— И достал из ящика стола моток проволоки.— А теперь вот что. Кулаки антенну сперли у вас. И лишили возможности слушать Москву. Вот мы и приготовили вместо той. Собирались передать Маше, чтобы отправила посылкой. Но теперь нужды в этом нет. Преподносим лично. В подарок ячейке.

Я взял моток. Поблагодарил их. Но умолчал, что детектора у нас уже нет. Он все еще был где-то в ремонте. Все же мы не теряли надежды на его возвращение. И я искренне обрадовался этому рабочему подарку.

* * *

Некоторое время мы молчали. Я нес моток проволоки, завернутый в бумагу и перевязанный шпагатом. Маша шла рядом, засунув руки в рукава теплой кофты. Снег сверкал на солнце, поскрипывал под нашими ногами.

— Ты правду сказал ребятам? — вдруг спросила Маша.— В самом деле тебе понравилось у нас на заводе?

Я вспомнил шумный цех, станки, рабочих. И признался:

— Да, правду. Понравилось. Горячая работа. Ключом бьет.

— А желания остаться у нас не появилось?

В словах ее почудилась затаенная надежда. Как видно, ей хотелось перетянуть меня в город. И сделать рабочим. Мне и самому по душе пришлась заводская жизнь. Малость пугал шум. Но к нему, наверно, легко привыкнуть. Да и не такой уж он несносный. Та же Маша говорила, что в кузнечном цехе, куда мы не дошли, пришлось бы затыкать уши ватой. А ведь и там рабочие не умирают перед наковальнями. Но перед глазами встала Знаменка. С ее тихими улицами, белыми хатами, садами и палисадниками. И я откровенно признался:

— Нет, желания такого нет. Говорил уже тебе. И еще раз скажу. Люблю нашу деревню. И с людьми нашими не могу расстаться...

Мы снова замолчали. И молча дошли до трамвайной остановки. Трамвая не было. И никого не было на остановке. Маша попрыгала, согревая ноги, обутые в ботинки. И, вскинув на меня глаза, спросила:

— Куда ты теперь?

— Поеду на вокзал,— сказал я.— Куплю билет на ближайший поезд. И покачу домой. Вместо тебя привезу ребятам антенну.

Маша не ответила на последние слова. Не то не поняла их, не то сделала вид, что не поняла. И, подумав, сказала:

— Я, пожалуй, проедусь с тобой. У меня еще много времени...

Позванивая, подошел трамвай. Развернулся на кругу в обратный путь и остановился. Мы сели у окна друг против друга. Маша неотрывно смотрела на меня. И казалось, ничего больше не замечала. А я с преувеличенным вниманием рассматривал дома. И думал: так ли ответил Маше? И под конец решил, что не слукавил. Не узкая каменная улица с полоской неба, а степной простор с необъятным небесным сводом были мне по сердцу. И пусть

Маша остается рабочей. Пусть. Я буду трудиться на земле. На той, которая выходила меня. И буду добывать хлеб, без которого нет жизни ни в деревне, ни в городе.

Ближайший поезд проходил поздно вечером. Я купил билет в предварительной кассе. И мы вернулись на привокзальную площадь. Здесь опять сели в трамвай. И двинулись в обратный путь. Рабочий день еще не кончился, и я решил заглянуть в обком комсомола. Может, книжек каких выкляичить удастся?

Маша знала, где находился обком. Она предложила сойти в начале Центральной улицы. И до обкома пройтись пешком.

— Я рада, что ты побывал у нас,— сказала она, шагая рядом со мной.— И надолго запомню эту встречу.

— Я тоже рад,— ответил я, подавляя тоску.— Что тебя повидал. И что с рабочими ребятами познакомился.

— А ты обиделся на меня? — вдруг спросила Маша, и я понял, что она все время думала о том же, о чем и я.— За то, что перед ребятами разоткровенничалась?

Я с напускным равнодушием передернул плечом.

— Я же дал согласие. Стало быть, нечего обижаться. Но...

— Но что? — переспросила Маша, взглянув на меня.

— Но если бы знал, о чем будешь говорить, посоветовал бы не делать этого.

— Почему?

— Ты говорила и за меня. А за меня ты могла ошибаться.

Маша снова глянула на меня. И опять отвела глаза.

— Я бы рада была, если бы ошиблась. Но это правда. А в таком деле лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Мы опять замолчали. Я не находил ответа. Слова Маши жгли мозг. Да, конечно! В таком деле любая правда лучше самой красивой лжи. Но я не обманывал ее. И на квартире у нее честно признался, что все время думал о ней. А сюда в город я приехал разве не ради нее? И разве я обманывал, когда говорил, что буду рад, если она уедет со мной? И все же я не высказал того, что думал. Она так верила в то, в чем призналась на глазах рабочих ребят, что разуверить ее было нелегко. По крайней мере сейчас. Требовалось что-то более сильное, чем слова. И я вдруг открыл эту силу, которая разубедит ее. И, не раздумывая больше, сказал:

— Хорошо. Подождем. Время рассудит. И решит, кто был прав, а кто ошибался.

Маша долго думала. А потом, глядя перед собой, сказала:

— Хорошо. Положимся на время. Может, и правда оно лучше знает нас...

У переулка Маша взяла меня под руку и повернула за угол. А еще через несколько шагов мы остановились перед входом в трехэтажный дом. В этом доме на последнем этаже и размещался обком комсомола.

— Давай постоим немного,— предложила Маша, как будто мы расставались навсегда.— А то ведь не скоро увидимся.

— Давай,— согласился я, тоже почувствовав горечь разлуки.— А почему не скоро увидимся? Разве ж ты по дому не соскучишься?

— По дому я уже скучаю. И по Знаменке. По всему, что с родиной связано. Но ведь я работаю и работу просто так не могу бросить. Это не положено. А до отпуска далеко, почти целый год.

— Может, мне еще случится приехать сюда по каким-нибудь делам или на какое-либо областное совещание. Бывают же такие.

— Я буду рада, если это случится.— И протянула мне руку: — А пока до свидания, Федя! Всего хорошего тебе!

Я крепко сжал ее маленькую, но сильную ладонь:

— До свидания, Машенька! Будь счастлива и не забывай!..

С минуту мы, не опуская рук, смотрели друг другу в глаза. Словно не выдержав, Маша первой разжала ладонь, круто повернулась и торопливо зашагала от меня. А я смотрел ей вслед и с грустью думал о прихотях судьбы.

* * *

В приемной сидела чернявая девушка в красной кофточке. Она говорила по телефону. А когда закончила, вопросительно уставилась на меня. Я отрекомендовался. И сказал:

— Мне бы в культотдел. Посоветоваться кое о чем...

Чернявая назвала номер комнаты и снова схватила

трубку зазвонившего телефона. Я вышел в коридор. В конце его обнаружил комнату культотдела. В ней стояли четыре стола. Но только за одним, низко склонившись, скрипел пером рыжий парень. Мне кивнул на стул. И, поставив точку, размашисто расписался. Промокнув написанное, взмахом головы забросил чуб назад. И отрывисто спросил:

— Кто? Откуда? Зачем?

Я назвался. И сказал, что зашел за литературой.

— За какой такой литературой? — переспросил рыжий парень и вдруг остановил меня: — Постой. Откуда, говоришь, ты?

Я повторил все снова. Парень пристально посмотрел на меня. Молча встал и скрылся за боковой дверью. Через минуту вернулся. И, оставив дверь открытой, весело сказал:

— Вот он. Любуйся.

Из соседней комнаты вышел Симонов. Да, да! Не какой-либо другой, а секретарь нашего райкома. Раскрыл от удивления свои узкие, как у татарина, глаза и спросил:

— Это из какой же пушки тебя выстрелило?

Я так растерялся, что не знал, что ответить. Заметив это, Симонов улыбнулся и протянул руку:

— Ну, здравствуй, если это ты, а не привидение!

Я схватил его короткую ладонь. И тоже растянул губы в улыбке.

— Здравствуй, товарищ Симонов! А нукать, кажись, дурная манера?

— Нет, не привидение, а мой Касаткин,— сказал Симонов, сверкая белыми зубами.— Настоящий, неподдельный.— И осмотрел меня с ног до головы.— А что тут делаешь?

— Да вот забрел,— ответил я, стараясь перейти на шутливый тон.— Насчет литературы погуторить... Книжечек каких-нибудь позычить.

— Книжечек позычить? — повторил Симонов и обнял меня за плечи.— Пойдем погуторим. Доложишь, что и как...

Мы вышли в коридор. И остановились у окна. Я рассказал, зачем приехал. Подчеркнул, что предпринял такую поездку по поручению ячейки.

— Маша Чумакова? — переспросил Симонов, морща лоб.— Это та, которая разоблачила кулака?

— Та,— подтвердил я, радуясь, что Симонов вспомнил.— И не просто разоблачила. А вскрыла вредительство с самогоном.

— Помню,— сказал Симонов.— Еще на культконференцию ты приезжал с ней. Маленькая и курносая.

— Ничего не курносая,— обиделся я.— И не такая уж маленькая. Нормальная.

— Хорошо, пусть нормальная,— согласился Симонов.— И что ж она, твоя Маша? Вернется или нет?

Я покачал головой:

— Решила остаться на заводе.

— Значит, не любит?

— Кого?

— Да тебя. Ты любишь, а она нет.

От этих слов я даже опешил:

— Почему ты решил, что я люблю?

— По глазам твоим. А еще по ушам. Уши-то вон какие малиновые...— И, положив руку мне на плечо, добавил: — Не тоскуй, Хвиля! Найдется другая. Не Маша, так Даша. В Знаменке — немало хороших девчат...

Он рассказал, как сам очутился в областном центре. Вызвали на бюро обкома с докладом. Серьезно ставится вопрос об участии комсомола в коллективизации деревни.

— Давали жизни,— пожаловался он.— Не успевал поворачиваться...

Я спросил, когда он собирается домой. Оказалось, что и у него билет уже лежал в кармане. В тот же поезд, что и у меня. Даже в тот же вагон. Это обрадовало нас обоих. Достав откуда-то бумажку, Симонов подал ее мне.

— Валяй в библколлектор. Центральная улица, дом двадцать. По записке тебе выдадут книги. За счет обкома комсомола. А понравятся другие, можешь купить за свой счет.

— За свой счет у меня нет денег,— признался я.— Последние на билет истратил. На свои приехал.

Симонов опять наморщил лоб. Пошевелил губами, точно подсчитывая что-то. Потом достал блокнот, карандаш и подал мне:

— Пиши заявление в обком. С просьбой оплатить командировку. Ты же по поручению ячейки приехал.

Пристроившись на подоконнике, я написал заявление. Симонов сунул листок себе в боковой карман. Из другого достал бумажник. И отсчитал несколько рублей.

— На,— подал он мне деньги.— Иди и покупай. И возвращайся в обком. А я получу твои командировочные.— И дружески подтолкнул меня.— А потом мы с тобой пообедаем. И может, сходим в киношку.

Спрятав деньги, я отправился в бибколлектор. На душе у меня немного отлегло. И только слова Симонова не давали покоя. «Ты любишь, а она нет». Неужели так оно и есть?

* * *

Выслушав мой отчет, ребята долго молчали. Не ожидали такого оборота. И не знали, как отнестись к случившемуся.

— Может, ты плохо уговаривал ее? — спросил Сережка Клоков, не обрадовавшийся даже куче книг, которые я привез.

Я обреченно пожал плечами:

— Старался изо всех сил. Но ничего не помогло. Уже пустила там корни.

— А как это понимать — пустила корни? — поинтересовался Андрюшка Лисицын.— Может, рабочим дружком обзавелась?

Ребята невесело рассмеялись. Андрюшка же, шмыгнув носом, серьезно заметил:

— Если так, то и совсем обидно. Разве же мы недостойные? Вот хоть бы меня взять. Или того же Хвилю. Чем мы не подхожи для нее?

Но ни слова, ни ужимки Андрюшки не разогнали хмурь. А Илюшка Цыганков сердито заключил:

— Предательство. Ничем не заслуженное. Мы ж ее так уважали. Даже гордились ею. А она на всех нас наплевала. И сбежала, как от постылой братии.

— Ладно,—сказал Володька Бардин.— Чему быть, тому не миновать. Жалко, это так. Но ничего уже тут не поделаешь. Будем жить и работать без нее.

— А может, она давно побег свой обдумала? — предположил Митька Ганичев.— И все выбирала удобный момент. И вот выбрала. Разоблачила Лапонина и смылась. За старания, мол, простят выходку.

Ребята заспорили. Подозрение Митьки показалось нелепым. На такое коварство Маша не способна. Я глянул

на Прошку Архипова. Он сидел как на гвоздях. Ему хотелось рассказать о подвиге Маши. Но он молчал, связанный словом. И только ерзал на скамье.

Как раз в это время в комнату вошел Лобачев. Оглянул нас, скупо улыбнулся и сказал:

— Чего носы повесили? Чумакова отказалась приехать? Так этому ж надо радоваться. Работницей станет, с передовым классом сольется. А вы, чем горевать, за других девчат взялись бы. Разве у нас нет таких, как Чумакова? Даже очень много. А в комсомол не идут потому, что вы с ними плохо работаете. Не умеете найти путь к их сердцу.

Я смотрел на него, не в силах скрыть удивление. Откуда ему известно, что Маша отказалась приехать? И, не выдержав, спросил:

— А кто вам сказал про это?

Лобачев присел на край скамьи и достал кисет.

— Про что именно?

— Про то, что Маша отказалась приехать? Кто сказал вам об этом?

Свертывая цигарку, Лобачев насупился:

— Конечно, не ты. А жаль. Ты по-прежнему партизанишь. Не согласовываешь свои действия... А это нехорошо...

Ребята хмуро молчали. Они готовы были разделить вину со мной. Вместе ведь решили тайно провести операцию. А Лобачев закурил, затянулся и сказал:

— Но это небольшой грех. Не стоит расстраиваться. Только впредь надо советоваться. Для вас же будет лучше.— И снова с жадностью затянулся.— А сказал мне об этом Симонов. Сейчас я был в районе. Виделся с ним. И он рассказал обо всем. Как встретил в обкоме Хвилю. Как вместе ехали домой. И про Чумакову, конечно. Отказалась, говорит, вернуться к своей комсомолии...— И опять окинул нас необычно теплым взглядом.— А вы, говорю, не вешайте носы. Не приехала — и ладно. Беритесь за других девчат. Не ждите, когда они придут к вам. Сами идите к ним. Идите и работайте с ними. Учите, воспитывайте, убеждайте. И тогда они потянутся к вам.— И надвинул свои лохматые брови на глаза.— Вот так насчет девчат. А теперь — другое. Еще более важное. Приступаем к созданию ТОЗов. Иначе сказать, товариществ по совместной обработке земли. Работа предстоит трудная. Но

мы большевики. И трудностей не боимся. А вы, комсомольцы, должны быть нам опорой. Прежде всего самим надо вступить в ТОЗы. Родителей своих сагитировать. А потом и за других взяться. Да так, чтобы дело завертелось...

Новость подняла настроение. Мы уже слышали об этих ТОЗах. Они были созданы в других сельсоветах. И вот наступил наш час. Начиналась и у нас социалистическая перестройка.

* * *

На сходки карловцы собирались редко. А собравшись, не очень-то разглагольствовали. Не любили тратить слова, словно они дорого стоили.

Обычно сходились у Кости Рябикова. Он был уполномоченным сельсовета по Карловке. К тому же его хата вмещала больше народу, чем любая другая на хуторе. А хозяйка, добрая и простодушная Катерина Степановна, так встречала хуторян, что невозможно было усидеть дома.

Но на этот раз и жилище Рябикова оказалось тесным. На сходку явились не только мужики, а и бабы. Даже моя мать, чуравшаяся всяких собраний, и то пожаловала. Пожаловала вслед за отчимом, должно быть не доверяя ему. А может, подозревая сына в дурных намерениях.

Мужики курили больше обычного. Скоро в хате, несмотря на полдень, стало темно. Пришлось зажечь лампу. Но она горела нехотя, задыхаясь в дыму. Бабы чихали, кашляли и обзывали мужиков нелестными словами, а те только посмеивались и продолжали дымить.

«А кто звал вас, сороки? — как бы говорили они всем своим видом.— Сами показали прыть. А ради чего, спрашивается? Вертелись бы у печи да лепили калачи. А не совали нос в общий обоз...»

Но многие сами притащили жен. Чтобы в случае чего спрятаться за их спину. И свалить на них вину. Дескать, мы тут ни при чем. Это все бабы. А что с них взять, отсталых?

А позвали мужики жен потому, что сами страшились. Коммунисты, видите ли, намереваются взломать порядки, заведенные исстари. И сварганить какую-то артель,

именуемую «ТОЗом». А как можно жить целой артелью, когда в одной семье часто не бывает ладу? Вот и тревожились. И на всякий случай старались огородиться.

Сидя рядом с Костей за столом, я наблюдал за собравшимися. Односельчане. Добрые и сварливые. Податливые и упрямые. У каждого своя душа. А в каждой душе свои потемки. Попробуй проникнуть. И отгадать, что там.

Взгляд невольно задержался на Иване Ивановиче. Чуткий и уважительный сосед. В то же время колготной и взбалмошный. В любую минуту может взорваться. И поднять шум. А потом, когда увидит, что напрасно, сморщится, как от боли, и скажет:

— Ишь ты, едят ё мухи. Взбрыкался, как необъезженный. Вожжа под хвост попала.

Но детектор все-таки тронул старика. Не раз он вспоминал слова, услышанные из Москвы. И не раз жалел, что не довелось еще послушать столицу.

— Это ж надо, а? — сокрушался он, когда заговаривали об украденной антенне.— Да как же можно так? Сам бы отрубил руки подлецам!..

Но про печи в клубе помалкивал. Будто ничего и не было. Молчал и я. Но молчал не потому, что забыл или смирился. Нет! Забыть и смириться трудно было. Ждал тепла. А когда оно придет, печник и сам назовется. И загладит свой грех перед народом.

Думая так, я смотрел на деда Редьку. А он, словно почувствовав мой взгляд, вдруг встрепенулся, заерзал на скамье и вскинул бороденку:

— Слышь-ка, Костенька, начинать бы пора. Не то вон как пропотели и провоняли чадом...

Другие тоже заворчали, требуя открывать сходку. Рябиков пробежал по лицам глазами, точно подсчитывая собравшихся, и сказал:

— Открывать так открывать. И правда, семеро одного не ждут...— И кивнул: — Валяй, Касаткин, докладывай.

Я встал, но меня опередил все тот же дед Редька.

— Слышь, Костенька,— сказал он, дернув себя за бороду.— А отчего не сам ты докладываешь? Ты ж у нас хуторской вождь. И мы уже привыкли к твоим докладам.

Костя скривился, будто проглотив какую-то тухлятину.

— Никакой я тебе не вождь,— сказал он.— А кто докладывает, не важно. Партячейка поручила ему. Он кандидат, ну и все тут.

— То-то, кандидат,— не сдавался Иван Иванович.— А на что нам кандидат, коль в натуре имеется член?

На деда зашикали. И Костя, ободренный поддержкой, сказал:

— И что ты лезешь в каждую дыру, Иваныч? Как какая-то затычка, честное слово! Ни одно собрание не обходится без твоих вылазок. Да были б вылазки подходящие... А то так, одна дурость.— И властным движением руки остановил пытавшегося возразить старика: — Сиди и слушай. Некогда нам с тобой дискутировать.— И снова мне: — Давай докладывай.

Я встретился глазами с матерью. Она смотрела на меня сурово, будто заранее осуждала. И глаза других карловцев показались строгими, осуждающими. По спине пробежал неприятный холодок, внутри что-то защемило. Но я взял себя в руки и, была не была, начал.

Я рассказывал о том, что такое товарищество по совместной обработке земли. Рассказывал обстоятельно и, как самому казалось, убедительно. О таком коллективном объединении я знал все до мелочей. А знал из газеты, которую получал на ячейку. В последних номерах она напечатала несколько рассказов о разных артелях. Из каждого рассказа я выбрал самое важное, объединил в одно целое, заучил на память и теперь шпарил как по писаному.

Мужики слушали в глубоком молчании. И смотрели на меня подозрительно, будто я готовил им западню. Но дали договорить, потом глухо загудели, беспокойно заерзали, звонко зашлепали губами, раскуривая цигарки.

И опять первым вскочил дед Редька. Сжимая в руках потертую капелюху, он спросил меня:

— Слышь-ка, мил друг, а откуль ты про все проведал? Ежели это, знамо дело, не секрет?

Я ответил, что обо всем, что рассказал, прочитал в газете. Дед Редька подергал себя за щупленькую бороденку и показал выщербленные зубы.

— А почему ж это мы должны верить газете? Можить, в той газете прописана сущая брехня. А ты нам энту брехню за чистую правду преподносишь?

Прежде чем я ответил, Рябиков стукнул кулаком по столу и наставительно сказал:

— Предупреждаю, дед. Не имеешь права подозревать наши газеты в брехне. Это тебе не буржуйская пресса, а советская печать.

— Усмиряюсь, Костенька,— просипел Иван Иванович.— Я только так, промежду прочим. Для выяснения, стало быть. А подозрениев не имеем. Упаси бог.

— Ясно,— сказал Рябиков.— Еще есть вопросы?

— А то как же? — встрепенулся Иван Иванович.— Беспременно есть. И главный такой...— Он повернулся ко мне, и на морщинистом лице опять расползлась хитрая усмешка.— А скажи-ка, мил друг, что допрежь явилось на свет божий — курица аль яйцо?

— Как это? — не понял я.

— А вот так,— пояснил старик.— Ежели, скажем, курица, то из чего она вывелась? А коль яйцо, то кто же его снес?..

Хохот всколыхнул дымное облако под потолком. Я растерянно смотрел на гогочущих мужиков, на визжащих баб и с обидой думал об Иване Ивановиче. И что за въедливый старик? И отчего ведет себя не по-соседски?

А Рябиков, утихомирив сходку, сердито сказал деду Редьке:

— Вопрос к делу не относится. И не баламуть собрание, дед. А то я не погляжу, что ты самый старый.

— Не согласный с тобой, Костенька,— возразил Иван Иванович.— Вопрос мой дюже к делу подходит. В самую притирку. А ежели вы с ним,— кивок в мою сторону,— не в силах справиться, то отвечу сам. И курочка и яичко разом на свет появились. А произвел их, значица, бог. Как и все сущее на земле. И нас сотворил такими, какие есть. А потому, стал быть, невозможно нас, как скотину, на общий баз...

— Ну хватит,— досадливо сказал Рябиков.— Садись, дед. Тебя выслушали. Послушаем кого другого...

От окна отвалился Костопаров, один из богачей Карловки, переступил валенками, словно утверждаясь на ногах, и неторопливым движением расправил бороду...

— Сообча оно, можить, и сподручней. А тольки как же это можно сопоставить? Чтобы справедливость соблюсти. Вот возьмем, к примеру, меня и кого-то из безлошадных. И что ж тодыть получится? Я на своих лошадках

буду пахать, сеять, скородить, снопы с поля таскать и прочие дела делать. А безлошадник в то время станет чем заниматься?

— Безлошадник в это время будет делать другое,— решился я восстановить свой пошатнувшийся авторитет.— Полоть сорняк, косить, снопы вязать, молотить.

Костопаров окинул меня снисходительным взглядом.

— Полоть, косить, вязать,— повторил он, наигранно улыбаясь.— А ежели я все это сам с сынами и невестками могу? В таком разе как быть?

— В таком разе как хотите, так и поступайте,— разошелся я.— Уж вас-то никто силком в артель не потянет. Обойдемся и без ваших сыновей и невесток...

— Ах, даже так-тось! — воскликнул Костопаров, сделав обрадованный вид.— Ну, тоды благодарствуем. И вопросов больше не имеем...

Костопарова сменил Гришунин, тоже видный карловец, владелец крупной пасеки. И этот не скрыл беспокойства. И, сравнив себя с многодетным бедняком, заключил, что тот, бездельничая, припеваючи будет жить в артели. Семен Палыгин, хромой сапожник и отец десятерых детей, приняв укор на себя, матерно выругался и заявил, что ни за какие деньги не согласится объединяться с костопаровыми и гришуниными.

— Еще надо посмотреть, кто больше бездельничает. А потом уж и оскорбление наносить. А то ответ держать придется.

А потом наступило молчание. Никто ни о чем не спрашивал, ни о чем не говорил. Мужики беспрестанно сопели цигарками, а бабы вызывающе поджимали губы. Будто сговорились играть в молчанку и сорвать сходку.

Рябиков много раз просил высказываться, но ответом было упорное молчание. И тогда он достал тетрадь, разгладил ее на столе и, послюнив карандаш, сказал:

— Не желаете говорить, будем записываться. Вступаю в ТОЗ первым.— И аккуратно вывел в тетрадке свою фамилию.— Кто следующий?

Вторым записался Семен Палыгин. За ним подали голоса еще трое безлошадников. И снова молчание. Я глянул на отчима. Согнувшись, он прикрывал лицо ладонями, будто стыдясь чего-то. Я перевел взгляд на мать. Она, наоборот, сидела прямо и не отрывала от меня глаз. И тогда я громко сказал:

— Записывай и меня.

Рябиков записал и мою фамилию. Снова поднялся дед Редька.

— А ты что ж, милый друг? — спросил он меня.— Никак всей семьей идешь?

— Нет,— ответила за меня мать.— Он записал себя. А мы покуда подождем.— И, накинув на голову шерстяной платок, встала.— Вот н весь сказ. А теперь прощевайте. Хватит воду в ступе толочь...

Она вышла. За ней встали другие бабы. За бабами потянулись мужики.

Проходя мимо стола, отчим проговорил:

— Правильная ваша затея, ребятки. А только народ пужается. И Прасковья Ивановна покамест ни в какую. Ни на что не поддается. Ни на какую агитацию...

И вот мы остались одни. Рябиков, Полыгин, я и трое других безлошадников. Долго молча смотрели друг на друга, будто увиделись впервые. Потом Костя сказал:

— Начало положено, товарищи! Оформим артель. Назовем, как и хутор, именем Карла Маркса. Никто не против? Считается принятым. А теперь изберем председателя. Называйте канндатуру...

Мы хором назвали его. Он кивнул, точно благодаря, и подытожил:

— Итак, ядро социализма зародилось и у нас. Теперь начнет расти и развиваться. Как плодовое дерево в хорошей почве...

* * *

Я не сомневался, что мать снова выгонит меня из дому, и перебирал в уме знакомых, где можно бы приютиться. Теперь я уже не чувствовал страха, как год назад, и не собирался прятаться.

Но мать не выгнала меня. Она только с нескрываемой горечью сказала:

— Живи как знаешь. Сам по себе. А мы самн по себе. И на нас не надейся. Чужой ты нам. Постоялец...

И, не желая слушать меня, вышла из хаты. А отчим, когда за ней закрылась дверь, попыхтел трубкой и сказал:

— А ты не горюй, сынок. Мать, известное дело, расстроилась. Тяжко смириться с твоим отколом. Но ТОЗ

этот самый вы образовали не напрасно. Я вот подумал и решил... Пора и нам начинать ломку. Хорошую жизнь никто на блюдце не преподнесет. За нее, как видно, придется драться. А драться с пользой можно только сообча. То есть, значица, коллективно. Так что верное приняли решение. И пусть он, ваш ТОЗ, покамест не ТОЗ, а «тозик», все одно — великое дело. Минет время, и артель разрастется. И всех нас объединит. Всех до одного. И мать наша пойдет. Как увидит, что не подвох, так и потянется. Она ж себе не лиходейка. А покамест надо подождать. Требуется время.— И, вздохнув, покачал головой: — На многое требуется время. И на то, чтобы ТОЗ образовать. И на то, чтобы кулаков одолеть. И на то, чтобы с отсталостью нашей покончить. На все требуется время. Даже на то, чтобы понять это самое время. Ну, значица, в какое живем. И уж придется набраться терпения. Другого выхода нет...

* * *

Однажды в селькрестком явилась Домка Землякова. Без приглашения опустившись на табурет у стола, она широко улыбнулась и подмигнула мне раскосым глазом:

— А я к тебе, председатель. Хлеб весь вышел. Последние крохи доедаем. Вызволи, председатель. От себя и детишек прошу.

С безотчетной тревогой я пододвинул к себе бумаги, боясь, как бы она не сцапала их.

— А самогонкой, что ж, уже не промышляешь? Это ж доходная статья.

Домка тяжело вздохнула и болезненно поморщилась:

— Лапонина-то посадили. Вот и статья лопнула.

— Кроме Лапонина есть другие винокуры.

— Других не знаю. Не связывалась. Только Лапониным кормилась.— И нахмурилась.— Да и с этим гадом не связалась бы, ежели б знала, что он людей травит. Простить не могу себе этого. А потому решила: хватит! Не хочу больше заниматься постыдным делом. Буду жить честно, как другие.— И вздохнула: — А тока нелегко так. Все, что было, истратила. Ни гроша, ни зернышка. Хоть клади зубы на полку.

По ней не видно было, что она нуждалась. Красноще-

кая, грудастая, она выглядела цветущей молодкой. И глаза настырно блестели. В крестком чуть ли не каждый день приходили бедняки. Больше всего это были вдовы. Прося помощи, они плакали, стонали. А эта не плакала, а улыбалась. И улыбалась так, будто пришла не хлеба просить, а в гости звать.

— Ну, так как же, председатель? Пудиков пять бы. И мукой, понятно. А то этот дьявол, Комаров-то, за помол уж больно дерет. Ну, вызволяй, председатель.

— Не могу,— сказал я, почему-то испытывая раздражение.— Не располагаю возможностью. Да и вряд ли ты нуждаешься.

— Ей-богу, нуждаюсь. Вот те крест.— И небрежно перекрестилась.— Нужда уже на плечах. Давить начинает. Ну, отпусти, председатель. Пудиков пяток. Двое ребятишек. Да и самой жрать надо.— И, воровато оглянувшись на дверь, подалась ко мне: — А я уж отблагодарю. Зайдешь как-нибудь, бутылочку разопьем. Самого крепкого достану.

Я чувствовал, как загораются мои уши. Хотелось надавать ей по щекам и выгнать вон. Ничего другого нахальная вдова не заслуживала. Но я сидел неподвижно, как пригвожденный к месту. И ничем не выражал негодования. Она была еще и кляузной, эта Землячиха. И несладко приходилось тому, кто попадал ей на язык.

— Ну, так как же, председатель? — спросила Домка.— Поладили?

— Нет, не поладили,— набрался решимости я.— Самогонка твоя не требуется. Угощай кого-либо другого. А я тебе неподкупный. Хлеба не дам. Ни за что не дам.

Домка обиженно поджала губы. А потом спросила:

— Что за причина, председатель?

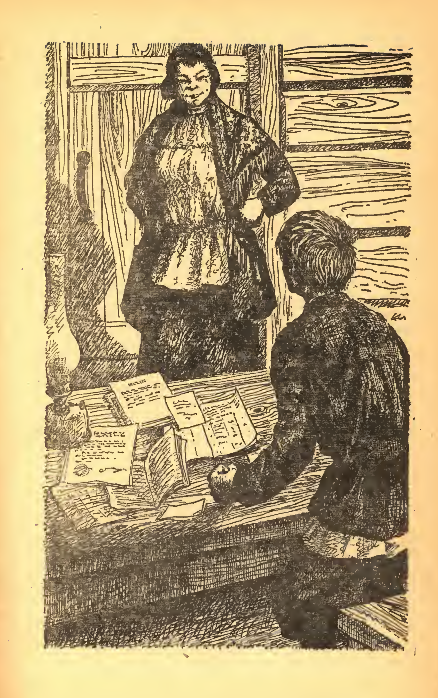
— Я уже сказал,— пояснил я.— Не такая уж ты бедначка.

— Как это не такая? — возмутилась вдова.— Двое сирот. Мужа в гражданку потеряла. Ни кола ни двора нет. Хата и та подпорок просит. Какую ж тебе еще бедначку?

— На самогонке небось немало наспекулировала? Сотнями, должно, загребала?

Домка полоснула меня злым взглядом:

— Ххха, сотнями! Какой ты провидец! Прямо в нутре все замечаешь....



— Ладно,— прервал я.— Кончим разговоры. Хлеба нет. Купишь в городе на базаре.

На круглом лице вдовы проступили коричневые пятна. А раскосые глаза совсем сузились и стали похожи на лезвие ножа.

— В город сам проваливай. А я в кресткоме получу. Не хуже других горемыка. Имею полное право. И требую.

Я не выдержал и, грохнув кулаком по столу, крикнул:

— А я не дам!

Домка вся выпрямилась и тоже бухнула кулаком по столу:

— Нет, дашь!

— Нет, не дам!

— Нет, дашь!

Усилием воли мне все же удалось удержать себя, и я, стараясь быть спокойным, сказал:

— Ну, вот что. Уходи отсюда. Сейчас же уходи. Иначе я не ручаюсь...

Домка смерила меня презрительным взглядом.

— Ах, так! — угрожающе прошипела она.— С тобой по-хорошему, а ты по-скотски? Ну что ж, как знаешь. А только пожалеешь.

— Это о чем же? — спросил я, почувствовав на спине холод.

— А все о том же,— усмехнулась вдова.— Распущу слушок. Молодчик-то этот, Хвиляка, за хлеб ласку потребовал. И не дал, как отказала...

От нее можно было ожидать что угодно. Но тут она превзошла все. Я долго смотрел на нее.

— И думаешь, тебе поверят?

— Еще как!

— Но это же брехня.

— И что ж что брехня? Кое-кто обрадуется ей. И раздует получше правды.

Вспомнились Дема и Миня Лапонины. Братья и впрямь с радостью подхватят клевету. И разнесут по всему свету. Они только и ждут случая, чтобы очернить противников.

— Да за такую выдумку я привлеку тебя к ответу.

— А ну, скажи, что сделаешь?

— В суд подам.

Домка весело засмеялась:

— Ну и глупой же. Да суду-то свидетели нужны. А где ты их возьмешь? То ж было меж нами, с глазу на глаз.

— Меж нами ничего не было.

— Это так. Но попробуй доказать...

Мне не хватало воздуха. Казалось, она забрала его весь в свою крутую грудь. Но и Домка дышала тяжело. И жгла меня горящим взглядом.

— Слушай,— сказал я.— Неужели у тебя нет стыда?

Домка опять рассмеялась. Но тут же, оборвав смех, насупилась.

— А на что мне стыд? И без стыда прожить трудно. А со стыдом и совсем околеешь.— И опять с вызывающей усмешкой глянула на меня: — Ну, так как же, председатель? По-хорошему аль со скандалом?

Да, этой женщине ничего не стоило оболгать. Она способна вывалять в грязи честь и совесть. Но почему же она так ведет себя? Может, и ей несладко приходится? И может, чуткость пробудит уважение к себе?

— Хорошо,— сдался я.— Приходи завтра. Тогда и решим.

Она опустила глаза, глубоко вздохнула:

— Спасибо и на этом...

И направилась к выходу. В дверях остановилась:

— А может, все же заглянешь? Как-нибудь вечерком...— И вдруг запнулась, даже смутилась.— Да ты не подумай... Не за хлеб это. Хлеба все одно дашь. Никуда не денешься. Просто так. Хочется угостить. Все ж таки хороший, видать, ты, дурачок.

— Ну, хватит тебе,— взмолился я.— Ступай уж. А завтра приходи. В это время.

Домка запахнула полы кофты, застегнула пуговицы и вскинула голову:

— Завтра приду. Только дашь муки.

— Муки не будет. Вся вышла. Заранее говорю.

Домка закусила губу. Так стояла несколько секунд, будто решая что-то. Потом сказала:

— Ладно. Дашь зерном. Пуд накинешь. Для Комарова на помол.— И снова зло сверкнула глазами: — И что вы с ним цацкаетесь? Народ средь бела дня грабит. А вы в рот ему смотрите. Отобрали бы мельницу в крестком. И мололи бы бедноте бесплатно. А всем прочим — по справедливости.— И с шумом выдохнула воз-

дух.— Была бы иа вашем месте, я бы давно с иим разделалась. Чтобы не сосал из народа последние соки.

Не простившись, она вышла. А я долго еще сидел иеподвижио. Почему-то ждал, что оиа вернется. Вернется, чтобы снова мучить меня. Но она не вериулась. И я почувствовал облегчеиие.

* * *

О встрече с Домкой я рассказал Лобачеву. Не утаил ни приглашения, ни угрозы. Думал: рассказ развеселит председателя сельсовета. Но Лобачев еще больше посуровел. И долго молчал. А потом глухо сказал:

— Когда придет, оставь нас вдвоем. Пропесочу чертовку. Чтобы впредь зареклась...

Домка явилась в назиаченный час. Увидев Лобачева, смутилась. Но тут же напустила иа себя беспечный вид и нараспев сказала:

— Здрасте, товарищ председатель! Мое вам почтеньице!

Я пододвннул ей табурет и вышел, плотно закрыв дверь. На крыльце остаиовился. Переждать поблизости. Может, поиадоблюсь.

Из водосточной трубы, свисавшей с крыши, со звоном выплескнвалась вода. Оиа весело журчала н в ручейках иа улице. Солнце ярко вспыхивало в окиах хат. Радостно было и на душе. В ближайшее время — открытие клуба. Всю зниму простоял он под замком. А теперь мы опять перекочуем туда со своими делами.

А еще радостио было оттого, что пришло письмо от Машн. В этот раз оиа пнсала много и откровенио. Она уже работала токарем. Жила одна в комнате, где мы встречались. Зять с семьей недавио переехал в иовый дом.

«Я часто вспоминаю иашу встречу в городе,— пнсала Маша.— Вижу тебя перед глазами. Тебя, такого близкого, родного и теперь уже совсем далекого...»

Неожиданно из-за дома вышел Мння Лапоннн. Увндев меня, остаиовился. С минуту постоял н решительио двинулся к крыльцу.

Я спрятал пнсьмо в кармаи, застегиул пиджак. Встреча с Прыщом всегда настораживала. И я всякий раз невольно подтягивался, готовясь к отпору.

Подойдя к крыльцу, Миня скабрезно ухмыльнулся и пренебрежительно процедил:

— Привет, секлетарь! Давно собираюсь покалякать. Хочу знать, когда перестанешь вредить. Отца засадил в тюрьму, ладно. Туда ему дорога. А вот за Клавку не благодарю и предупреждаю.

Я не понял, о чем речь. Миня снова поморщился и зло продолжал:

— О Клавке Комаровой говорю. У меня к ней чувства, а ты впутываешься.— И, видя, что я опять ничего не постиг, спросил: — На станцию ты с ней в одних санках ездил?

— Ездил.— Все-таки Парамон выдал хозяйскую дочку.— А что?

— В одном тулупе сидели? — продолжал Миня, не ответив.— В город на одном поезде катались? А что в городе делали?

Я с презрением посмотрел на него.

— А тебе-то что за дело?

— А то мне за дело, что сказал уже,— окрысился Миня.— У меня к ней чувства. И может, на всю жизнь. А ты лезешь. Вот и предупреждаю. Не суйся. А то отобью охоту.

— А ну попробуй,— сказал я.— Ну-ка, отбей. Хоть сейчас.

С этими словами я сошел со ступенек и сжал кулаки. В кармане у меня лежало письмо Маши. А перед глазами стояла она сама с синяками на теле. И мне хотелось наделать таких же синяков на бугристом лице Прыща. Но тот не принял вызова. Трусливо втянув шею в воротник бобрикового пиджака, он отступил назад.

— Ладно, секлетарь,— процедил он сквозь зубы, забитые едой.— Больше предупреждать не будем. Хватит. Теперь будем...

И, недосказав, зашлепал по грязи. А я поднялся на крыльцо. И опять достал письмо Маши. Но теперь ровные строчки запрыгали перед глазами. А на бумаге проступило девичье лицо. Оно было таким, каким я видел его перед отъездом Маши в город. Измученным, обиженным, страдальческим. Я сунул письмо в карман. И до боли стиснул челюсти. Нет, никогда не забуду того, что случилось. И не успокоюсь до тех пор, пока ненавистный Миня не получит свое.

В коридоре послышались шаги. На крыльцо вышла Домка. Выглядела вдова теперь неуверенно, даже сконфуженно.

— Ну как? — спросил я, с любопытством разглядывая ее.— Договорились?

Домка с нескрываемым сожалением посмотрела мне в лицо.

— Эх ты, рашпиленок! — проговорила она.— Уж и растрепался. Не выйдет из тебя ничего путного.

Покачивая бедрами, она сошла по ступенькам и крупно зашагала по стежке, покрытой еще гладким, но уже потемневшим ледком. А я смотрел ей вслед и не испытывал обиды. Да на нее и грешно было обижаться. Как могла, она боролась за свое место в жизни. И не ее вина, что в этой борьбе ей приходилось пользоваться недозволенными приемами.

Когда Домка скрылась за углом, я вернулся в сельсовет. Лобачев, словно успокаиваясь, прохаживался по комнате. И у него был какой-то неуверенный, даже смущенный вид, точно он провинился в чем-то.

— Вот что,— сказал он, едва я опустился на стул.— Мы поговорили тут. Поговорили начистоту. Думаю: кое-что поняла. А кое-что поймет потом. Не все сразу. Что касается хлеба, придется помочь ей. Нам она не чужая и не чуждая. Теперь самое время оторвать ее от врагов...— И, взяв со стола бумагу, положил передо мной.— Ее заявление. Пока что на три пуда. А там посмотрим...— И снова прошелся по комнате, подумал, точно припоминая что-то.— И условимся так. Отныне будем вместе разбирать просьбы на хлеб. Так будет лучше для тебя и для просителей...

* * *

В клубе было зябко и сыро. Но зато весело и вольно. Мы поставили стол перед окном, через которое прогревало солнце, и дышали паром.

Я пересказывал письмо Маши. А пересказывал потому, что не мог прочитать. В нем было кое-что такое, что касалось только нас с ней. Я сказал, что забыл письмо дома, хотя оно лежало в кармане.

— Работает на том же заводе. Приобрела специальность токаря. Даже станок получила. Работает с подъ-

емом. Норму выполняет. Очень полюбила завод. Он для нее стал вторым домом. Полюбила и заводских ребят. Много друзей среди них заимела. Они хорошие, те ребята. В точности как мы с вами.

— Так и пишет? — спросил Андрюшка Лисицын.

— Так и пишет,— подтвердил я.— В точности как вы, мои дорогие знаменцы. Вот так сказано.

— Все ж таки добрая она, наша Маша,— заметил Семка Судариков и цокнул языком.— Хоть и удрала, а все ж таки славная.

— А потому ж и рабочие ребята подружились с ней, что славная,— добавил Яшка Поляков.— Пустомельке какой-нибудь не обрадовались бы.

Ребята задушевно говорили о Маше. Это радовало меня. Они по-прежнему любили ее. И по-прежнему считали своей. Теперь она была вроде бы нашим представителем в рабочем классе. И это вызывало удвоенную гордость.

Когда ребята затихли, я продолжал:

— Вот так о заводе. Конечно, по Знаменке скучает. И про нас с вами не забывает. Часто думает, как мы тут. Что делаем, чем занимаемся. И просит писать почаще. Почаще и подробнее. Про все, над чем трудится ячейка. И про новости, какие есть у нас. И конечно, всем передает приветы и пожелания. Всех обнимает, целует и так далее.

Я замолчал. Ребята не сводили с меня глаз, они словно жалели, что письмо кончилось. И мысленно были с Машей. Это видно было по их светившимся лицам. И у меня на душе было светло. Хорошо, что они принимали в ней участие. И продолжали считать ее знаменской.

— А знаете что? — сказал Сережка Клоков, окинув нас голубыми глазами.— Давайте пошлем ей письмо. Коллективное. Вроде бы отчитаемся. Это порадует ее. А кроме того... Она ж покажет наше письмо рабочим-комсомольцам. И те узнают, как мы тут строим социализм.

Предложение Сережки понравилось всем. Володька Бардин положил передо мной тетрадку и сказал:

— Записывай, Хвиля. А мы будем диктовать. Вначале напиши: рады ее весточке. И за приветы поблагодари. А потом — о делах. Хвалиться особенно нечем. Но все же работа не стояла на месте. Приняли в комсомол Полякова и Судarикова. Вот они сидят тут, закадычные дружки.

Еще четверых подготовили. Ребята хоть куда. Скоро будем принимать.

— Обидно только, что девчата не идут,— пожаловался Гришка Орчиков.— Прямо калачом не заманишь... А без девчат даже в комсомоле скучновато.

— Пойдут и девчата,— написал я от себя.— И они уже не те, какими были. Нас больше не дичатся. И в делах наших участвуют. Так что скоро и на этом фронте будет победа.

— Про весну упомяни,— подал голос Андрюшка Лисицын.— Наступает она со всех сторон. Уже грачи прилетели. И ручьи звенят, как балалайки. Скоро поедем пахать и сеять. Жаркая будет работка.

— В поле выедут не только единоличники, а и ТОЗы,— добавил Володька Бардин.— Их пока что три на весь сельсовет. Маломощные и слабосильные. Но все же коммунистические зачатки. Будут служить примером. И звать остальных на путь новой жизни.

— В ТОЗы вступили все комсомольцы,— сказал Сережка Клоков.— Обещаем работать по-ударному. Не хуже рабочих ребят на ее заводе...

Неожиданно в клуб вошла Ленка Светогорова, наша карловская девчонка. Она осмотрела нас и осторожно приблизилась к столу.

— Тут, что ли, в комсомол принимают?

Несколько мгновений мы молча смотрели на Ленку. Потом разом вскочили и наперебой стали упрашивать ее садиться. Она загадочно усмехнулась, присела на скамью и отбросила назад толстую, цвета ржи косу.

— Вот пришла,— сказала она, хлопая длинными ресницами.— С просьбой к вам. Примите, пожалуйста, в комсомол...

Я спросил ее:

— А зачем тебе комсомол?

Ленка подумала и певуче ответила:

— Чтобы учиться. И чтобы передовой быть...

— А родители как? — спросил Володька Бардин.— Позволили?

— Позволили,— ответила Ленка.— А если бы не позволили, не пришла бы.

— Ты знаешь,— заметил Андрюшка Лисицын,— что комсомольцы не верят в бога?

— Знаю,— пропела Ленка.— И тоже не буду верить.
— А сейчас веришь? — спросил Семка Судариков.
— Сейчас верю,— призналась она.— А почему же не верить, коль не комсомолка?..

Я слушал Ленку и испытывал необычайное волнение. Она была тоже хуторянка. Отец её недавно записался в ТОЗ. Это был первый середняк в нашей артели. А теперь вот дочь пришла в комсомол. Одна из самых лучших девушек. Что поет, что пляшет. И на работе равных нет.

Ребята расспрашивали Ленку и смотрели на нее, улыбаясь. Не скрывали радости, будто она становилась сестрой. Вспомнилась Маша Чумакова, которой мы только что сочиняли ответ. Вот и явилась ей замена. И в ячейке не будет унылого одиночества. Ведь за Ленкой придут и другие девчата. Теперь в это верилось.

Сережка предложил сейчас же принять Ленку. Но Володька Бардин возразил:

— Нет, нет! Так нельзя. Пусть подает заявление. Соберем ячейку. Чтобы все как положено...

Мы согласились с Володькой. Всем хотелось, чтобы прием прошел торжественно. И чтобы важность события почувствовала не только Ленка, а и мы сами. Сережке не терпелось, потому что Ленка была его подружкой. Но он все же не настаивал на своем. И даже пообещал помочь Ленке подготовиться.

— Устав проштудируем,— сказал он, глядя на Ленку во все свои голубые глаза.— И о задачах потолкуем...

Когда Ленка собралась уходить, мы все, как по команде, встали. Она усмехнулась и, потупившись, спросила:

— Только скажите, косу в комсомоле обязательно отрезать?

— Нет,— сказал я.— Совсем не обязательно.

— Ну, что я тебе говорил? — упрекнул Сережка.— А ты все не верила. И боялась.— Он вдруг смутился, точно решив, что выдал себя.— Носи на здоровье.

— Такая чудесная коса! — сказал Володька.— И так идет тебе. Мы не только не заставим отрезать, а не примем, если отрежешь...

Ленка счастливо зарделась.

— Ну, тогда спасибо. И до свидания! — проговорила она, скользнув по нашим лицам веселым взглядом.— Пойду готовиться...

Неторопливой походкой она вышла. А мы еще некоторое время смотрели на дверь, за которой скрылась будущая комсомолка. А потом Гришка Орчиков сказал:

— Знаете что! Давайте объявим Сережке благодарность. Это же он ее сагитировал.

Оттопыренные уши Сережки порозовели.

— Какая там благодарность! — простодушно отмахнулся он.— Я ж ничего не добился. Маялся, маялся, и все без толку. Никак не поддавалась. Плюнул и бросил. Как хочешь, так и делай. А она вон явилась. Явилась сама по себе, без моей агитации.

— Слушайте, ребята,— сказал Митька Ганичев.— А у меня есть предложение. Давайте решим так. Каждый должен вовлечь свою девушку в комсомол.

— А если ее нет, девушки? — спросил Яшка Поляков.— Тогда как?

— Тогда надо заиметь,— посоветовал Семка Судариков.— В самое ближайшее время. И сразу в комсомол вовлечь.

— А ежели она не вовлечется? — спросил Гришка Орчиков.— Ежели у нее трудный характер?

— Если так,— сказал Митька,— тогда побоку ее. И другую завести.

— А любовь? — встревожился Гришка.— Как с этим?

— Любви не может быть с такой, какая не в ногу с нами,— разъяснил Митька.— Сперва пускай сознание свое поднимет. А потом уж и в комсомольца влюбляется...

Разговор прервал Илюшка Цыганков. Он вбежал в клуб и долго не мог отдышаться. А когда отдышался, сказал, стуча зубами:

— Прошка помирает. Лежит опухший и синий. Вот-вот кончится.

* * *

К Прошке рвалась вся ячейка. Но после недолгого спора решили отправить троих. Илюшку, Володьку и меня. Остальные согласились ждать в клубе. Либо все мы, либо кто-то из нас должен как можно скорее вернуться и доложить, что случилось...

До Котовки, где жил Прошка, по распутью было неблизко. Расстояние вполне достаточное, чтобы хорошо и

пропотеть и поразмыслить. Я ругал себя за бездушие. Около месяца Прошка не показывался на глаза. Но меня это не беспокоило. И только сегодня я попросил Илюшку забежать к Архиповым. А почему не забежал сам? Почему не встревожился?

Сказать правду, у меня была причина чураться Прошкиного дома. Я стыдился показываться Варваре Антоновне на глаза. Все еще памятна была встреча с ней в сарае, когда она отхлестала меня метлой. Впрочем, беспокоился я не только за себя. Казалось, и она не забыла этого случая. И чувствовала бы себя со мной тоже не в своей тарелке. Я не был тайным комиссаром, для которого она не жалела еду. Но я и не заслуживал того, чтобы меня выпроваживали метлой.

Встретила нас сама Варвара Антоновна. Она еле передвигалась и выглядела тоже болезненной. А глаза красные, заплывшие, будто изошедшие слезами. Мы приблизились к кровати, на которой лежал Прошка. Он не услышал, ничего не почувствовал, точно уже был неживой. Но открыл глаза, когда мы позвали его.

— Вы? А я думал...

Он выглядел полным. Но полнота пугала. Страшила и синева. Она подкрашивала глазницы, потрескавшиеся губы.

— Что с тобой, Проша? — спросил Володька, наклоняясь над больным.— Отчего это?

Прошка облизал губы, с трудом перевел дыхание. Видно было, что силы его истощаются.

— Ниотчего,— ответил он и снова опустил веки.— Не беспокойтесь.

— Надо доктора,— предложил я.— Немедленно.

— Не надо,— качнул головой Прошка.— Не нужен.

— Не поможет доктор,— заголосила Варвара Антоновна.— Хлеб нужен. С голоду это, а не с болезни. Две недели хлеба в рот не брали...

Я снова перевел взгляд на Прошку и весь содрогнулся. В памяти встал страшный голодный год. Таким же пухлым и синим был и я тогда. И не лекарства, а хлеб выручил. Хлеб, привезенный отчимом с Кавказа.

— Почему же вы молчали?

Варвара Антоновна глянула на сына и опять заплакала:

— Упрашивала, богом молила. Сходи, говорю, в

крестком и попроси. Другим-то дают. А чем мы хуже? Так нет, не послушался. Другим, говорит, нужней. А мы, говорит, как-нибудь перебьемся. Вот и перебиваемся. Сам уже свалился. Не нынче-завтра свалюсь и я. И тогда конец.

Она глотала слезы и фартуком вытирала глаза.

— Успокойтесь,— сказал я, готовый и сам расплакаться.— И простите нас. За то, что ничего не знали...

Я кивнул ребятам, и мы тихо вышли. А на улице чуть ли не бегом бросились назад. По дороге условились обо всем. Пока мы с Илюшкой будем насыпать муку, Володька сбегает домой за санками. На санках отправим хлеб Архиповым.

— Почему же Прошка молчал? — спросил Володька.— Чего дожидался?

— Настырства не хватало,— ответил Илюшка.— Как у некоторых.

Илюшка был прав. Этих некоторых насчитывалось немало. Они чуть ли не с боем добивались своего. А Прошка мучился и молчал. Ради других обрекал себя и мать на голод.

Выписав из неприкосновенного запаса муку, я вместе с Илюшкой отправился в амбар. Подоспел и Володька с санками. Ребята подхватили мешок, уложили на санки и повезли.

— Передайте тетке Варе! — крикнул я вдогонку.— Кормить надо понемногу. Сразу досыта опасно.

Закрыв амбар, я отправился в клуб. Там ждали комсомольцы. Они волновались. И надо было успокоить их.

* * *

Дома у нас гостила Нюрка с мужем. Они сидели за столом и ели яичницу. За столом также сидели мать и отчим. Но они не дотрагивались до еды. Яичницей угощали зятя. Таков был обычай. Сами же мы лакомились яйцами на пасху. По другим праздникам мать делала из них драчонки.

Меня не пригласили к столу. Не для постояльца угощение. Сейчас мать отправится на кухню, наложит пшенной каши, польет борщом и кликнет меня. Но мать не торопилась. Она сидела со скрещенными руками и с уми-

лением смотрела на зятя. Я тоже смотрел, как Гаврюха уплетает яичницу, и завидовал ему. В желудке у меня противно ворочалась боль. А в душе нарастало негодование. Я отдавал всю зарплату, а получал борщ да кашу. Да косые взгляды матери. Вот и теперь она коснулась на меня, как на постороннего. И ничуть не беспокоилась.

Долго молчали. Слышалось только Гаврюхино чавканье да посапывание отчима, тянувшего трубку. Но вот Нюрка, шмыгнув носом, вдруг спросила:

— Слышишь, Хвиль, не то правда, что ты в какую-то артель записался?

— Правда,— подтвердил я.— И не в какую-то, а в нашу карловскую. А тебя почему это интересует?

— Да так просто,— сказала Нюрка.— Вроде брат ты мне.

— А если брат, так твоим умом жить должен?

— А что ж? — подтвердила Нюрка.— Неплохо было бы.

— Ты так думаешь?

— Даже уверена.

— А я думаю: твоего ума тебе и самой не хватает.

Нюрка покраснела и закусила губу. Я ждал, что за нее заступится Гаврюха. Но тот ничего не понял. И продолжал уплетать яичницу. А когда съел все, вытер губы рушником, лежавшим на коленях, и глубокомысленно сказал:

— Какккая тттам артттель?! Ттюха да мматюха, да коллупай с брррратом...

Зять заикался больше обычного. Теща угостила и самогонкой. А бутылку убрала, чтобы сын не увидел. Она любила зятя больше, чем сына. Ну что ж, сердцу не прикажешь. Вон с какой угодливостью подливает ему молока. А про сына и совсем забыла, будто его и не было. Или серьезно считает меня квартирантом? Ну и пусть. Сама знает, что делает. Я же не позволю себе поступать с ней, как с квартирной хозяйкой.

Не удостоив Гаврюху ответом, я вышел. И отправился в холодную комнату. Недавно мать совсем переселила меня в нее. Со стен смела паутину, земляной пол посыпала песком. А когда сделала все, сказала:

— Ну вот. Большего постояльцу и не положено.

Я не возразил. Даже поблагодарил ее. И сделал это от чистого сердца. Мне и в самом деле было лучше в

этой комнате. Никто не мешал читать и думать. Только холодно было спать. Весна лишь начиналась. По утрам деревья еще рядились в иней. Мороз печатал и на стеклах окон легкие узоры. И я корчился на жестком топчане под ветхой дерюгой. Но я не жаловался. Да и жаловаться не было проку. Мать выслушала бы и сказала:

— Не нравится? Можешь искать другое жилье. Удерживать не стану...

Войдя в комнату, я повалился на топчан. Обида и злость перемешивались в груди. А перед глазами стояли Прошка и Гаврюха. Один — пухлый от голода, другой — розовощекий от сытости. И вспоминался разговор с ребятами. Они терпеливо дожидались в клубе. И когда я рассказал обо всем, долго молчали.

— Да,— протянул Сережка Клоков, глядя через окно.— Трудное время. Столько лишений.

— Жалко Прошку,— сказал Андрюшка Лисицын и скривился, точно самому стало больно.— Такой парень... А мы ни разу не проведали.

— А почему так? — спросил Яшка Поляков, обводя ребят осуждающим взглядом.— Да потому, что мало у нас этого... Как его?.. Сообщения, что ли? Мало, стало быть, меж собой сообщаемся. Все в сельсовете да в клубе. А почему бы не собираться в хатах? Сперва, к примеру, у меня. Потом — у тебя. Потом — у него.

— Тут другое,— вмешался Семка Судариков.— Тот же крестком. Другим хлеб дает. А комсомольцам... Кто из нас получил от него помощь? Разве ж мы не такие люди?

— Такие и не такие,— ответил Гришка Орчиков.— Мы должны заботиться не о себе, а о других. Я хочу сказать, о других больше, чем о себе. Иначе какие ж мы будем комсомольцы?..

Теперь, лежа на топчане, я думал об этом разговоре. Такие мы или не такие? Насколько больше других отпущено нам невзгод и лишений? И где та дорожка, которой надо держаться, чтобы не сбиться с пути?

Опять перед взором возник сытый Гаврюха. И мать, заискивающая перед зятем. И обида сильней заточила под ложечкой. И что нашла она в нем особенного? Почему раболепствует перед ним? И тратит на него мои деньги? Да, мои. Ведь у нее теперь не было ни гроша. Все ушло на жеребенка, приданое Нюрки и Лапониных, с ко-

торыми наконец-то расплатились. И семья пробавлялась моим скудным заработком. Но мать все же не жалела денег на зятя. И каждый раз потчевала его самогонкой.

Я приказал себе не распускать нюни. Так провозгласил Прошка, когда мы клялись отдавать себя борьбе с врагами. Ах, Прошка, Прошка! Какой ты славный парень! И какой чудной. Почему ты не признался мне? Да я бы отдал свой кусок, если б он был даже последний. Ради чего терпел муки? Вон какие схватки полосуют мой живот. Прямо хоть кричи караул. А ведь я не ел только полдня каких-то. Каково же было тебе, пережившему столько голодных дней?

В сенях послышались шаги. Дениска? Если бы догадался заглянуть. Я попросил бы принести хотя бы корку хлеба. Но это была Нюрка. Она вошла как-то робко, поставила табурет напротив топчана и осторожно присела.

— Слышь, Хвиль,— вкрадчиво начала она.— Просьба к тебе. Дал бы хлеба немножко. Хоть пудов шесть.

Я глянул на нее. Не шутит ли? Нет, не шутила. Взгляд выдержала не моргнув глазом.

— Почему это я должен давать вам хлеб?

— А так,— сказала Нюрка.— По-родственному. Мы прикидывали. Не хватит до урожая.

— Не хватит, так подкупите.

— А где его подкупишь? У частников дорого. Денег таких не наберешь. А государство не продает. Вот и просим по-родственному. Отпусти пудов шесть.

— Нету у меня хлеба,— сказал я.— Нету. Понимаешь?

— Как же нету? — удивилась Нюрка.— Другим даешь, а для своих нету? Как же это?

— Даем бедноте. А вы середняки.

— Что ж, что середняки? — возразила Нюрка.— Зато тебе родственники.— И заморгала глазами, словно собираясь расплакаться.— Ну уважь, Хвиль. Вечерком подъедем. И ни одна душа не дознается.

— Нету у меня ничего! — закричал я, вскочив с топчана.— Нету! Понимаешь? Себе крохи не возьму. И вам не дам. И отстань!

Нюрка помолчала, вздохнула и поднялась.

— А и правда чужой ты,— сказала она с нескрываемой горечью.— Совсем чужой.

И гордо удалилась. А я опять упал на топчан и, чтобы не зареветь, закусил подушку. Так лежал долго. Уже начал засыпать, как почувствовал на шее у себя теплое дыхание. Это был отчим. Он протянул кусок сала и скибку хлеба.

— Повечеряй,— проговорил он, озираясь на дверь.— У матери стырил. Оно хочь и ржавое, сальцо, а все ж пользительное. Перехвати чуток. А то они долго будут калякать.

Я с жадностью набросился на еду. А отчим сидел напротив и смотрел на меня своими ласковыми, добрыми глазами.

* * *

Утром на следующий день я получил вызов в райкрестком. Бумажку привез Максим Музюлев. На словах передал, что Родин, предкресткома, приказал захватить с собой данные о запасах продовольствия.

— Старик, видно, беспокоится,— добавил Максим, хотя Родину было еще далеко до старика.— Правильно ли ты тут хозяйничаешь? Не привораживаешь ли хлебушком вдовушек?..

Вызов озадачил меня. Зачем понадобился я Родину? До этого он мало интересовался нашим кресткомом. Либо был уверен, что и без него управимся, либо считал неудобным командовать в родном селе? И вот этот неожиданный вызов. Да еще с данными о продовольственных запасах. Уж не замыслил ли что райкрестком?

Принял меня Родин как желанного гостя. Дружески похлопал по плечу. Усадил на шаткий стул сбоку стола. И посмотрел с такой улыбкой на лоснящемся, но уже тронутом морщинами лице, что мне стало не по себе. Так ненасытный обжора смотрит на лакомый кусок, который хотя и близко, но дотянуться до него не просто.

Разговор начался о будничных делах. Я докладывал о том, что делал селькрестком. Не умолчал, что получил от конезавода согласие продать нам двенадцать лошадей. И что уже послал туда с деньгами и доверенностью четверых комсомольцев.

Родин одобрительно закивал. И с похвалой сказал:

— Это хорошо, молодец! Дюжина коней... Большое

подспорье для колхозов. В такие колхозы беднота с радостью повалит. Да и середняк оценит мероприятие. Скажет, не на ветер брошены его денежки...

Но он недолго рассуждал об этом. И я решил, что дела наши сейчас мало интересовали его. И не ошибся. Неожиданно вскинув на меня маленькие, глубоко запавшие глаза, он спросил, каким продовольственным фондом располагает селькрестком. Тревога заворошилась в душе. А с ней появилось желание утаить часть хлеба. Но язык не повиновался врать. И я сказал правду. Родин поморщил лоб, тужась что-то подсчитать. И с довольным видом откинулся на спинку стула.

— Добро! — вымолвил он.— Хлеба у вас больше чем достаточно. Для одного села — непозволительная роскошь. А потому придется поделиться с другими.

— Как поделиться? — еле выговорил я, будто слова Родина застряли у меня в горле.— С кем поделиться?

Родин откровенно усмехнулся. И глянул на меня повеселевшими глазами. Он как будто уже держал в руках лакомый кусок.

— Поделиться — значит часть хлеба отдать другим,— пояснил он.— А другие — это роговатовская беднота. Соседняя знаменцам голытьба. Вот ей твой селькрестком и поможет. Операцию эту поименуем соседской выручкой.

Я растерянно уставился на него. И наверно, до того обалдел, что потерял чувство времени. Родин скривился, как от зубной боли. И наставительно, как старший глупому подростку, сказал:

— Ну, что ты выпятил на меня зеньки? Говорю, с роговатовцами хлебом поделиться придется. Выручить тамошнюю бедноту. Бедствуют от голодухи. Того и гляди, опять к кулакам в кабалу подадутся. А еще хуже — концы отдавать начнут. А это будет позор для нашей политики. При советском строе — и то же, что при царском режиме.

Мороз пробежал по спине. Вспомнился Прошка Архипов. Какие муки перенес он, голодая. Потом память пододвинула более далекие годы. Когда семья наша мучилась от голода. Кажется, ничего страшнее не может быть. И сразу же встали перед глазами знаменские вдовы и сироты. Что же, и им грозила такая участь?

— У нас нет ничего лишнего,— сказал я.— Только для самих себя — в самый обрез. Для своей бедноты до урожая не хватит.

Родин сердито засопел. Нос его, утыканный черными точками, задвигался вверх и вниз.

— Своя, своей! — передразнил он.— А та беднота чья? Американская, что ли? Или немецкая? — И побарабанил короткими пальцами по столу.— И когда это мы, коммунисты, перестанем делить людей на своих и чужих? Вредная, оппортунистическая политика. Беднота вся наша. Где бы она ни жила и ни бедствовала. Понял?

— Нет! — ответил я, чувствуя, как в душе нарастает протест.— В каждом селе есть свой крестком. Он обязан заботиться о своей бедноте. А не надеяться на других. Потому что надеяться на других — легче всего.

Родин жестом остановил меня. Похлопал в ладоши, точно аплодируя. И, состроив улыбчатое выражение на лице, сказал:

— Вот что, дорогой юноша! Я вызвал тебя не речи твои выслушивать. А потому слушай и запоминай. Повторять не намерен. Половину хлеба передать в Роговатое. Конечно, не бесплатно. Но и не за наличные, а в кредит. И конечно, по государственной цене. На днях оттуда к тебе прибудет представитель с подводами. Передачу оформить соответствующим актом. Ясно?

Меня начинало лихорадить. Готовы были застучать зубы.

— Нам самим нужен хлеб,— упорствовал я.— Мы посчитали... До урожая еле хватит. Да и то если выдавать самым бедным.

— Я знаю твоих бедных,— прервал меня Родин.— Сам немало возился с ними. Они такие, что из глотки вырвут. Разные там землячихи, козибохи да подкопышки. А только придется умерить их аппетит. И ограничить выдачу помощи. Тогда у вас не только не хватит, а и половина останется. Вот эту половину и придется продать роговатовцам.

Я замотал головой:

— Нет!

Родин вонзился в меня своими маленькими и ставшими острыми глазами.

— Что нет?

— Не дам хлеба! — решительно заявил я.— Не только половину, а и одного пуда!

Толстокожее лицо Роднна стало покрываться рыжимн пятнами.

— Ты что это, молодой человек? — грозио нахмурился он.— Райкресткому не подчнняться вздумал? Своевольннчать?..— И, словно опомннвшись, сбавил тои: — Не дури, Касаткин! Ты хоть и мальчишка, а должеи понимать. Это не нгра в бнрюльки. Я говорил роговатовцам о тебе как о хорошем парие. Так вот, ие испогаиь мою характеристику.

Я снова замотал головой. На этот раз еще настойчивей. Словно разгоняя дурмаи, которым Родни обволакивал меня.

— Хлеба не дам! Ни за какне деньги! Хоть зарежьте!

Родин подвигал скуламн. Пошевелнл тоикнмн губами. Будто про себя, иепрнлнчно выругался. И угрожающе сказал:

— Как видио, ты не понимаешь дружеского языка. Тогда перейдем на служебный. Прнказываю как председатель райкресткома. Половнну нмеющегося у вас хлеба продать роговатовскому селькресткому. Об исполнении донестн в иедельный срок.

— Приказ не будет выполнеи! — в тон ему ответнл я.— И об исполнении не донесу. Хлеб иикому не даднм и не продадим.

Взлохмаченные брови Роднна опустилнсь на глаза. И почти закрылн их. С минуту он беззвучио жевал. Будто пережевывал мои слова. И безнадежно развел рукамн.

— В таком случае мы снимем тебя с работы.

— Пожалуйста! — сказал я.— Но для этого вам прндется спроснть тех, кто нзбрал меня. Если они согласятся с вами, я уйду. Тогда можете творнть что хотите. И отвечать за все сами. А только думаю: вряд лн вам удастся снять меня. Беднота наша не позволнт вам учннить такую расправу.

Последине мои слова как бы отрезвилн Родииа. Ои вдруг утратил важную осанку. И гордость, которая выпирала из него. И передо мной предстал иеказнстый мужнк. Простоватый, недалекнй. Горлом возвелнчнвающий себя. И обретающий истииный вид, как только горло оказывается бессильиым.

— Хорошо,— сказал он.— В таком случае посмотрим, что ты запоешь у Дымова. Он враз собьет с тебя ребячью спесь. Избавит от молодеческого ухарства.— И, не оборачиваясь, крутнул ручку телефонного аппарата, висевшего на стене.— Станция? — спросил он, дунув в трубку.— Товарища Дымова прошу!..— И уже совсем другим, угодливым голосом: — Митрий Иваныч?.. Родин это... Я опять по поводу хлеба... Касаткин у меня... Да... Упрямится... Даже дерзит... Прошу разрешения зайти с ним... Хорошо, Митрий Иваныч! — И, повесив трубку, встал.— Не захотел мирно решить дело, получишь порку в райкоме. Дымов пропишет тебе партийную ижицу. У него на таких самочинцев рука увесистая...

Мы вышли на площадь. И по хрусткому ледку двинулись к белому домику, стоявшему на другой стороне. Чуть клонясь к земле, Родин шел впереди. Он словно с трудом нес живот, почти удвоившийся за зиму. А я плелся следом. И душу мою скребла обида. Неужели я и правда достоин порки? И неужели ж Дымов так же несправедливо поступит с нашей беднотой?

* * *

Дымов был занят. И мы присели в передней. За столиком у двери кабинета на пишущей машинке стучала пожилая секретарша с зачесанными назад седыми волосами. Секретаршу звали Ефросиньей Алексеевной. И мне она казалась чудодейкой. Раза два или три случалось заходить сюда. И я невольно задерживался, с восхищением глядя на ее работу. В самом деле, разве ж не чудо, что машинка под ее пальцами так ловко и так красиво выбивает на бумаге печатные буковки? Это ж на ней можно напечатать целую книгу!

Но сейчас я не замечал чудо-машинки. И не восхищался искусством Ефросиньи Алексеевны. Другие мысли занимали голову. Я думал о предстоящей встрече с Дымовым. Он всегда казался правдивым и справедливым. И слова его для меня были законом. Даже не простым, а партийным. Что же будет теперь? Неужели и он, как Родин, прикажет отдать хлеб? И что мне делать, если так и будет?

Из кабинета вышли Малинин, начальник милиции, и

сухопарый Сучков, районный прокурор. Они поздоровались с Родиным. А меня не заметили. Как будто, где я сидел, была пустота.

— Жалобы на тебя, Андрей Васильич! — сказал Сучков, раскачиваясь на длинных ногах.— Хлебом бедноту не обеспечиваешь. Пишут: жалованье будто ни за что получаешь.

Родин обиженно надулся. И ответил, сотворив на лице болезненную гримасу:

— Я сижу на таком деле... Любого посади — мил не будет. На таком посту всем угодить все равно что без бабы родить. Да и угождать-то нечем. Мои закрома как у нищего сума. А я не Христос, чтобы одной ковригой накормить тридцать тысяч голодающих...

Ефросинья Алексеевна позвала нас. В кабинет мы вошли в том же порядке: Родин впереди, я — за ним. И поразному: он — уверенной, даже бравой походкой, я же — робко, как нашкодивший подросток. Но Дымов одинаково приветливо встретил нас. Каждому пожал руку. Обоих усадил у стола. А когда мы присели, окинул нас пытливым взглядом:

— Что скажете? На чем не сошлись? И в чем разошлись?

Родин поерзал на стуле. И, подвигав бровями, сказал:

— Да понимаешь, Митрий Иваныч! Этот вот юноша...

— У меня есть фамилия,— перебил я.— Имя тоже имеется. К тому же я кандидат партии. А мы не где-нибудь, а в райкоме.

Дымов одобрительно кивнул. И сказал:

— Замечание правильное. Мы не на приятельской сходке, а на работе. И должны по-деловому обращаться друг с другом.

Поддержка приободрила меня. И я почувствовал уверенность. Смелей держаться. И настойчивей отстаивать свое мнение. Не ради собственной выгоды приходится лезть в драку.

— Слушаю, Митрий Иваныч! — краснея, пробормотал Родин.— Будем говорить официально. Товарищ Каткин ведет себя неправильно. Я бы даже сказал: недопустимо. Замыкается в местнические интересы. А к районным интересам относится наплевательски.

— Конкретней,— попросил Дымов.— В чем дело?

— Дело в том, Митрий Иваныч! — опять заерзал Родин.— У него в селькресткоме имеется лишний хлеб. А у нас в Роговатом беднота голодает.

— Нет у нас лишнего хлеба,— возразил я.— Сами вряд ли дотянем до урожая.

— Это как тянуть,— заметил Родин, не удостоив меня взглядом.— Одно дело — выдавать норму. Другое — сколько хочешь. А мы в таком положении, что обязаны соблюдать экономию. И если по-хозяйски подойти к делу, то у тебя найдется излишек.— И подался к Дымову, жалобно сморщившись: — Понимаешь, Митрий Иваныч! Я попросил его поделиться с роговатовцами. Продать им половину своего хлеба. Выручить соседей из беды. А он ни в какую. Не дам, говорит, и все. Вот я и приволок его к тебе. Воздействуй, Митрий Иваныч!

Дымов посмотрел на меня.

— Ты что ж это, товарищ Касаткин? — спросил он.— Почему не хочешь войти в положение райкресткома? Ему же нечем кормить бедноту в Роговатом. А они же, роговатовцы,— ваши соседи.

— Я бы рад, Дмитрий Иваныч! — сказал я, изо всех сил стараясь казаться спокойным.— Но у нас нет лишнего хлеба. Честное слово! Мы посчитали все. До последнего пуда. Самим не хватит. Даже если выдавать не вволю. Я понимаю. В Роговатом — тоже наши люди. И нелегко им, раз сидят без хлеба. Но нельзя вызволять из беды одних за счет других. Их выручим, а себя обречем.— И тоже с невольной обидой:— А как мы добывали хлеб этот? С каким трудом собирали взносы? А только и с деньгами нелегко было купить его. Опять же у кулаков приходилось правдами и неправдами выжимать. Базар-то нам был не по карману. Там спекулянты от жадности перебесились. И что ж теперь получается? Свой, и такой трудный, хлеб отдай другим? А своих бедняков корми словами о хорошей жизни? Разве ж это справедливо?

— Товарищ Родин требует не весь хлеб,— сказал Дымов.— Он требует поделить его. Половину — себе, а половину — другим.

— Если мы отдадим половину, мы наполовину свою бедноту оставим голодной,— горячился я.— Пройдет время, я вот так же заявлюсь в райком. Вдов и сирот кормить нечем. Что вы мне тогда скажете? Зачем отдал

хлеб? Да и как же это так? — продолжал я, все более распаляясь.— Роговатовские кресткомовцы прозевали осень. А мы теперь за них расплачивайся? Пусть сейчас покупают хлеб и кормят свою бедноту.

— А за что покупать? — спросил Родин, кисло скривившись.— Где взять деньги?

— Пусть соберут взносы,— сказал я.— Не все собраны, если денег нет.— И решился:— Хорошо. Деньгами мы поможем. Дадим взаймы. С рассрочкой. И сами пусть соберут иедоимку. И купят хлеб.

— А где его сейчас купишь? — опять поморщился Родин.— На базаре, сам говоришь, спекулянты бесятся. А кулачье в деревнях — тоже не дурачье. Такие же бешеные деньги ломят.— И заключил:— Нет, такой вариант не подойдет. Хлеб нужен немедленно. И ты должен помочь.

— Мы никак не можем,— сказал я.— Хлеба лишнего у нас нет.

— Тебе же райкрестком предлагает,— сказал Дымов.— Или ты не подчиняешься ему?

— Подчиняюсь,— ответил я.— Но хлеба не дам. Что хотите, то и делайте. Можете снять меня, пожалуйста! Но пока я председатель, ни пуда не дам. Райкрестком предлагает одних накормить, а других оставить без хлеба. Это негодная политика, и я не согласен с ней.

Дымов подумал, опять посмотрел на меня и вдруг сказал:

— Молодец, товарищ Касаткин! Очень рад за твою стойкость. Только так должен поступать настоящий коммунист. До самого последнего отстаивать свои убеждения. Спасибо тебе от райкома партии! — И повернулся к Родину, растерянно глядевшему на него.— А тебя, товарищ Родин, предупреждаю. Категорически! Если в том же Роговатом беднота не будет обеспечена хлебом, мы привлечем тебя к суровой ответственности. А если произойдет хоть один несчастный случай, могу сказать заранее: ты будешь снят с работы, исключен из партии и отдан под суд.

— Но, Дмитрий Иваныч! — упавшим голосом сказал Родин.— Что же мне делать?

— Не знаю,— ответил Дымов.— Сам допустил такое положение, сам и выкручивайся.— И так же внезапно смягчился:— Продумай все хорошенько и приходи с

конкретными предложениями. Только не с такими, как сейчас. Перебрасывать беду из одного села в другое не будем...

Из райкома мы шли также друг за другом. Только теперь Родин еще больше гнулся к земле, словно тянул его к ней не один живот, а и другой груз, взваленный на плечи. Но я не испытывал радости от победы. Да, они прохлопали время, райкрестком и роговатовский сель-крестком. Нелегко им будет найти хлеб и выбраться из трудного положения. Но жалко было не Родина, неповоротливого и благодушного. Жалко было бедных соседей. Они из-за халатности своих руководителей терпели нужду. И я, тронув Родина за плечо, остановил его:

— Можно домой?

— Ступай,— хмуро ответил тот.— Мне ты больше не нужен.

И, не простившись, опять двинулся по ледовой стежке. Но я снова задержал его:

— Одну минутку.

— Что тебе еще? — рассердился Родин.— Давай, да поскорей. Некогда лясы точить.

— Насчет хлеба хочу сказать,— объяснил я.— Обсудим там. И я думаю... Поделимся. Ужмемся сами, а соседям поможем. Не половину, конечно, а пудов полсотни продадим...

Домой я шел быстрым шагом. В голове повторялся разговор в райкоме. А перед взором стоял образ Дымова. Строгий и в то же время добрый, он испытывал меня. Но, как видно, был уверен, что я не оставлю в беде соседей.

* * *

Все чаще и чаще вспоминалась Домка Землякова. Не потому, что жалко было отпускать ей хлеб. Это само собой. Я был уверен, что вдова обошлась бы и без крест-кома. И против воли подчинилась Лобачеву. Вспоминалась же она потому, что заронила в голову мысль. И в самом деле, почему бы не отобрать у Комарова мельницу? Как можно мириться, что один человек владеет целым предприятием? Да, он купил мельницу. Но за какие деньги? Разве честным трудом заработать такую уйму?

С Лобачевым об этом говорить не хотелось. Скажет: нет директивы. И отмахнется. Но самочинно поступать было боязно. Потому-то я поставил этот вопрос на ячейке.

Ребята спорили на редкость горячо. Планы предлагались один другого несбыточнее. Добиться постановления сельсовета. Обратиться с просьбой в районные организации. Послать прошение в Москву. Но всех перещеголял Илюшка Цыганков. Он предложил учинить над Комаровым погром.

— А что с ним нянчиться? — горячился он, обводя нас сверкающими глазами.— Помещиков громили. А почему нельзя его? Чем он лучше помещика? Царской власти не боялись, а своей собственной стесняемся? Откуда такая стыдливость? Нет, как хотите, а дальше так не пойдет. Пора дать эксплуататорам бой.

— Не очень круто, Илюха,— сказал Володька Бардин.— Помещики были опорой царской власти. Выступление против них расшатывало буржуазный строй. А теперь совсем другая картина. И потому надо не бунтовать, а соблюдать законы.

— Удивительно! — не сдавался Илья.— При царизме помещики грабили народ. При социализме кулаки сосут из него кровь. Но при царизме, плохо или хорошо, можно было дать помещику в зубы. А вот при социализме — ни-ни! Кулаков, видите ли, оберегают законы. Да на что нам такие законы?

— Илюха думает так,— заметил Сережка Клоков.— Ребята, колья хватай и наотмашь махай. И глуши всех врагов наповал. Объявился и сразу своего добился.

— Бедный Юлий Цезарь! — с нарочитой жалостью воскликнул Андрюшка Лисицын.— Слушает он теперь нашего Илью и ворочается в гробу. Куда ему до нашего воеводы!

Выждав, пока стихнет смех, Илюшка серьезно сказал:

— Ежели нужно, я возьмусь и за кол. И не побоюсь уложить врага. А заодно и тех, кто вместо дела зубоскалит. Что же до Юлия Цезаря, то пускай себе ворочается сколько хочет...

Когда все планы были отвергнуты, я предложил поговорить с Комаровым по душам. Отдайте добром,

иначе отнимем. Волей народа и законным образом. И самого из села выдворим.

— Видали чудака? — возмутился Илюшка Цыганков.— Да ты что, спятил? Как же это можно с кулаком по душам?

Но ребята все же поддержали меня. Попытка не пытка. С кулаком надо не только драться, а и маневрировать. И если маневр даст то же, что и драка, лучше обойтись без драки.

Володька Бардин предложил выбрать делегацию. Но я возразил против этого:

— К мельнику пойду один. И не от комсомола, а от засресткома. С комсомолом он не будет разговаривать. А от кресткома вряд ли увильнет...

И вот я снова отправился на мельницу. Поговорить по душам. А почему бы и нет? Ведь он же человек, Комаров. И должен откликнуться на голос времени. А если не откликнется, тем хуже для него. Мы же от обращения к нему ничем не пострадаем.

* * *

Во дворе никого не оказалось. Я позвал:

— Гражданин Комаров!

Никто не откликнулся. Я снова позвал. Теперь уже громче. Опять — никого. Я прокричал чуть ли не во весь голос. Все безрезультатно. Что было делать? Уходить ни с чем? Этого не хотелось. И почему-то думалось: кто-то был дома. Может, находился в дальней комнате и не слышал?

И я решился. Перемахнул через забор, осторожно подкрался к входной двери, постучался. Но дверь не открыл. За ней опять мог оказаться Джек. И кто знает, что бы он в этот раз сделал? Может быть, совсем перегрыз бы горло?

На стук вышла Клавдия. От удивления я оторопел. Кажется, больше, чем если бы это был Джек. Даже поморгал глазами. Не обманывает ли зрение? Но зрение не обманывало. Передо мной стояла живая Клавдия. Она с улыбкой смотрела на меня и вроде бы готова была броситься на шею.

— Здравствуй, Филя! — сказала она и протянула

руку.— А я собиралась к тебе. Выходит, мы думали об одиом и том же?

Я выдавнл иа своем лице, иаверио, глупую ухмылку и сказал:

— Здравствуй! — И, выпустив ее руку, добавил:— А что ты дома, даже не подозревал.

— Вчера приехала,— сказала Клавдия.— Вызвана по важному делу.

В черных глазах ее заплясали смешникн. Но я сделал вид, что иичего ие заметил. И, вспоминв поездку с ией в город, сказал:

— Ты прости меня. В поезде я проспал. Аж в тупике очнулся. Да н то проводннца разбуднла. А если бы не она, может, дрых бы до вечера.

Клавдня опять рассмеялась. И с веселой улыбкой прнзналась:

— Я тогда так и подумала. Даже хотела побежать, чтобы разбудить. Но ты забыл сказать номер вагоиа.— И потупилась.— Я так жалела... Хотела, чтобы побывал у меия... Вместе провели бы свободное время.

Я хотел сказать, что и без иее иеплохо провел время в городе. Но удержался. Это было бы иевежливо. А она ие заслуживала обнды. И я, чтобы перемеиить разговор, спроснл:

— Отец твой дома?

— Дома,— сказала Клавдия и замялась.— Но не одни. Гости у иего.

С досады я почесал затылок.

— А вызвать иельзя? Так, мол, и так. Срочное дело. Неотложное

Клавдия вдруг сверкнула глазами и сказала:

— А зачем вызывать? Пошли в дом. Там и переговорншь. Неотложные дела лучше решать в доме, а ие иа улице.

И провела меня в просторную переднюю. В ней иикого ие было. Я думал: сейчас она поспешит за отцом. Но Клавдия не спешнла. Она с загадочиой улыбкой смотрела на меия. И наконец спроснла:

— А что ж ие поннтересуешься, зачем вызвана?

Я безразлнчио пожал плечамн:

— А что тут интересиого? Мало лн какие дела у вас? Может, отец решил сделать тебя мельннчихой?

Чериые глаза Клавдин опять лукаво заблестели.

— А ты догадливый, Фнля! Так оно н есть. Только сначала ои решнл выдать меия замуж.

Новость тоже ие заинтересовала меия. И потому я равнодушно спросил:

— Это за кого же?

В эту мииуту из левой двери вышел Мння Лапонин. В черном костюме, хромовых сапогах, снией из сатина рубахе, подпоясаиной витым поясом с махрамн. Разодетый, как в празднпк. Но лнцо — все такое же иевзрачиое. Заснженное прыщамн, оно лосиилось, будто смазаиное жиром. На толстых губах — крохн какой-то еды. А в круглых слюдяных глазах — пьяная муть.

— За кого, говоришь? — переспроснла Клавдия.— А вот за него. Он сватается. Клянется: влюблен до гроба. Горы добра сулит. Владычнцей над всей Знаменкой обещает сделать.

Я посмотрел иа Миию, который от нзумлеиия разннул рот так, что оскалнл редкне зубы.

— И как же ты?— спросил я Клавдню.— Что надумала?

— Да пока ничего.— И вдруг озорио спроснла:— А ты что посоветовал бы? Выходнть за иего илн иет?

Я сиова гляиул иа расфраиченного н обалделого Мнию.

— Выходить за иего? — переспросил я.— Да ты что? Свихиулась? Это ж ие человек, а аитнлопа.

Клавдия рассмеялась. И спросила Миию:

— Ты слышал, Михаил? А зиаешь, что такое аитнлопа?

Но Мииа продолжал молча н тупо глазеть на иас.

— Где ему знать,— сказал я.— У него ж на плечах — ие голова, а кочаи капусты.— И обратился к иему:— Хочешь, подскажу, что такое аитнлопа? Это животиое такое. Похожее сразу иа осла н верблюда.

Клавдия закатнлась хохотом. Миня шагиул к ией. Подиял кулак. И гиусаво крнкиул:

— Заткиись, дура!

Клавдия оборвала смех. И, вся вспыхиув, сказала:

— Что такое? Да как ты смеешь, иевежда? — И брезгливо хмыкиула:— Тоже мне жеиих! Расфуфыреииый иидюк!

Забавно было слышать спор. Но я все же остановнл ее.

— Семейные дела будете улаживать потом. А сейчас позови отца. Скажи: нужен по неотложному делу.

Клавдия направилась к двери. Но Миня преградил ей дорогу.

— Долюбезничнвай с ним,— просипел он.— Покудова у него голова, а не кочан. А отцу твоему об этом госте я скажу. Обрадую его.

И, шатаясь, скрылся за правой дверью. А Клавдия, сделавшись серьезной, сказала:

— Там его брат Демьян. Тоже пьяный. И я боюсь... Может, ты уйдешь? Пока не поздно.

Я и сам думал об этом. Встреча с братьями Лапоннными не сулила хорошего. Особенно когда они не в своем уме от сивухи. Но отступать тоже не хотелось. Тем более на глазах у Клавдии. И я сказал с беззаботным видом:

— Так я их и испугался! — И решительно добавил:— Нет! Пока не переговорю с отцом твоим, не уйду. И ты не опасайся. Ничего они мне не сделают. Не посмеют тронуть.

Комаров тут же появился. Хмурый, настороженный. И молча уставился на меня, словно не желал тратить слов. Я шагнул к нему. И сказал миролюбиво:

— Беднота требует мельницу. Затем и пришел. Переговорить по душам. Может, добровольно отдадите? Проникнетесь духом и решитесь? Так было бы для вас лучше. А крестком выдал бы бумагу. Сознательность вашу подчеркнул бы.

Комаров перевел глаза на дочь. И строго приказал:

— Оставь нас, Клавдия! Для мужского разговора.— И остановил ее, когда она направилась к левой двери:— Во двор выйди. Там прогуляйся. Не хочу, чтобы подслушала. Могут быть неприличные для тебя слова.

Клавдия послушно вышла из дома. Комаров закрыл входную дверь на замок. Ключ опустил в карман. И, подойдя к правой двери, распахнул ее.

— Пожалуйте!

В переднюю вошли Дема и Миня. Остановились рядом с Комаровым. Уставились на меня злобными глазами.

— Представляю вам председателя лежебокой бедноты и секретаря голодраной комсомолии!— с наигранной торжественностью произнес Комаров.— Шаромыж-

ник явился за мельницей. Сперва сто двадцать целкашей содрал. Потом муки пятьдесят пудов уволок. А теперь вот и мельницу требует. Что скажете, дорогие друзья?

Дема прорычал что-то нечленораздельное. И тяжело переступил с ноги на ногу, стараясь сохранить равновесие.

— Пролетарий и нам причинил немалый урон,— с трудом выговаривая слова, прохрипел он.— Исполу, почитай, всего лишил. Гужналог незаконный выдумал. Отца в тюрьму упрятал.

— Меня на каждом шагу притесняет,— прохныкал Миня.— В сельсовете по морде ни за что дал. Чичас любовь с Клавкой расстроил. Поносным словом оскорбил.

— Это твои мирские грехи,— сказал Комаров и скрипнул зубами.— А теперь — божьи. Молодежь нашу сатане продал. В святом месте дьявольское гнездо свил. Вертеп безбожный в церковной школе устроил.— И обратился к братьям:— Что будем делать с этим проклятым выродком?

— Задушить! — прорычал Дема, багровея от ярости.— И в пруд. С камнем на шее. На глубокое место.

— Задавить! — прогнусавил Миня.— И в воду. Пущай там, под водой, секлетарит.

Показалось, что они пугают. Но скоро я понял, что ошибся. Они готовы были лопнуть от ненависти. И разорвать меня на части. И я стоял, не чувствуя самого себя. Что делать? Как вырваться?

Страх рождает смелость. Так говорилось в какой-то книге. Так случилось и со мной. Я подступил к ним. И сжал кулаки.

— Душите, вешайте камень! — крикнул я.— Бросайте в пруд! А только знайте: и вас в том пруду утопят! Всех до единого! Как бешеных врагов! — И с презрительной усмешкой: — Что оторопели? Думали: испугаюсь? Как бы не так! Попробуйте тронуть! Беднота разнесет этот дом! Разгромит ваши осиные гнезда!

Не ожидавшие такого отпора, они стояли неподвижно, как в столбняке. И только когда я перестал орать, Дема, налившись кровью, прорычал:

— Раздавлю! Как гниду! Изничтожу!

И, выставив кулачищи, шаркнул ко мне. Я отпрянул

в сторону. Схватил у стены стул. Поднял его над собой. И отчаянно крикнул:

— А ну, подходи, Дема! Я проломлю тебе башку! И выпущу из нее твои вонючие мозги! Ну, подходи же!

Но Дема не подходил. Он стоял посреди комнаты. И злобно смотрел на меня. Тяжелые челюсти его двигались, как жернова, издавая скрежет. Видно, он тужился придумать что-нибудь. Чтобы и башку свою уберечь, и меня уничтожить. Но так и не успел что-либо придумать. В дверь неожиданно раздался стук. И послышался голос Клавдин:

— Папа! Открой! К тебе пришли!

Они замерли, как оглушенные. Я опустил стул. Но не выпустил его из рук. Стук повторился. Более частый и настойчивый. И опять — встревоженный голос Клавдин:

— Папа! Да открой же! К тебе пришли!

Дема отшагнул назад. Мняя весь сжался. И прыщавое лицо его побелело. А Комаров осторожно подошел к двери. Дрожащей рукой вставил ключ в замочную скважину. Дверь широко распахнулась. И снова послышался взволнованный голос Клавдин:

— Пожалуйста! Проходите!

В переднюю вошли Прошка Архипов, Володька Бардин и Илюшка Цыганков. Клавдия закрыла за ними дверь. И прислонилась к косяку, сжав руки на груди.

Ребята выстроились в ряд со мной. С минуту в доме царило гробовое молчание. Даже дыхания нашего не слышно было. Затаившись, мы с ненавистью смотрели на них, как и они на нас. И готовы были сразиться с ними не на жизнь, а на смерть. Но в дверь снова раздался стук. На этот раз — еле слышный, робкий. Затем она медленно раскрылась. И порог переступил мой дядя Иван Ефимович. В руках он держал сапоги. А по лицу расползалась угодливая улыбка.

— Получай сапожки, Гордей Ипполитыч! — проговорил он, протягивая сапоги Комарову.— До сроку заказ выполнил. И труда ради того не пожалел. Так что прошу учесть и начесть.— И запнулся, узнав нас.— Вона! — с удивлением воскликнул он.— Да тут — целая компания! Что ж это такое у вас? Дружеская сходка? Или вражеская схватка?

Никто не ответил ему. А я, обратившись к мельнику, сказал:

— Прошу, гражданин Комаров! Думайте и решайте. Три дня вам сроку. А пока до свидания! — И скомандовал ребятам: — Айда, товарищи! Больше делать нам тут нечего.

За нами вышла и Клавдия. У калитки она сказала, все еще со страхом глядя на меня:

— Я так испугалась... В замочную скважину все видела... И как услышала, что собираются душить, бросилась позвать кого-нибудь... И вот увидела их у забора... Каким-то чудом они оказались здесь.

— В чудеса мы не верим,— вежливо сказал Прошка Архипов.— Но когда нужно, сами творим их.

Я с благодарностью пожал ее руку. Но сказал нарочито беспечно:

— Зря пугалась. Нарочно они это. Постращать вздумали. А только мы, как говорится, не из робкого десятка...

* * *

Мать отдала мне керосиновую лампу. Она хоть и называла меня постояльцем, а все же заботилась больше, чем о постояльце. Сами же они обходились каганцом — блюдечком с маслом и тряпичным фитилем. Каганец чадил, вызывал чох, но они терпели.

Однажды я услышал, как мать пристыдила Дениса, когда он пожаловался, что я один наслаждаюсь лампой, а они втроем задыхаются от чада.

— Ничего с нами не станется,— говорила она.— Да скоро и совсем огонь не нужен будет. Дни становятся светлее. И уж недалеко, когда засветло спать будем укладываться. А Хвиля целые ночи напролет читает. Рабфакт этот с трудом постигает. И лампа нужна ему для дела, а не для забавы...

Так и в этот вечер. Я сидел за шатким столиком, освещенным тусклым светом крохотной лампы, и читал лекцию по истории партии. Но читал невнимательно. Никак не мог сосредоточиться. То и дело глаза сами собой закрывались. И в памяти возникало пережитое. А может, и правда они лишь попугать хотели? Но эта мысль только один раз мелькнула в голове. Нет, они не шутили со мной. Об этом говорил один их вид. Злобный, ненавидящий, ярый. Но неужели они решились бы заду-

шить меня? И бросить в пруд с камнем на шее? Да, они были алчными. Ради наживы не щадили людей. Но убить человека... Неужели у них поднялась бы рука?

А ребята-то, ребята! Какими заботливыми оказались они! Едва я отправился к мельнику, как они устремились за мной. Тревожились, опасались. К Комарову ведь пошел. А это не лучше, чем к самому медведю в берлогу. Да и с чем пошел-то? С требованием отдать мельницу. От этого Комаров мог потерять рассудок. И своими медвежьими лапами задавить меня. А то и спустить с цепи волкодава Джека. Вот они и двинулись следом. Те, кому поручила это ячейка. И остановились у забора, приглядываясь и прислушиваясь. Готовые в любую минуту броситься мне на помощь. И стояли настороже, пока не позвала Клавдия.

«Спасибо вам, друзья! — мысленно поблагодарил я ребят.— Никогда не забуду об этом!..»

За стеной гудели голоса. Мать и отчим о чем-то разговаривали. Иногда доносился и голос Дениса. Что бы они сказали, если бы я поведал им сегодняшнюю историю? Мать наверняка испугалась бы. И с причитаниями принялась бы клясть мельника. Возмутился бы и отчим. И конечно, посоветовал бы обратиться в милицию. А Денис вызвался бы отомстить врагам. Он давно просил разрешить ему пробить кому-нибудь из них голову камнем из рогатки. Теперь бы он без спроса утолил давнишнюю жажду. Но я не сказал им ничего. И ребят предупредил, чтобы не болтали. Незачем было раздувать пожар. А кроме того, я все же надеялся. Может, теперь Комаров испугается? И добровольно передаст мельницу кресткому?

Почудилось, кто-то смотрит в окно. Я повернул голову. И встретился с большими черными глазами за стеклом. И угадал их, эти глаза. С минуту сидел, как завороженный. Потом сорвался с места. И выбежал во двор.

Во дворе перед окном моей каморки стояла Клавдия. В полутьме я различил ее, когда приблизился вплотную. Но, все еще не веря себе, спросил:

— Никак ты, Клава?

— Да,— ответила Клавдия, тоже подаваясь ко мне.— Вот явилась. Ушла от родителей и пожаловала. Некуда было деваться и вспомнила о тебе. Приюти на одну ночь. А завтра я отправлюсь на станцию. Уеду в город. И ни-

когда уж больше ие вернусь сюда. А пока разреши перебыть у вас. Одиу только иочь. Пожалуйста!

Я растеряино слушал ее. И ие знал, что делать. Ведь я и сам был дома постояльцем. Не выпроводит ли мать и меня вместе с ней? Но тут же я вспомиил, что она выручила меия. И почувствовал, как огием обожгло щеки. Стыд до краев наполнил душу. Стыд за неблагодариость н трусость.

— Пожалуйста, с дорогой душой! — затараторнл я, вырывая у иее саквояж.— Никак ие ожидал. Но очеиь рад. Только разреши на миiутку. Посиди тут.— И поставил саквояж иа завалинку.— А я спрошусь своих. Да ты ие беспокойся. Все будет в порядке. Оии ж у меия добрые. Но иадо спросить. А то иеудобно получится. Это ж и для иих как гром. Побудь тут, пожалуйста! Я сию миiуту!

И, оставив ее, рииулся в хату. Но в горницу вошел степенио. Мать и отчим озадачеино уставнлись иа меия. Видно, иа лице моем все же было что-то такое, что делало его иеобычиым.

— Ма! — сказал я, подавляя волиеине.— Клавка Комарова пришла. Просится переиочевать. Порвала с родителямн н пришла. На одну иочь. А завтра утром уедет в город. Прошу, ма! Пусть перебудет иочь. Переспит в кладовке. А я переиочую в сарае. А завтра она уйдет. И уедет в город. Разреши, ма!

Бледность разлилась по лицу матери. Оиа тяжело дышала. Это видно было по тому, как вздымалась ее тощая грудь. Оиа смотрела иа меия широко раскрытыми глазами. И в иих сверкала не то иенависть, не то страх. Наконец оиа тихо сказала:

— Как же ты хлопочешь за иее? Или ты забыл, как отец ее прииуждал меия таскать чувалы с мукой? Да притом иаграждал словами, какне язык ие поворачивается выговорить. А люди что скажут? Дочь мельиика к парию сама явилась. Сраму же потом не оберешься. Или тебе все равио, что о нас скажут?

— Оиа ж порвала с роднтелями,— горячо сказал я.— Ушла от иих. Ушла навсегда. Ты это поиимаешь?

— Разве ж им можно вернть? — возразила мать.— Оин ж говорят одио, а делают другое. Нынче она ушла от них н пришла к иам. А завтра верится домой и распустнт о нас слух. И будем мы тогда как оплеванные.

— Да нет же, ма, нет! — с жаром говорил я.— Она уже давно не в ладах с ними. А теперь совсем разошлась. И никогда с ними не сойдется. И о нас ничего не скажет.— И умоляюще повторил: — Ну разреши, ма! Она меня сегодня, можно сказать, спасла. Ее отец и братья Лапонины грозились убить меня. А она помешала.

— Я так думаю,— подал свой голос отчим.— Ежели она выручила Хвилю, значитца, отреклась от своих. А потому нельзя ее сейчас отталкивать. Даже обратное. Надо принять, подбодрить.— И уверенно продолжал: — Нет, видать, не обманывает девка. Не игра это у нее. С отцом ее шутки плохи. И она о том получше нашего знает.

— Ма, а помнишь, как ты ругала попа за обман? — вмешался Денис.— За то, что бабку Анисью понапрасну утопил? И крестный ход обмануть придумали? Помнишь? Я про барометр говорю. Какой теперь в сельсовете висит. И каким они народ надували. Ты же кляла их за богохульство. А это же Клавка все раскрыла. Ну да, она! Хвиле нашему барометр этот передала. Значит, вон когда против них решилась!

Мать и отчим с удивлением посмотрели на него.

Мать спросила:

— А ты откуда о том знаешь, сынок?

— Своими глазами видел его, этот барометр,— сказал Денис.— Когда Хвиля спал в сарае, достал у него из-под подушки. И посмотрел. А что Клавка передала, по платку догадался. Барометр был завернут в платок с цветочками. Такой видел у одной Клавки. Ни у кого из наших девок и баб такого нет. И Хвиля не откажется. Спросите его.

Мать повернулась ко мне. И я признался:

— Все так. Она передала мне этот барометр. А молчали мы об этом потому, что боялись за нее. И сама она просила не выдавать. Отец убил бы ее. Она говорила: он был такой ярый, что никого не пощадил бы. Но теперь можно сказать и об этом. Раз ушла из дому, он ничего с ней не сделает.

Мать подумала. И вздохнув, сказала:

— Ну, коли так, то я не против. И раз она не с ними, врагами нашими, то наш дом открыт для нее. Иди и позови. Пущай заходит. И ни о чем не думает.

Я пулей вылетел во двор. Клавдия сидела на завалинке, облокотившись на саквояж. Она встала и замерла передо мной.

— Мамка не против.— И схватил саквояж.— Пошли в хату. Я убедил ее. Ну, пошли!

Но Клавдия не двинулась с места.

— Ты убедил ее? — переспросила она.— Значит, она была против?

— Ну да! — подтвердил я.— Она ж батрачила у твоего отца. Чувалы на своем горбу таскала. А он еще измывался над ней. Она и запомнила. Но я рассказал ей обо всем. И о том, как ты помогла мне сегодня. Она поверила.— И взял ее за руку.— Ну пошли!

В горницу я пропустил ее впереди себя. Она вошла робко. И сказала дрогнувшим голосом:

— Здравствуйте! Простите, что докучаю!

— Сын мой, Хвиля,— сказала мать, не ответив на приветствие,— он рассказал, как ты нынче помогла ему. За то тебе материнское спасибо. И кров наш скудный. Оставайся с нами. И будь как у себя дома.

Меня волновала радость. Не оттого, что мать приняла Клавдию. Нет! Радовала сама она, мать. Она вдруг выросла в моих глазах. Выросла разумом, взявшим верх над чувствами.

* * *

После ужина мы вышли во двор. И присели на завалинке. Клавдию поместили в моей кладовке. А я решил переночевать в сарае. Там на соломе лежали попона, подушка и старая дерюга. Иногда отчим после обеда отдыхал там. Теперь я решил воспользоваться его постелью. И мы могли сидеть во дворе сколько угодно, не мешая нашим в хате.

Весенний вечер был тихим. Небо сплошь затягивали низкие, плотные облака. Казалось, вот сейчас брызнет дождь. Но дождя не было. И тепло вперемежку с тишиной разливалось вокруг.

Мы молчали. Я думал о Клавдии. Что испытывала она? Какие чувства боролись в ней? Покинуть родной дом — это не простое дело. С друзьями и то бывает нелегко расставаться. А тут — мать и отец. И какими бы они ни были, бросить их нелегко.

Вспомиился случай. Год иазад мать выгиала меия из дома. Когда я прнзиался, что был комсомольцем. Как безжалостио бнла оиа меия! И с какой яростью вышвыриула во двор! А я все же вернулся домой. И ии разу ие упрекиул ее. Даже не напомиил об этом. А недавно, когда я вступнл в колхоз, она отделила меия. И иазвала постояльцем. Зиачит, чужим человеком. И выбросила из семьи. А я н не думал порывать с ией. По-прежнему считал ее самой родной н близкой. И все так же иазывал ее ласковым «ма». Даже с отчимом я ие мыслил разойтнсь. А с родным отцом это было бы, наверно, н совсем невозможно.

Точно подслушав мон мысли, Клавдня прервала молчание. И, глубоко вздохнув, сказала:

— Коиечио, все это иелегко. Даже очеиь иелегко. Какие бы оии ни были, а родители. Им я обязаиа своим рождеиием. Но...— И поежилась, словно ей стало зябко.— Привязаииости к иим я никогда ие чувствовала. А отца даже боялась. Ои всегда грубо обращался со мной А может, потому, что мало жила с иим. Вырастнла и воспитала меия тетя Лиза. Оиа раскрыла передо мной смысл жизни. И научнла честио относиться к ией.

— А что у вас произошло-то? — спросил я.— Почему ты ушла от иих? Или оин выдворили тебя?

Клавдия подумала. И, сиова вздохиув, ответила:

— Мы уже давно спорнли. Я уговаривала отца переменить жизнь. Передать мельиицу обществу. И иачать честио трудиться. Ои хорошо знает мукомольиое дело. И мог бы прнличио зарабатывать иа какой-нибудь государствеииой мукомольиой фабрике. Но отец и слышать об этом ие хотел. Ои надеялся на перемену власти. И мечтал стать капиталнстом. Зимой, когда я была здесь, мы особеиио серьезио повздорилн. И я сказала, что больше иикогда не прнеду к иим. Но на диях получаю телеграмму: иемедлеиио приезжай. И ин слова больше. Думаю: кто-иибудь из иих серьезно заболел? Или иаконец-то решили расстаться с нечестной жизиью? И приехала. Выпросила отпуск за свой счет и явилась. И что ж? Михаил, или, как ты его зовешь, Миия, Лапоиин сватается. И отец с матерью рады выдать меия за иего. Очеиь выгодиый брак.

— Чем же выгодиый?

— Братья надумали делнться, Демьян и Михаил.

Пока отец сидит в тюрьме. Решили прибрать к рукам и его долю. И вот Минь явился к моему отцу. И упросил его выдать меня за него. Потому что по уши влюблен. И потому, что один с хозяйством не сладит. И отец обрадовался случаю умножить свой капитал.— И, помолчав, продолжала: — Уговаривали меня с матерью. Упрашивали. Рисовали красивую жизнь. Соблазняли ролью хозяйки богатства. И я чуть было не сдалась. Но когда ты появился и они набросились на тебя, я испугалась. Они показались не людьми, а звероподобными существами. И я решила: мне с ними не по дороге.

— Отец хотел умножить капитал. А мать? Почему она хотела, чтобы ты вышла за Миню? Он нравится ей?

— Нет, не очень,— замялась Клавдия.— Но она надеялась... Верила, что я обломаю его. Но главное — не в этом. У мамы нет своего мнения. Она думает, как отец. И делает все, как он. Всю жизнь она никогда и ни в чем не прекословила ему. И потому умоляла меня выйти за этого Миню. Перед ней-то я и заколебалась. Уж очень жалко ее. Она такая несчастная. И хотелось хоть в старости облегчить ей жизнь.

Она замолчала. И долго сидела молча, опустив голову. Трудно было вспоминать о матери. Я чувствовал это. И не нарушал молчания. А хотелось узнать, как произошел разрыв. И был ли я к нему причастен. Клавдия сама заговорила об этом. Заговорила внезапно, точно очнувшись. И будто вдруг догадавшись, что для меня это важно.

— Когда ты ушел с ребятами, отец накинулся на меня. Где отыскала комсомольцев? Откуда привела их? Я сказала, что увидела у забора. И что сама пригласила в дом. А сделала так потому, что не могла допустить убийства. Демьян матерно выругал меня. А Михаил ударил брата по лицу. За то, что тот оскорбил меня. Демьян двинул его так, что он отлетел к стене. Они схватились драться. Но отец разнял их. И уговорил мирно уйти домой. А когда мы остались одни, потребовал, чтобы я без разговоров согласилась выйти за Миню. И чтобы свадьба состоялась немедленно. Я отказалась. Тогда он предложил мне убираться из дому. Я сказала, что уйду от них навсегда. Отец грубо выругал меня и ушел. А я собралась. Простилась с мамой. И вот пришла к тебе...

Издалека донесся топот лошади. Казалось, кто-то ехал верхом. Но скоро в перестуке копыт послышался рокот колес. Клавдия встала. Прислушалась. И со страхом сказала:

— Отец!

Я тоже прислушался. Топот копыт и шорох колес приближались.

— Может, кто другой?

— Отец,— сказала Клавдия.— Я чувствую. Наш тарантас.

Я уже тоже почти не сомневался. Такой рокочущий ход подбитых шинами колес был только у комаровского фаэтона. А я знаком был с этим фаэтоном. Однажды рядом с Моськой Музюлем прокатился в нем до самой Потудани.

— Может, тебе спрятаться?

Клавдия подумала. И сказала:

— Нет! Лучше встретиться. Чтобы больше не надеялся.

Клавдия оказалась права. Это был Комаров. Он остановил жеребца у нашей хаты. Выпрыгнул из тарантаса. И двинулся во двор. Подойдя к нам, остановился. И, будто не заметив меня, сказал дочери:

— За тобой, Клава! Поедем домой. Мама просит. И я прошу.

Клавдия отрицательно покачала головой.

— Нет! Я не поеду. Дом ваш — больше не мой дом. Я ушла от вас навсегда. Можете считать, что у вас нет дочери.

Глаза Комарова сверкнули в полутьме. Он поднял кнут, который держал в руке. Но тут же опустил его, будто опомнившись. И продолжал, еле сдерживая гнев:

— Ну, хватит тебе, Клава! Подумай, что делаешь. Что тебя тянет к этим голодранцам? Почему ты заодно с ними? Подумай о матери. Она не перенесет такого позора. Да и моя голова... Или в ней мало седых волос?

Я стоял близко от Клавдии. И в любую минуту мог прийти ей на помощь. Готов был броситься на Комарова, если тот попытается прибегнуть к силе. Но мельник по-прежнему не замечал меня. Он держался так, как будто был наедине с дочерью. И как будто никто другой не слышал их.

— Хорошо,— сдался Комаров.— Не будем настаивать на Лапонине. Нам и самим не по душе этот слюнтяй. Найдем другого. Получше и поумней. Только едем домой.

Но Клавдия и после этого не тронулась с места. И сказала все так же твердо:

— Я не поеду с тобой. И никогда не вернусь к вам. Мне стыдно жить с вами...

Комаров тяжело молчал. В полутьме трудно было разглядеть его. Но чувствовалось: он закипал яростью. И готов был обрушиться на дочь.

— Последний раз прошу,— сказал он, и голос его захрипел, как от удушья.— Не подвергай отца позору. Не разбивай больное сердце матери. Оставь этих голодранцев.

Клавдия тоже вся напряглась. Я шагнул к ней. И стал совсем рядом. Но она, кажется, не заметила этого. И, вскинув голову, непреклонно ответила:

— Нет! Я не поеду с тобой! Между нами все кончено! Я буду жить, как хочу! И никто не лишит меня этого права!

Комаров вдруг схватил ее за руку. И потащил со двора.

— Пошла домой, шлюха! — прохрипел он.— Иначе я не знаю, что с тобой сделаю! Убью, как паршивую собаку!

Я кинулся на него. Схватил за руки.

— Осторожно, гражданин Комаров! А то придется иметь дело с голодранцами! А мы такие, что спуску не даем!

Комаров как будто только теперь заметил меня. И злобно произнес:

— Опять ты, Хвилька? — И вдруг вцепился пальцами в мои плечи.— Да я тебя сейчас!.. Душу из тебя вытряхну! Чтобы она, поганая, не зловонила!

Плечи мои заныли, сдавленные как тисками. Но я не отступил. И готов был принять неравный бой. Не думая о том, чем бы он закончился. Но неожиданно рядом возник отчим. Кудлатый, в нижнем белье, босой. Как колдун, выросший из-под земли. А рядом с отчимом встала мать. Она тоже была босиком. Но в юбке и кофточке. И вид у нее также был грозный.

— Нехорошо так-то, Гордей Ипполитыч! — сказал

отчим, покачивая взлохмаченной головой.— Право слово, нехорошо. Явиться на чужой двор. И чинить тут безобразию. Уважаемые люди так не поступают.

Пальцы Комарова разжались. И он выпустил меня. Хотелось погладить нывшие места. Но я не пошевельнулся. Комаров отступил при виде подоспевшей помощи. Но совсем ли отступил? Не придумает ли какую хитрость? С таким следовало быть настороже. И я сквозь полутьму зорко следил за ним. А он, пренебрежительно хмыкнув, сказал:

— Ух ты! Голодраная команда выстроилась! — И с негодованием — дочери: — И не стыдно тебе с ними? Тоже нашла союзников. Это ж отбросы, а не люди. С ними ты и сама станешь падалью.— И с угрозой: — В последний раз... Одумайся... И завтра возвращайся домой... Пока мы не закрыли двери... Потом будет поздно... Плакаться будешь — не пустим.

И, круто повернувшись, зашагал в темноту. Вскоре послышался жалобный скрип рессор. И частый галоп лошади, рванувшейся с места.

Мимо мелькнула юркая фигура. Это Денис метнулся на улицу. Оказывается, и он был тут же. Скоро братишка вернулся во двор. В руках у него была рогатка. А лицо в темноте сияло месяцем.

— Стрельнул в него картохой,— сказал он.— И угодил в самую макушку. Шишка к утру вздуется. Такая, что и картуз не натянет. Это уж поверьте.

Но мы не поверили. Не потому, что от картошки не будет шишки. А потому, что через край хвастанул парень. В такой темноте даже он из своей рогатки не мог попасть в мельника.

* * *

Утром мать зажарила яичницу на сковородке. Налила по кружке молока. А когда мы собрались уходить, вручила Клавдии узелок с какими-то харчами.

— До станции-то не близко,— сказала она.— Пока доберешься, проголодаешься.

Клавдия была заметно растрогана. На глазах у нее даже выступили слезы.

— Спасибо вам! — произнесла она дрогнувшим голосом.— От всей души! На всю жизнь запомню!..

День начинался хмурый. Тучи висели низко над землей. Ночью прошел дождь. Кое-где под грязью скрывался еще не растаявший лед.

Мы шли рядом. Клавдия была в легком пальто, коричневой шапочке, в зашнурованных крест-накрест ботинках с галошами. Я же шагал в своих стоптанных сапогах, которые сразу промокли. В теплом пиджаке с накладными карманами и хлястиком. Фуражку я уже забросил. И волосы мои, утром гребенкой причесанные назад, теперь, как я чувствовал, топорщились в разные стороны. В руках я нес кожаный саквояж с блестящим замком. А в душе испытывал досаду и тревогу. Да, нелегко было решиться шествовать рядом с мельничихой по Карловке. И не просто шествовать, а любезничать с ней. И это на виду у хуторян, удивленно пяливших на нас глаза. Ведь они еще не знали, что Клавдия порвала с родителями. Конечно, я мог отправиться в сельсовет другой дорогой. Огородами выйти на греблю. И мимо того же комаровского дома добраться до Княжой. И уже там встретиться с Клавдией. Встретиться как бы случайно. Но я не решился на это. Вчера она помогла мне. Может, даже спасла. И стыдно было оставлять ее одну. Да еще с увесистым саквояжем. И я шел рядом. С улыбкой здоровался с карловцами. А те, не зная, в чем дело, раскрывали рты.

А Клавдия рассказывала о своих планах. Она работала чертежницей на заводе. Но мечту об университете не оставляла. И продолжала готовиться к поступлению. Поступать же решила только через два года. Когда будет трехгодичный рабочий стаж. Без такого стажа, да еще с таким социальным происхождением надежды почти не было. И она не собиралась второй раз испытывать судьбу.

— И через два года не поздно будет,— говорила она.— Не такая уж я старая, чтобы торопиться. В августе сровняется только восемнадцать.

— В августе? — переспросил я.— А какого числа?

— Пятнадцатого,— сказала Клавдия.— Пятнадцатого августа будет восемнадцать. И по теперешним законам я стану совершеннолетней.

Я рассмеялся. И, встретив ее недоуменный взгляд, пояснил:

— И мне в августе — восемнадцать. Только четырнадцатого. Выходит, я на один день старше тебя.

Клавдия тоже усмехнулась. И сказала:

— Любопытное совпадение. Может, даже вещее?..

Откуда-то вынырнул дед Редька. И засеменил навстречу. На морщинистом лице его, заросшем жухлой щетиной, блуждала улыбка. Но она мгновенно слетела, точно ее сдуло ветром, едва он поравнялся с нами. Он даже остановился, точно у него отнялись кривые ноги. И, разинув беззубый рот, уставился на нас затечными, немигающими глазами. Вид растерянного соседа вызвал досаду. Но я приветливо кивнул старику. И весело произнес:

— Здорово, Иваныч! Всех благ! И долгих лет!

Дед Редька ничего не ответил. Он словно и не слышал меня. И продолжал таращить на нас бесцветные глаза. А когда мы прошли, изумленно прошепелявил:

— Ишь ты, ядрена мать! Новая смычка! Бздыкун и бздычка!..

Несколько минут шли молча. Потом Клавдия с горечью сказала:

— Односельчане не одобряют тебя. Даже подозревают что-то.

Изобразив беззаботный вид, я ответил:

— Это ничего. Скоро они узнают обо всем. И тогда другое скажут. Наверняка осуждать не будут.— И, чтобы переменить разговор, похвалился: — А я тоже учусь. Студент рабфака на дому. Летом приеду в город. Экзамены сдавать за первый курс.

— Молодец! — сказала Клавдия.— Хорошо делаешь, что учишься. Сейчас без этого нельзя. Жизнь усложняется...— И добавила, взглянув на меня: — А когда будешь в городе, заходи ко мне. Улица Маховая, двадцать три. Я буду рада.

Я поблагодарил. Но ничего не обещал. Не любил заранее обещать. Да и не было уверенности, что зайду. Ничто не связывало нас. Ни общие интересы, ни одинаковые взгляды. Она ушла от родителей. Но все же мы были разными. И трудно было представить даже простую дружбу между нами.

— А как думаешь,— спросил я, вспомнив разговор свой у них на дому,— Отдаст отец мельницу добровольно?

Не раздумывая, Клавдия отрицательно покачала головой.

— Ни за что! Скорей сожжет, чем отдаст. И я бы советовала... немедленно отобрать ее. Пока он ничего не сделал с ней...

Перед самым сельсоветом из переулка неожиданно вышел Миня Лапонин. В бобриковом пиджаке, хромовых сапогах, в картузе с лакированным козырьком, он, казалось, шел к Комаровым. Чтобы продолжать сватать Клавдию. Но, увидев ее со мной, замер на месте. И, не хуже деда Редьки, отвалил нижнюю челюсть. Но скоро опомнился. И скорчил на прыщавом лице злобную гримасу.

Мы прошли молча. А Клавдия даже не удостоила его взглядом. Она словно и не заметила своего бывшего жениха. И мне почему-то вспомнилась Маша Чумакова. Как издевался Прыщ над ней! А я так и не отплатил ему за это. Так пусть же хоть эта невольная помеха будет такой платой кулацкому ублюдку.

Когда мы отошли дальше, Клавдия, склонившись ко мне, шепотом посоветовала:

— Остерегайся их, Филя! Этих братьев Лапониных. Они так злы на тебя, что решатся на все.

Я откровенно рассмеялся. И с удивлением сказал:

— Остерегаться их? Да я и не подумаю. Это же трусливые псы. Они дорожат своей шкурой больше всего на свете. И ни за что не решатся на авантюру...

У сельсовета стоял старый шарабан, запряженный гнедым мерином. Оказалось, Лобачев собрался на станцию зачем-то. Я рассказал ему о происшествии в доме мельника. И попросил взять с собой Клавдию. Он сказал, что приветствует разрыв в комаровском семействе. И охотно согласится доставить бунтарку к поезду.

* * *

Крупный и густой дождь лил непрерывно. Последние сугробы в яружках смыло, вода двинулась навстречу Потудани. Скоро река затопила прибрежный луг, подступила к огородам. Кудлатые и безлистые вербы над водой сразу уменьшились, будто их подрубили, и выглядели корявыми кустами.

Нечего было думать о доме. В такую погоду ни пройти, ни проехать на хутор. По непролазной топи я еле добрался до Бардиных, живших неподалеку от сельсовета. И раньше мне приходилось ночевать у них. Теперь же и подавно ничего другого не оставалось.

Заодно я прихватил с собой новые материалы рабфака на дому. Володька тоже трудился над ними. И каждую бандероль ждал с нетерпением.

Мы сразу же отправились в безоконную пристройку, называвшуюся клетью. Там мы спали на узком лежаке, сколоченном из досок. А перед сном при свете коптилки дискутировали. Так и в этот ненастный вечер. Закрывшись на засов, мы принялись за новый материал. Но гранит на этот раз оказался слишком крепким, и грызть его не хватало сил. А тут еще дождь. Его монотонный шум за тонкой стеной клонил ко сну. Зевота до боли растягивала рты, а холод забирался в самую душу. И мы сдались...

Разбудил нас тревожный стук. Это была Домка Землякова. Володька зажег коптилку, открыл дверь и снова юркнул под лоскутное одеяло. Домка вошла и остановилась за порогом. Она была вся мокрая, точно только что вылезла из реки. С высоко подоткнутой юбки по красным от холода ногам стекала вода. Рыжие волосы из-под шерстяного платка мокрыми прядями прилипали ко лбу и пухлым щекам. И все же выглядела вдова бойко, даже задиристо, будто собиралась драться. Скосив на нас узкие глаза, она насмешливо проговорила:

— Дрыхнете, молодчики? А вода греблю размывает.

Мы разом привстали на соломенном тюфяке.

— Какую греблю? — спросил я, чувствуя озноб во всем теле.— Ты что мелешь?

— А что слышишь, то и мелю,— огрызнулась Домка и вдруг сникла, будто решив, что незачем юродничать.— Комаровскую греблю вода размывает. Мельник в город сбежал, а заставни оставил закрытыми. Вот вода и переполнила пруд. И уже через греблю хлещет.

Мы переглянулись, словно спрашивая друг друга, верить или нет.

— А ты откуда знаешь об этом?

— Знаю, коль говорю,— опять окрысилась вдова.— И советую, поживей поворачивайтесь. А то поздно будет.

— А почему Лобачева не предупредила?

— А где он, твой Лобачев? — переспросила Домка.— С вечера куда-то смотался. И до сих пор глаз не кажет. Даже жена не в курсе...— И с вызовом глянула на меня.— Вот и решилась тебя разыскать. Принимай меры, рашпиленок... Не то на первом же собрании костей не соберешь...

С этими словами она шагнула в темноту и с силой захлопнула дверь. А мы снова тревожно переглянулись. Володька первым пришел в себя и рывком выбросился из постели. Дрожа от холода, я последовал его примеру. Под топчаном нашлись два пустых мешка. Мы сложили их капюшонами и надели на головы. Володька снял с гвоздя веревку и где-то отыскал зубило.

— Голыми руками замки на заставнях не возьмешь...

Засучив штаны выше колен, мы выскочили во двор. Холод неласково обнял нас, острыми колючками впился в босые ноги. Кругом шумел дождь, и казалось, кроме этого шума, на свете ничего не было. И все же в груди теплилась радость. Испугался Комаров народа. Бросил мельницу и унес поганую душу. Ну и скатертью дорога. Сгинуть тебе, кулак, на веки вечные.

А еще радовала Домка Землячиха. Какой смелой оказалась вдова! В какую пору явилась! Что же заставило? И откуда дозналась?

Мы двигались по нижней улице. Она вся была сплошь затоплена жидкой грязью. Под ногами то и дело попадался нерастаявший лед. Он обжигал подошвы. Мы двигались друг за другом: я впереди, Володька за мной. Дождь густым потоком падал с черного неба. Темень была такой плотной, что ничего не виделось перед глазами. Каким-то чутьем я угадывал хаты. Прижатые ливнем к земле, они тянулись навстречу. Но вот и последняя. Сейчас дорога должна раздвоиться. Одна пойдет через Молодящий мост на Карловку, другая поползет на косогор. Эта другая и ведет на мельницу.

Я держусь левой стороны и скоро замечаю, что мы поднимаемся в горку. Нет, чутье не обмануло меня. Мы на верном пути. Володька все время окликает меня. Я каждый раз отзываюсь. Наши голоса вспыхивают в шуме и тут же гаснут, будто залитые дождем.

На пригорке в общий шум врывается какой-то грохот. Я останавливаюсь, прислушиваюсь. Володька тыкается мне в спину и тоже останавливается.

— Это мельница,— говорит он.— Работает.

— Значит, Комаров не сбежал? — спрашиваю я.— А Домка наврала?

— Нет,— уверенно отвечает Володька.— Если бы Комаров был дома, мельница не работала бы. Не стал бы пускать в такую ночь...

Под горку мы не шли, а скользили по грязи. Я сбил пальцы о камень. Боль была режущей, но я скоро забыл о ней. Мельница и впрямь работала полным ходом. Оба колеса сбрасывали воду. А внутри вхолостую кружились жернова. Высекаемые камнями искры прошивали темноту. Было жутко. Казалось, во тьме и грохоте орудуют сами черти. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и прислушивались. Но, кроме звона жерновов, грохота колес и шума дождя, ничего не различали. Зачем Комаров пустил мельницу? Чтобы испортить жернова? Или вывести из строя колеса? Сколько же злобы в этом человеке! А ведь в церковниках ходил, в святошу рядился.

Но эти мысли владели мной лишь короткую долю времени. Их сменили другие, требовавшие действия. Остановить мельницу. Перекрыть лотки заставнями. И преградить воде путь к мельничным колесам.

Я увлек Володьку во двор. Скользя и падая, мы подобрались к лоткам. На них не было заставней. Они исчезли бесследно. Должно быть, сам Комаров спрятал. Остановить мельницу нельзя. Она будет работать, пока не рухнут под водяным напором колеса.

— На большой мост! — крикнул я Володьке.— Поднять не только верхние, а и средние заставни! Тогда уровень воды опустится ниже лотков и мельница сама станет!..

Держась друг за друга, мы двинулись по гребле. Через нее перекатывалась вода. Она уже размывала насыпь, сбрасывала под откос комья и камни.

Чем дальше, тем труднее было идти. Местами вода доходила чуть ли не до колен. А огромный пруд, по которому хлестал дождь, все напирал. И казалось, ничто уж не устоит перед его натиском. Но мы все же двигались вперед, дрожа от холода и страха. Где же этот большой мост? Только бы добраться до него. Сбить замки и поднять заставни. И тогда злые потоки устремятся в проемы. И уровень в пруду станет понижаться. Вот только бы добраться до большого моста!..

Неожнданно Володька споткнулся, свалнл н меня. На секунду голова моя оказалась в воде. Она хлынула в рот и нос. Я вскочнл н долго отфыркнвался грязью. А когда снова взял Володьку за руку, услышал его нспуганный голос:

— Ннчего не сделаем! Опоздалн! Надо уходнть!..

Я с снлой потащил его вперед. Несколько мннут мы шли, скользя в воде. Но вот ногн ступнлн на ровную н твердую поверхность. Это был мост. Через него тоже сбегала вода. Но пернла еще возвышалнсь над ннм. Да и поток на мосту не был снльным.

Замкн на заставнях оказалнсь под водой. Чтобы подобраться к ннм, надо было спустнться в воду. Володька вызвался попробовать первым. Я обвязал его одннм концом веревкн, другой обмотал вокруг себя. И держал все время, пока он, по плечи в воде, отыскнвал замок. И вот радостный крнк:

— Есть! Порядок!..

Но замок не поддавался. Не раз Володька с головой уходнл в воду. Наконец он прнподнялся н прокрнчал:

— Не сломать!

— Перейдн на другую! Может, с тем сладишь?..

Володька послушался н, поддержнваемый мною, передвинулся на соседнюю заставню. Но н на той замок оказался крепкнм. Володька долго н бесполезно вознлся с ннм. Я уже собнрался остановнть его, чтобы самому попробовать, как вдруг почувствовал под ногамн толчок. Страшная мысль полоснула мозг. Не раздумывая, я потянул за веревку.

— Назад! — крнкнул я в нсступленнн.— Скорей назад!..

Проннкнувшнсь тревогой, Володька быстро поднялся, перевалнлся через пернла. В ту же мннуту мост снова дрогнул, с треском пошатнулся н медленно двннулся. Мы со всех ног бросnлись к гребле. С разбега я упал на землю, ногтямн впнлся в глнну. Веревка рванулась в сторону, туго натянулась. Должно быть, Володьку отбросnло за насыпь. Позадн раздался грохот. Затем все заглушнл рев воды.

Ногн мон свнсалн над пропастью. Я все глубже впивался пальцамн в греблю. Но это не спасло бы меня, еслн бы не веревка. Она тянула в сторону н удерживала на земле. Поняв это, я осмелел н осторожно пошарнл



ногой. И задел что-то твердое. Боковая свая? Да, это была она. Упершись в нее, я стал подтягиваться. Вот и вторая нога уперлась в дерево. Я заметил, что барахтаюсь в грязи. Вода уже схлынула с гребли и теперь ревела там, где был мост. Упираясь ногами в сваю, я потянул веревку. Она задергалась, будто отвечая. Не помня себя, я заорал:

— Во-ло-дя-а!

Внизу послышался ответный крик. В диком реве он показался стоном. Я снова потянул веревку. Скорей! Скорей! Может, он ранен? Может, нуждается в помощи? Веревка поддавалась с трудом. Боясь сорваться, я тянул медленно. И наконец увидел его, Володьку. Он карабкался на греблю, подтягиваемый мною. Вот и совсем вылез, лег рядом.

А внизу могуче рычал поток. В прорву устремлялась вода, скопившаяся в пруду. За греблей, широко разливаясь по лугу, она уносила последние обломки моста.

Отдышавшись, мы встали. И вдруг заметили, что дождь перестал. А на востоке уже сияла полоса неба. Начинался рассвет. Володька глянул в прорву и, вздохнув, сказал:

— Ах ты ж беда! Не отстояли!

— Зато мельница остановилась,— заметил я.— Послушай...

И в самом деле, колеса уже не ворчали, не плескались наплывом. Да и рев в прорве глох, терял силу. С каждой минутой вода в пруду оседала, натиск ее слабел.

— Ладно,— сказал Володька.— Леший с ним, с мостом. Он же был старый. А мы построим новый. Мельница теперь наша.

— Да, да! — подтвердил я.— Теперь мы хозяева и мельницы и пруда. Законные...

Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. На нас не было места, не залепленного грязью. Только зубы в предрассветном сумраке сверкали белизной.

* * *

На другой день я обо всем доложил Лобачеву. Он решил создать комиссию. Она должна описать брошенное имущество. Сельисполнитель отправился вызывать

активистов. В сельсовет зашел Максим Музюлев. В последнее время он опять наведывался домой редко, и мы обрадовались ему. Лобачев передал участковому мой рассказ о Комарове.

— Разбегаются крысы,— мрачно заключил милиционер.— Чуют, корабль ихний идет ко дну...

Через час мы отправились на мельницу. Лобачев включил в комиссию и нас с Володькой Бардиным. Вызвался принять в ней участие и Музюлев. Утро стояло ясное и теплое. Черные тучи, изрыгавшие потоки на землю, куда-то исчезли. Но грязь на улицах была непролазная. Мы шли босиком, засучив штаны выше колен. Только Лобачев и Максим не разулись. Председатель сельсовета жаловался на ноги и боялся простудить их, а участковый не имел права нарушать форму. Из-за них мы двигались медленно, так как им часто приходилось с трудом вытаскивать сапоги.

По дороге к нам присоединились любопытные. Новость уже расползалась по селу и волновала мужиков. Мельник сбежал. Оставил мельницу, дом и удрал. А под конец навредил. По его вине вода сорвала мост и ушла из пруда. Такое не часто случается.

Дом показался одиноким и осиротевшим. Стены его были украшены потеками, на стеклах окон, будто слезы, блестели невысохшие капли дождя. Входная дверь была распахнута настежь, точно хозяин ждал гостей. И комнаты пустовали. А все добро исчезло, словно его и не бывало. Значит, мельник готовился к бегству давно. И потихоньку вывозил имущество. И, наверно, сбежал бы, если бы даже я не явился с нашим требованием. Мы с Володькой переглянулись. Да, так оно и есть. И нашей заслуги, что все это стало народным, нет никакой. Но мы не страдали честолюбием и скоро забыли о своем открытии. Важно, что мельница становилась общественной. А чья в том заслуга, значения не имело.

Я вышел из дому и бесцельно побрел в сад. У забора остановился. Отсюда, с пригорка, виден был пруд. Он весь был покрыт лужами. Вода задержалась лишь в глубоких впадинах. Только на стрежне она продолжала неудержимо двигаться. На пруду кишмя кишела ребятня. Она собирала карасей, линьков и раков. Где-то среди них и Денис. Вернувшись домой мокрый и грязный, я разбудил его и шепотом сообщил, что пруд сошел.

— Рыба прямо на земле валяется,— говорил я сонному брату.— Бери сколько хочешь голыми руками...

Поняв наконец, в чем дело, Денис скатился с печки, схватил ведро и огородами помчался к реке. Теперь он был среди них, юных рыболовов. Я всматривался в мальчишек и не находил брата. Может, он где-либо в камышовых зарослях?

Неподалеку раздался приглушенный стон. Я прислушался. Стон повторился — жалобный, безысходный. Я двинулся вдоль забора. И скоро в углу сада увидел Джека. Он лежал на земле, вытянув ноги, и казался дохлым. Из полуразжатой пасти текла пена. Заслышав шаги, он поднял голову и посмотрел на меня мутными глазами. Потом снова уронил ее и жалобно вздохнул.

На мой зов явились Лобачев и Максим. Они осмотрели собаку. Музюлев зачем-то даже перевернул Джека на другой бок.

— Отравлен,— сказал Лобачев.— Хозяин порешил. Не захотел взять с собой. А живым оставить пожадничал.

— Сам он хуже собаки, этот Комаров,— сказал Максим и расстегнул кобуру.— Надо пристрелить, чтобы не мучился.— И протянул наган мне: — Хочешь?

Я отступил назад и замахал руками:

— Что ты, Максим! Я никак не могу. Лучше ты сам...

И опрометью бросился из сада, зажав уши ладонями. За домом остановился и опустил руки. Какой страшный человек Комаров. Отравить собаку, которая охраняла его. Да еще какую собаку-то. Вспомнился разговор с Денисом. Он жалел, что я не потребовал Джека за то, что тот покусал меня. Наверно, он сейчас упросил бы Музюлева не убивать его. А почему я не сделал этого? Почему испугался и убежал как оглашенный? Может, надо было б вызвать ветеринара? Ведь он, ветеринар-то, совсем недалеко тут. И мог бы через час какой-нибудь явиться. В самом деле, может, еще не поздно? Помешать Музюлеву и вызвать ветеринара. Я бросился в сад.

— Не надо стрелять! — закричал я.— Лучше позовем ветеринара!

Ответом был выстрел, гулко прокатившийся над землей. Через минуту эхо трижды повторило его над прудом.

* * *

Объединенное заседание сельсовета и селькресткома, на котором обсуждался вопрос о восстановлении брошенной Комаровым мельницы, затянулось до полуночи.

Домой я возвращался один. Костя Рябиков приболел и на заседание не явился. Ночь стояла темная, но грязи уже почти не было. Жаркое солнце за несколько дней подсушило землю.

Я шел неторопливо, насвистывая «Молодую гвардию». Всякий раз, когда приходилось идти ночью одному, я насвистывал, чтобы отогнать страх. Сколько ни доводилось мне блуждать по ночам, я так и не мог побороть его.

Так свистел я и в эту ночь. И свистом давал знать, что мне море по колено. А сам напряженно зыркал глазами по сторонам. Особенно напряг зрение между Молодящим мостом и Карловкой, когда дорога пошла меж кустами. Жуткая четверть версты перед самым хутором, поблизости от вековых дубов, на которых грачи уже свили гнезда. За каждым кустом чудился притаившийся леший либо в образе злого духа, либо в образе дикого зверя. Леший вот-вот должен наброситься на меня, растерзать в клочья. И я громко свистел, а сам с отчаянием считал медленно тянувшиеся минуты. Вот она, родная Карловка! Совсем близко, рукой подать. Там-то уж нет ни диких зверей, ни коварных духов. А вот тут, на мрачном, заросшем ольховыми кустами болоте, тут сердце так трепетало, что готово было расстаться с телом. Тут оно предчувствовало что-то страшное.

И предчувствие не обмануло. Внезапно на дорогу вышли двое. Лица их были обмотаны чем-то темным. И только глаза сверкали, как у голодных волков.

Я невольно замедлил шаг. Они молча подошли. Коренастый и плечистый ударил меня в лицо. Я отшатнулся, но сразу же стремительно ринулся на него и тоже ударил в лицо. Он отпрянул назад, а я бросился по дороге. Но в ту же минуту другой, сухопарый, чем-то ударил меня сзади. Боль отшвырнула в сторону. Сухопарый споткнулся о мою ногу и грохнулся на землю. Что-то тяжелое звякнуло на дороге. Я кинулся к кусту, но тяжелый удар в голову свалил меня.

Потом удары посыпались, как каменные глыбы. Я закрывал лицо руками, хватался за грудь, бока. Они топтали меня, били сапогами. Боль нестерпимо полосовала тело, но я сдерживал стон. Ничто в эту минуту не могло разомкнуть мои челюсти.

А они продолжали бить, топтать. Это длилось долго. Тело перестало чувствовать. Может, потому, что на нем уже не было живого места?

Новый удар по голове. Яркая вспышка в глазах. И черная пелена. И как будто тут же новая вспышка. И рвущая боль во всем теле. После забытья сознание снова ожило. Слух уловил приглушенные голоса:

— Живучий большевичок.

— Отжился ленинчонок. Навек задохся.

— По кустам понесем?

— К черту по кустам. Вымокнем. А то и завязнем.

— Как же тогда?

— Поволокем по дороге к берегу. А там сбросим в воду, и поминай как звали.

— Пойду камень возьму. Где он тут?..

Я сильно стиснул зубы, боясь обнаружить, что жив. Не испугала речка, в которой они собрались утопить. Все что угодно. Только бы не стали снова бить.

Вдруг один из них тревожно сказал:

— Кто-то едет.

Другой тут же ответил:

— Да. Кого-то несет.

— Бери его. Потащим в кусты...

— Дюже нужен. И тут не заметят...

Они оставили меня на обочине и скрылись. Я напряг все силы и пополз к дороге. А стук колес и лошадиный топот приближались. Кто-то гнал коня рысцой. Я полз медленно, цепляясь руками за землю. Хотелось прилечь, передохнуть. Но нельзя останавливаться. Не успеть — значило погибнуть.

Вот и дорога. И лошадь уже рядом. Я собираю оставшиеся силы и привстаю на колени.

— По-мо-ги-те!..

Лошадь шарахается в сторону. Но возница удерживает ее. И останавливается передо мною. Я узнаю его. Дед Редька спрыгивает с телеги, наклоняется надо мной:

— Кто тут? Никак Хвиля?

— Скорей! — шепчу я.— Они рядом.

Иван Иванович с живостью подхватывает меня, втаскивает в телегу. Быстро вскакивает сам и хлещет коня. Тот с места берет рысью.

— А-а! — ликующе тянет Иван Иванович.— Вон они! Гонятся! А ну-ка, потягаемся!..

Он привстал на колени и принялся хлестать лошадь кнутом. Та перешла в галоп и стремительно помчалась вперед. Меня швыряло из стороны в сторону. Боль туманила сознание. Но и на этот раз я не разжал челюсти. Нет, и теперь враги не услышат моего стона.

Когда они отстали, Иван Иванович придержал лошадь и повернулся ко мне:

— Ну как, здорово помяли? Э, да ты весь в крови! Может, в больницу?

— Домой,— сказал я.— Скорей домой...

Иван Иванович звучно сплюнул на обочину.

— Ах, бандиты! Под суд их, проклятых!..— И снова, наклонившись надо мной, запричитал: — Ай, ай, ай! Как они тебя! Креста на них нету! Да ты хоть распознал их?..

Я и сам думал об этом. Кто они? Плечистый и худощавый. Неужели Дема и Миня? Но, может быть, и не они? Может, другие кто-либо?

— Нет, не распознал. Закутали лица чем-то.

— Как это закутали?

— Не знаю. Чем-то обвязали. По самые глаза... И голоса оттого глухие...

Дед Редька снова закачался и запричитал:

— Ай, ай, ай! На убивство шли. И за нами неспроста гнались. Добить хотели. Не люди, а звери. И как же ты, господи, терпишь таких?..

Въехав к нам во двор, он снял меня с телеги, помог дойти до крыльца и постучал в дверь. А когда в сенях послышались шаги и отчим спросил, кого бог послал, повелительно крикнул:

— Принимай пасынка, Данилыч! Да поживей! Побитый парень!

Напуганный отчим открыл дверь. И когда увидел меня, ахнул:

— Кто ж тебя так-то? Да у кого ж налегла рука?

С помощью Ивана Ивановича он завел меня в комнату, помог лечь на топчан. На ходу повязывая юбку, вошла мать, упала передо мной на колени:

— Убили! Убили, изверги!

— Не убили, ма,— сказал я.— Живой. И буду жить...

Но мать недолго плакала. Она бросилась на кухню, чтобы согреть воды и помыть меня. Иван Иванович собрался уходить. Я остановил его:

— Прошу... никому. Не надо будоражить людей... И сеять страх...

Пообещав молчать, дед Редька ушел. А отчим с большими предосторожностями принялся раздевать меня.

* * *

Утром отчим на соседской лошади привез докторшу. Она не узнала меня. Или сделала вид, что не узнала. А может, побоялась, как бы не напомнил о споре с фельдшером? О том самом, когда они решали, как лечить меня? На этого фельдшера жаловались многие. Грубит больным, поборничает. Мы сигнализировали об этом сельсовету. Там обещали разобраться. Но пока что не разобрались.

Докторша осматривала меня долго. Ощупывала бока, плечи, голову. Трубочкой выслушивала сердце, заставляя то дышать, то не дышать. А под конец, сокрушенно покачав головой, промолвила:

— Это ж надо так драться. И что, спрашивается, не поделили?..

Успокоив родителей, что ничего страшного нет, она отбыла на той же соседской подводе. А отчим, вернувшись из поездки, выложил передо мной какие-то порошки и склянки с мазью.

— Вот, значица, лекарства,— сказал он.— А тока я бы посоветовал свою медицину. Перво-наперво — кружка самогону. Да такого, какой на огне горит. А после того — подорожник. Лепить на битые места. Получше всяких порошков и мазей...

Потом Дениска сбегал за Прошкой Архиповым. Увидев меня покалеченным, тот заявил, что немедленно соберет ячейку.

— Кулацкая расправа. И мы обязаны реагировать...

Еле удалось успокоить его. Может, все-таки это не кулаки? А если они, тем более следовало быть осторожным. Расправой они рассчитывали запугать молодежь.

И отвлечь ее от комсомола. Так зачем же помогать им? Не лучше ли сохранить все в тайне?

После некоторого колебания Прошка согласился с такими доводами. Порешили: он скажет ребятам, что я заболел заразной болезнью. Какой-нибудь холерой или тифом. И запретит им показываться у меня. А в то время, когда мне придется валяться в постели, сам будет секретарствовать.

— Только поскорей выздоравливай, Хвиля,— предупредил он, пожимая на прощание мою ужасно болевшую руку.— А то ребята не вытерпят. И наплюют на холеру...

Но Лобачеву он рассказал правду. Я же был не только секретарь ячейки комсомола, а и кандидат партии. И тот сразу же пожаловал к нам. Чуть ли не как врач осмотрел меня. И попросил рассказать, как все случилось.

— Понятно, если не трудно. А если трудно, подождем. Через силу нельзя. Большой вред может выйти...

Но я все же рассказал. Лобачев слушал, не перебивая. И лишь изредка кивал головой. А когда я кончил рассказ, долго молчал. Челюсти его были стиснуты. На скулах часто вздрагивали желваки.

— Гнусные враги,— наконец сквозь зубы процедил он.— Не пора ли избавиться от них?..

Я попросил его не предавать случай этот гласности. И с жаром повторил доводы в пользу такой тактики. Лобачев подумал и согласился.

— Пожалуй, так будет умнее. А то растрезвонят по всему свету. Да еще приплетут с три короба. Это вы правильно решили. И спокойствие сохраним. И врагов оставим в неведении...

Прощаясь, пожелал мне скорого выздоровления. И, как я потом узнал, тут же отправился в райцентр. Там заявил прокурору. И рассказал обо всем Симонову.

Симонов явился на другой день. Выслушал спокойно. А когда я кончил, уверенно заключил:

— Вылазка врага. Классовая месть. Диалектика...

Однажды я уже слышал от него это слово. А сказал он так, когда узнал о краже антенны. Наверно, лучше всего этим словом выражать вражескую подлость. Но оно напомнило мне о детекторе. Почему он до сих пор

не вернулся к нам? Я осторожно спросил об этом секретаря райкома.

— Какой детектор? — переспросил тот, думая о чем-то своем.— Ах, да! — встрепенулся он.— Просто забыл. Изжили они себя, детекторы. Скоро будут настоящие радиоприемники. Ламповые, с батареями и громкоговорителями...— Внезапно он прервал себя, непривычно смутился и сказал: — Да ты не думай об этом, Хвиля! Знай себе поправляйся. Это сейчас главное. А все другое прибудется...

А потом пожаловал следователь в сопровождении Музюлева. У следователя было землистое лицо и отчужденный взгляд. Он допрашивал меня так, как будто я сам избил себя. А Максим сидел на топчане и не сводил с меня глаз. Теперь они были добрыми, его глаза.

Когда я рассказал обо всем, что случилось, следователь спросил, узнал ли я нападавших. Я покачал головой и сказал:

— Нет.

Тогда следователь все так же строго осведомился, подозреваю ли я кого-либо. Перед моими глазами встали Дема и Миня. Вспомнились их угрозы и предупреждения. Скорее всего это они. Но чем можно доказать? На людях они ничем не показывали себя. И я ответил следователю:

— У меня нет доказательств... Я никого не подозреваю.

— А тут и подозревать нечего,— вмешался Максим.— Без подозрений все ясно. Как божий день. Кулацкая работа.

Следователь наморщил бугристый лоб и заметил милиционеру:

— Правосудие руководствуется фактами, а не домыслами. И я просил бы вас... Мы с вами не на собрании...

Допрос длился долго. Я изнывал от боли и усталости. И готов был взмолиться... Следователь наконец захлопнул портфель. Но Максим задержался. Стоя перед топчаном, он сказал:

— Прокуроры — это само собой. Пускай копаются сколько хотят. А я не выпущу этого дела. Тут пахнет контрой...— Он вдруг потупился, часто заморгал глазами.— Только ты не подумай. Я берусь за это не ради

славы. Нет. Я тоже кое-что понял. Кулаки не лучше бандитов. И пока мы не избавимся от них, жизни не будет.

Я часто вспоминал эти слова. И проникался к Максиму уважением. За последнее время он заметно изменился. Будто вырос на целую голову. И уже не хотелось называть его обидным и несуразным словом Моська.

И еще одно свершилось, пока я валялся в постели. Состоялась районная конференция комсомола. В своем отчете Симонов похвалил и нашу ячейку. На конференции меня избрали членом райкома. А на пленуме — членом бюро и заведующим отделом труда и образования районного комитета. Сокращенно это означало: зав. ОТО РК ВЛКСМ.

Об этом событии рассказал Прошка Архипов. Он горячо поздравил меня с выдвижением. Рады были мать и отчим. Еще бы! Незадачливый сын становился районным работником...

А я испытывал огорчение. Не хотелось расставаться со Зименкой. И кроме того, опять терзало недоумение. Что нашли они во мне достойного? Почему и за что доверили важный пост? Неужели не могли в целом районе найти получше?

Я замахал перед собой руками, отгоняя нудные мысли, будто они были дымом. Почему я о себе так думаю? Может, и в самом деле люди лучше видят, чем я сам? Да и не пора ли покончить с боязливостью?

* * *

С матерью творилось что-то непонятное. Она часто задумывалась, вздыхала. И ни с того ни с сего вдруг осеняла себя крестным знамением. Что-то тяжкое было у нее на душе. А вот что?

Я решился поговорить об этом с отчимом. И, улучив минуту, когда мы оказались одни в кладовке, спросил его, что тревожит мать. Он присел на табурет, посмотрел в угол и поднял на меня необычно затуманенные глаза.

— Да вишь ли,— начал он с непривычной для него нерешительностью.— Неладное что-то происходит у нас в доме. Неладное и непонятное. Даже загадочное. Молоко, вишь ты, в кувшинах стало испаряться. И не просто

молоко, а самый вершок, сливки то есть. Истопит мать кувшин, поставит в погреб с цельной пеночкой, а через день смотрит и глазам не верит. Четверть кувшина испарилась. Ну, прямо улетучилась. И притом пеночка в полной исправности. Ничем не тронутая. Что тут думать? Как гадать? Куда девается молоко? Ну, пошла мать к бабке Гуляннхе. Так, мол, и так. Что за оказия на нашу голову? Та погадала и говорит: новый домовой явился. Старого, должно, выжил и поселился. И чем-то недоволен. Вот и капризы устраивает. Надо, говорит, ублажить его. Ну то есть успокоить. Я, понятно, говорю матери: бредни все это. Никаких домовых нет и не было. Но мать — свое. И пробует ублажать домового. Ставит рядом с кувшином чашку молока. Дескать, пей тока не лезь под пенку. А он открытое не потребляет. А под пеночку залезает. И так по сей день. Вот мать и переживает. Так переживает, что места себе не находит. Ночи напролет не спит, все прислушивается. А день настанет, бродит как потерянная. Жалко смотреть на нее...

Расстроенный отчим ушел. А я стал думать об этом странном явлении. В самом деле, куда девается молоко? Конечно, это проделки человека, а не какого-то там домового. Но кто же этот человек? Отчим? Он не способен на такие дела. Я? Но я не делаю этого. Остается Денис. Да, это он. И никто другой. Он мастер на всякого рода проделки. Но как ухитряется он выпить молоко, не затронув пенки?

Я решил понаблюдать за погребом. Он находился во дворе. Лаз в него виден был из окна кладовки, если смотреть наискось. Мать истопила молоко утром, вскоре после того, как подоила корову. Отстояться оно могло к середине дня. Потому-то сразу после обеда я взял книгу и занял наблюдательный пост. Время от времени я отрывал глаза от страницы и заглядывал в окно. И вот, когда на дворе стали сгущаться сумерки, там появился Денис. С беспечным видом он прошелся взад, вперед и вдруг метнулся к погребу. Быстро приподняв крышку люка, юркнул вниз, так же быстро опустив крышку за собой. Я же тотчас отправился на кухню, где мать ставила хлеб.

— Ступай в погреб,— сказал я.— И посмотри, кто там. Может, домового увидишь?

Не поняв, мать со страхом глянула на меня.

— Туда только что полез Денис,— пояснил я.— Сейчас он глотает молоко. Ступай и посмотри, как он это делает.

Страх на лице матери сменился гневом. Она опрометью бросилась из хаты. Я же вернулся на свой пост. И уставился в окно. Мать крадущимися прыжками подбежала к погребу, подняла крышку и, присев на корточки, заглянула туда. Некоторое время наблюдала, не шевелясь. Потом выпрямилась. И принялась жестикулировать руками. По этим жестам я догадался: она приказывала Денису вылезать. И скоро он выполз из ямы. Вот он встал перед матерью, опустив руки. Она сняла с него ременный пояс, мой подарок, расстегнула штаны. Потом нагнула его, зажала голову между коленками, спустила штаны и принялась хлестать ремнем по голому заду. Теперь я слышал его вопль. Приглушенный юбкой, он все же доносился до моих ушей. И мне становилось больно, будто она била не его, а меня. Но я все же повторял про себя:

«Так тебе и надо. Не будешь заниматься такими делами. Скорей поймешь, что такое честь и совесть...»

Откуда-то прибежал отчим. Вырвал у матери поясной ремень, оттащил Дениса. И принялся натягивать ему штаны. А тот стоял с глазами, полными слез, и раскрытым ртом. И до моих ушей все еще долетал его отчаянный вопль. Мать повертела перед его лицом руками и ушла. Ушел и отчим, повесив ему на плечо ремень. Я прилег на топчан и почему-то подумал: «Сейчас придет жаловаться...»

И в самом деле, скоро скрипнула дверь, и Денис, еле волоча ноги, вошел в кладовку. Остановился перед топчаном и захныкал.

— Садись,— предложил я.— И давай поговорим.

— Не могу сидеть,— отказался он, не переставая хлюпать.— Всю задницу расписала. Не дотронуться...

— Ну, тогда стой и слушай,— сказал я.— Ты поступил очень скверно. И дело не в молоке. Мать не пожалела бы для тебя молока. И ничего не пожалела бы. Ты заставил ее мучиться загадкой. Она ж из-за этого ночи не спала. Все думала, что это новый домовой проказничает. А это родной сын. Как же тебе не стыдно было мучить ее?

— А я не знал, что она мучается,— сквозь слезы про-

бормотал Денис.— Я ж думал, оиа ничего ие замечает. Оин ж мне ничего не говорнли про домового. И ты ие сказал.

— Я сам только ныиче узиал об этом,— признался я.— И подумал, что это никакой не домовой, а ты. Больше иекому у нас этим заниматься. И решил выследить. Ну н выследил.

Деннс посмотрел на меня широко раскрытымн, мокрыми глазамн:

— Так это ты выдал меня? Ты предатель?

— Это не предательство,— возразил я.— Выудить на свет плута и воришку — это долг. И я обязан был выполннть его.

Денис подумал, прерывисто вздохиул и виновато скрнвнлся:

— Ладно. Переживу. Только скажи... Теперь в комсомол не прнмете?

В сердце мое закрадывалась жалость. Мне хотелось успоконть его, приободрнть. Но я боялся, что жалостью прннесу вред ему. И ответил по-прежнему строго:

— Это будет зависеть от тебя самого. Если ты поиял свою ошнбку, осудил свой недостойный поступок...

— Понял и осудил,— прервал он.— И полностью, на все сто процеитов раскаиваюсь. Честное слово! Никогда больше этого ие будет.

— В таком случае пойдн к матерн н попроси у нее прощения.

Деннс опустнл голову, с шумом потянул иосом.

— Не пойду. Зиаешь, как она меня била? Чужого так не бьют. Хочешь, покажу?

И принялся расстегивать пояс. Но я остановил его:

— Не иадо показывать. Верю. Но ты подумай о ией. Ты же куда больше причиннл ей боли, чем она тебе.

Денис снова подумал, посмотрел иа дверь, передернулся всем телом.

— Хорошо. Пойду. Только не сейчас. Разреши завтра.

— Ладно,— согласился я, видя, как ему иелегко.— Пускай будет завтра. А теперь скажн, как ты там это делал.

Денис ухмыльнулся и блеснул влажиымн глазами:

— Да очень просто. Брал соломннку, протыкал пеночку с кра́юшку н сосал. Вот н вся хитрость...

Денис ушел, руками оттягивая штаны сзади. А я опять почувствовал жалость к братишке, которого любил. Может, надо было самому пойти к погребу и вытащить его оттуда? И предупредить, что такое баловство не доведет до добра? Но после внутренних распрей я решил, что поступил правильно. Серьезные проступки, как правило, начинаются с невинных мелочей. Эта нынешняя неприятность, может быть, избавит его от крупных ошибок в будущем.

* * *

Мать принесла кружку молока, протянула мне:

— Выпей, сынок. Цельное. Скорей поправишься.

Молоко было вкусное, как сливки. Как видно, губа у Дениса не дура. Но эта мысль занимала меня лишь короткую долю времени. Ее сменила радость. Мать сразу же преобразилась. Морщинки на лице расправились, грустные глаза посветлели. Проделка Дениса и в самом деле стоила ей дорого.

Мать ушла. А я встал и принялся ходить. Так делал по нескольку раз в день. И это помогало. Правда, плечо все еще болело. А бок по-прежнему схватывало клещами. Но все же это уже было совсем не то. Теперь, хоть сгорбившись, а можно было передвигаться без помощи. А главное: с каждым днем становилось лучше и лучше.

Радовало и то, что мать изменилась. Она заботливо ухаживала за мной. И это произошло с того дня, как меня покалечили. Но кто же все-таки покалечил? Кто они, коренастый и сухопарый? И почему закутали рожи? Боялись, что узнаю? Значит, я знал их, раз боялись. Но если собирались убить, чего ж было бояться?

Перед окном прошли двое. Я узнал Прошку Архипова. Но кто же была девушка? Ленка Светогорова? Пока что никто не заглядывал ко мне. Может, Прошка уже снял запрет? Или для Ленки сделал исключение?

Это была Маша Чумакова. Мы долго смотрели друг на друга. Прошка кашлянул в кулак и сказал, что ему нужно к Косте Рябикову.

— Передать повестку. Председателей ТОЗов в район приглашают. Насчет посевной...

Я взглядом поблагодарил его. И когда мы остались одни, сказал:

— Маша, неужели это ты?..

Она больно обняла меня, головой прижалась к груди. А потом, порывисто отстранившись, сказала:

— Как они тебя...

— Ты бы посмотрела тогда,— рассмеялся я.— Живого места не было.

— И сейчас лицо все синее.

— Лицо — пустяки. Уже проходит. А вот бок... Он никак не заживает.

Маша была все та же и какая-то другая. Юнгштурмовка ладно сидела на ней. Пояс перетягивал тонкую талию. На лацкане левого кармана блестел комсомольский значок. А голова была повязана красной косынкой.

Я взял ее за руки и почувствовал загрубелость ладоней. Они еще больше потемнели, будто в них несмываемо въелась заводская копоть.

— Машенька... Как я рад...

Маша посмотрела на меня долгим взглядом и улыбнулась.

— Я тоже рада.

Я снова взял ее крепкую и жесткую руку.

— Надолго?

— На три дня.

— Так мало?

— И то еле отпросилась. Работа ударная.

— А зачем приехала?

— Тебя повидать.— И, заметив мое счастливое удивление, пояснила: — Симонова встретила в обкоме. Он рассказал о тебе. Я так переживала. И вот приехала.

Я крепко сжал ее руку:

— Спасибо.

Некоторое время мы молча смотрели друг на друга. Маша первой отвела глаза. Нежные мочки ушей ее порозовели. На щеках проступил румянец.

— А как там у тебя, Маша?

— Хорошо, Федя. Работаю. Учусь. Всем довольна.

— По Знаменке уже не скучаешь?

— Скучаю. Даже очень. К городу привыкла. А по деревне скучаю.— И подняла на меня чистые, ясные глаза.— А больше всего по тебе, Федя.

— Я тоже по тебе скучаю, Маша. И жалею, что ты не вернулась со мной.

— Да, не вернулась,— подтвердила Маша.— Ты приехал по поручению ячейки. Я, конечно, рада была. И благодарна ребятам. Но если бы ты приехал без всякого поручения. Не от ячейки, а от самого себя.

— Да я ж от самого себя и ездил,— с жаром сказал я.— Честное слово! А поручение ячейки... Это было попутно.— Я снова взял ее руку.— А теперь уж не вернешься?

— Нет,— сказала Маша.— Теперь уж поздно.— И, подумав, решительно добавила: — Нет, теперь уж совсем нет. Да и ты уезжаешь из Знаменки. Мне Симонов говорил. В райкоме будешь работать.

— Избрали,— подтвердил я.— И как-то так... Без моего согласия.

— Стало быть, так нужно,— сказала Маша.— А ты должен гордиться.

— Я и горжусь. А только мне нравится в деревне. Люблю землю.

— Землю можно любить где угодно. Даже в городе. А в районе ты будешь на той же земле.

— Значит, разошлись наши пути?

— Как видно, разошлись. Такая уж наша жизнь. Она и сводит и разводит.— И снова глянула на меня сверкнувшими глазами.— Я очень рада, что повидала тебя, Федя. И что на родине побывала. Вот еще с ребятами повстречаюсь. С Прошкой договорились: вечером соберемся. А послезавтра уеду. К своим рабочим ребятам...

Она принялась рассказывать о заводе. И в голосе ее зазвучала радость... Там она чувствовала себя тоже своей. Ее окружали новые и верные друзья. Они помогали во всем. А завод перестраивался быстрыми темпами. Менялось старое оборудование. Росли ударные бригады. И потоком шли нужные стране машины.

Я слушал и тоже радовался. И верил, что жизнь снова сведет нас. Когда-нибудь пути наши все-таки сойдутся. Иначе не может быть.

* * *

Прошка задерживался. Мы переговорили обо всем. И теперь смотрели друг на друга. Маша время от времени вздыхала. И, словно думая вслух, повторяла:

— Как они тебя, Федя... Сколько перенес ты, бедняжка...

От этих слов в груди теплело. Даже боль отступала. Я уже примирился, что никогда не увижу ее. Встреча в городе была какой-то трудной и горестной. Мы расстались так, как расстаются навсегда. И вот она приехала. И сидит передо мной. И, конечно, проклинает в душе врагов, напавших на меня. А я чуть ли не готов благодарить их. Если бы не напали, Маша не приехала бы. И кто знает, встретились бы мы когда-либо еще?

Наконец Прошка вернулся. Извинился, что заставил ждать.

— Какой он, Костя Рябиков? — оправдывался он, почему-то отводя глаза.— От него не так-то скоро отобьешься. Бесконечные вопросы и расспросы. Что там, как там, почему и зачем? Чрезвычайно любопытный товарищ...

Они собрались уходить. Но я остановил их.

— Маша говорила: хотите встретиться?

— Да,— подтвердил Прошка.— Сегодня вечером.

— А где?

— В клубе. Где ж еще?

— А давайте у меня,— попросил я.— Приходите всей ячейкой. Тут и встретимся. И наговоримся вволю.

Прошка сурово насупился:

— А не рано ли рассекречиваться?

— Не рано,— сказал я.— Терпение лопается. Хуже, чем в тюрьме. По ребятам соскучился. И Симонов уже торопит. Работа в райкоме ждет. Все равно скоро выходить. Соберемся у меня. И поговорим. Может, это скорей поставит меня на ноги.

Маша серьезно заметила:

— А я думаю: вы зря секретничали. Молодежь нашу не запугать. Ярость же в них еще сильней закипела бы. И многие пришли бы к нам в комсомол. Чтобы вместе сражаться против кулаков.

Я заглянул в ее огнем горевшие глаза и осторожно ответил:

— Может, это и так. Но есть и другое. Терпеть не могу сочувствия. И этой самой жалости... Прямо не по себе становится. От разных охов и ахов... А кроме того, чего доброго, стали бы еще и славословить. Вот,

мол, какой герой. А какое тут геройство? Скорее — дурость.

— Почему дурость? — возразил Прошка.— И зачем это самоунижение?

— Никакого самоунижения нет,— сказал я.— Непростительная дурость. Даже легкомыслие. Будь я тогда умней и осторожней, ничего бы не случилось. Мог же я повернуть обратно. И дать драпака. Либо рвануть в сторону. И кустами — поминай как звали. Я же видел их закутанные рожи. И догадывался: меня подстерегали. Так чего же попер напролом? Храбрость перед самим собой выказывал? Но это не храбрость, а дурость. И ничего, кроме вреда, она не приносит. Я бы этот вопрос даже на ячейке поставил. Другим — в науку. Мы должны беречь себя. Беречь для партии, для революции. Вот так я думаю. А что касается встречи с Машей... Я очень прошу: встретимся у меня.

Прошка посопел и вдруг улыбнулся.

— Ладно, Хвиля,— сказал он, отрубив рукой.— Будь по-твоему. Снимаем запрет. И открываем тайну для всех. Вечером жди. Нагрянем всей гурьбой...

Пожелав мне всего хорошего, они вышли. А я с трудом доплелся до окна. И вскоре увидел их на улице... И они увидели меня. Маша помахала рукой. И что-то прокричала. Я не расслышал. Но по губам ее догадался. И тоже одними губами ответил:

— До вечера, Машенька!

* * *

Денис притащил откуда-то два чурбака. Положил на них толстую доску. Перенес из горницы табуретки. И только после этого сказал:

— Теперь усядутся. Двенадцать человек. Комсомольская дюжина.

Я похвалил брата за смекалку и расторопность.

— А дюжины не получается. Маша — уже не наша. Она стала рабочей. И на комсомольском учете в городе.

— Ничего,— деловито заметил Денис.— Скоро в нашей ячейке опять будет дюжина. Скоро и я стану комсо-

мольцем...— И, оглянувшись на дверь, тихо спросил: — А почему ты не женишься на ней?

— На ком? — не понял я.

— Да на Маше,— пояснил Денис.— Она ж такая хорошая. Мамка ее уважает. И мне нравится. Завидная была бы золовка.

Я смутился. И почувствовал, как покраснел.

— А почему ты решил, что она выйдет за меня?

— Выйдет,— уверенно сказал Денис.— По глазам ее видно. Влюблена в тебя по самые уши.

Это рассмешило меня. Но я оборвал смех, встретившись с недоуменным взглядом брата. И серьезно ответил:

— Жениться нам еще рано. Надо прежде поработать, поучиться.

— А женитьба помешает работать и учиться?

— Как тебе сказать?.. Не то что помешает. А все ж таки... Торопиться с этим не следует. Это вообще... А если говорить о нас с Машей... Скорей всего, ты ошибаешься. Маша решила остаться в городе. А я... Я люблю деревню. И не намерен с ней расставаться...

В сенях послышались робкие шаги. Раздались приглушенные девичьи голоса. Денис распахнул дверь. И по-взрослому сказал:

— Заходите! Милости просим.

Это были Маша и Лена. Лена жила на Карловке, и Маша по пути зашла за подругой. Она рассказала ей обо всем. И Лена за дорогу успела нагореваться. Все же передо мной не удержалась от слез.

— Ироды окаянные,— причитала она, глядя на меня широко раскрытыми глазами.— Сердца у них нету.

Лена была девчонкой. А с девчонки спрос невелик. И я не рассердился на нее. И шутливо ответил:

— Нету у них сердца, Леночка. И никогда не было. А в груди они носят камни, ножи, шкворни. И бросают их в нас при каждом удобном случае...

Но когда запричитал Сережка Клоков, явившийся вслед за девчатами, я не вытерпел. И строго оборвал его:

— Перестань! Ты же не тряпка, а боец. И тебе не к лицу воду лить...

Все же мне не удалось сдержать ребят. Они возмуща-

лись, иегодовали. И клялись быть непримиримыми к врагам.

— Миру между иами ие бывать,— заключил Володька Бардии, выражая общее иастроеиие.— Отиыие и во веки веков!..

Последиими явились Семка Судариков и Яшка Поляков. И Прошка, примостившись иа топчаие, сказал:

— Начием, товарищи! Мы собрались иа встречу с Машей Чумаковой. Бывшей иашей комсомолкой, теперешией передовой работиицей. Оиа приехала иавестить Хвилю. В связи с вражеским иападеиием иа иего. И пожелала повидаться со всеми иами. Вот мы и собрались. А собрались у Хвили по его просьбе. До клуба ои пока что ие в силах дотопать...

Илюшка Цыгаиков прервал его:

— Это хорошо, что мы собрались у Хвили. И давайте сперва поговорим о ием. Как же это так получается? Сказали: заболел холерой. А холеры иикакой иет. Вместо нее иалицо кулацкая вылазка. Зачем же поиадобился такой обмаи?

— А прежде хотелось бы узиать, как было,— вставил Гришка Орчиков.— Я, к примеру, даже ие представляю. Прошка сказал: побили за Молодящим. А кто и как, ие объяснил. Может, ты сам, Хвиля, расскажешь?

Пришлось рассказывать. Ребята слушали в суровом молчаиии. Только Илюшка то с шумом выдыхал воздух, то звоико скрипел зубами. Ему стоило больших трудов сдерживаться.

Рассказал я и о том, почему храиили тайиу. Лучше всего было держать врагов в иеведеиии. И ие мешать прокурорскому расследоваиию. Но и опасеиия за молодежь сыграли иемалую роль. Есть среди иее и иеустойчивые. Особеиио могли иапугаться девчата. А оии и без того все еще чураются комсомола.

— Кто ж эти баидиты? — спросила Леиа.— Известио или иет?

— Известио,— сказал Илюшка Цыганков.— Дема и Миия. И иикто больше. По повадкам видать. Морды закутывали тряпьем. Трусливые звери.— И сверкающим взглядом скользиул по угрюмым лицам ребят.— Прокуратура прокуратурой. А только и мы ие должиы сидеть сложа руки. С завтрашнего дия я берусь за это дело.

И добьюсь своего, чего бы это ни стоило. Я вытряхну из Прыща его поганую душонку. А вместе с ней и признание, что это их подлая работа...

Ребята шумно заспорили. Одни поддерживали Илюшку. Другие возражали. А я слушал и думал. Вот и испортилась встреча. И виноват опять-таки я. Зачем упросил собраться у себя? В клубе они без помех расспросили бы Машу обо всем. И может, в чем-либо переняли рабочий опыт? А теперь вон и совсем забыли о ней. Словно бы ее и не было среди нас.

Но Маша сама напомнила о себе. Призвав ребят к порядку, она сказала:

— Нельзя так, товарищи. Даже над кулаками мы не можем чинить самосуд. На то есть соответствующие органы. Они раскроют преступление. И примут законные меры. А наша задача — помочь этим органам. И лучшей помощью будет, если мы не станем мешать им. И до поры до времени будем помалкивать. Чтобы не сеять разные кривотолки...

Вмешательство Маши отрезвило ребят. Теперь они смотрели на нее так, как будто только что увидели. И на лицах у них было заметно смущение. Должно быть, вспомнили, что собрались на встречу с ней, работницей завода. Даже Илюшка и тот укротил свой бунтарский нрав. И, как все, пялил на нее свои удивленные цыганские очи.

А Маша, не дав им опомниться, продолжала:

— Вот послушайте, что я расскажу вам о заводе. И о иаших рабочих-комсомольцах...

Она рассказывала просто и ясно. Ребята слушали, боясь пропустить слово. И лица их с каждой минутой светлели. А я радовался про себя. Они забыли обо мне. И это очень хорошо. Случай этот бесследно канет в прошлое. Как канули многие другие. А борьба будет продолжаться. Суровая, беспощадная. И больших жертв потребует она, эта классовая борьба. Но жертвы не будут напрасными.

В комнату вошел Денис. Он принес зажженный каганец. Повесил его на гвоздь в стене. Выдвинул фитиль. Веселый свет оттеснил в дальние углы сгустившиеся сумерки. На стенах задрожали, задвигались неуклюжие тени.

Я знаком поманил брата. И усадил его рядом с собой на топчане.

— Послушай,— шепнул я ему на ухо.— О рабочем классе...

Денис кивком головы поблагодарил меня. И, весь превратившись в слух, уставился на Машу немигающими глазами.

* * *

Разговор затянулся допоздна. Маша устала отвечать. Но ребята не замечали этого. Они продолжали расспрашивать ее. И не только о заводе, а и о городе. Даже о нэпманах, которые представлялись не лучше кулаков.

— Скоро ли придет конец этим буржуям? — спрашивал Илюшка Цыганков.— И почему рабочие мирятся с ними? Почему не уничтожат гидру капитализма?..

Мы переглянулись с Прошкой. Я незаметно моргнул ему. Он понял и сказал:

— Все, товарищи! Уже поздно. Подведем итог. Как видно из слов Маши, рабочий класс на всех парах идет к социализму. И своей ударной работой увлекает деревню на социалистический путь. Выразим же от всей нашей Знаменки рабочим за то горячую благодарность...

И предложил ребятам расходиться. Но я остановил их. И попросил снова сесть.

— Одно неотложное дело.— И, когда ребята затихли, продолжал: — Вам известно, я перехожу в райком. А до этого придется еще поваляться. Ничего не попишешь. Не очень-то быстро срастаются кости. А ячейке нужно руководство. Вот я и предлагаю решить этот вопрос. И сейчас же избрать секретаря. И такого, чтобы он еще лучше двинул работу. Называйте, кого желаете.

Прошка Архипов выпрямился и сказал:

— Если так, то надо по порядку. Сперва решим о Хвиле. Предлагаю такую формулировку: освободить товарища Касаткина от секретаря ячейки в связи с избранием его в райком комсомола. И объявить ему комсомольскую благодарность за активное руководство ячейкой. Вот так предлагаю. Будет какое другое мнение?

Другого мнения не было. Ребята согласились с Прошкой.

Он предложил проголосовать. Руки подняли все, кроме меня.

— Ну, а теперь можешь продолжать, Хвиля,— сказал Прошка, снова горбясь, как под тяжестью.— Руководи как член бюро райкома комсомола.

— Хорошо,— согласился я.— Продолжаю. И прошу называть кандидатов. Пожалуйста.

Но кандидаты не назывались. Ребята молчали. И украдкой посматривали один на другого. А больше всего на Прошку Архипова. Снова вмешалась Маша:

— Назови сам, товарищ Касаткин. Ты же знаешь всех. Знаешь лучше, чем кто другой. Вот и скажи, кто больше подходит.

Ребята дружно поддержали Машу.

— Называй сам, Хвиля,— сказал Андрюшка Лисицын и, по обыкновению, шумно потянул носом.— Кого назовешь, тот и будет.

— Верно,— подхватил Сережка Клоков.— Заранее с тобой согласны.

Я осмотрел ребят. Все как на подбор. Молодцы молодцами. А нужен только один. Лучший из лучших. Самый умный и умелый. Я остановил взгляд на Прошке. И он тоже взглянул на меня. И в глазах у него метнулся испуг. Он словно боялся, что я не поверю в него. Но я верил. И громко сказал:

— Предлагаю товарища Архипова!

— Правильно! — дружно отозвались со всех сторон.— Согласны! Поддерживаем!

Когда ребята угомонились, я спросил Прошку:

— А ты сам-то как, товарищ Архипов?

Захотелось сказать, как он, когда выбирали меня: «Чувствуешь за собой способности? И обеспечишь руководство?»

Но я удержался от такого соблазна. Чего доброго, обидится. Да и ребята могут не понять шутки. А может, и не следовало шутить? И я серьезно добавил:

— Как сам смотришь на свое повторное избрание?

Прошка подумал, зачем-то качнул головой в одну, потом в другую сторону и, крякнув, сказал:

— Если ребята окажут доверие... Не пожалею себя ради ячейки... Хоть и должен признаться... После Касаткина нелегко будет.

— А ты так, Проша,— подсказал Андрюшка Лисицын.— Станет трудно, то есть невмоготу, вспомни Хвилю. И постарайся делать, как он. И тебе полегчает.

— Себя не пожалеешь, это хорошо,— одобрил Володька Бардин.— Но не жалей и нас. Почаще заставляй и наставляй. И дело у тебя пойдет, как надо. Может, даже не хуже, чем при Хвиле...

Прошку избрали единогласно. Я попросил его сразу принять дела. И, с трудом передвигая ноги, проковылял в горницу. Выбрав из шкафчика папки, я объявил матери и отчиму, что больше не секретарь ячейки. На это отчим заметил:

— Ну и ладно. Все одно отрезанный ломоть...

А мать попросила пригласить дожидавшихся меня Машу и Прошку в горницу.

— Хочу попотчевать. Они ж твои гости. А мы русские, а не басурмане.— И, когда я привел их, предложила им повечерять: — Яишенку с салом...— И не скрыла обиды, услышав отказ.— Хоть молочка выпейте. Дюже вкусное. И полезное...— Принесла кувшин, кружки. И, глядя, как Маша пьет, спросила ее: — Вот ты в город подалась. От семьи откололась. И как же тебе живется?

— Хорошо живется,— ответила Маша, пряча улыбку.— Работаю. Учусь. А что еще нужно?

Мать кивнула, как бы одобряя ответ.

— А по семье не скучаешь?

— Скучаю,— призналась Маша.— Так скучаю, что, бывает, плакать хочется. Но что ж делать?

— А не забудешь отца и мать-то?

— Что вы, тетя Параня! — сказала Маша.— Как можно забыть их? Да никогда в жизни!

Мать снова одобрительно кивнула. Глянула на меня, тоже цедившего молоко. И виновато улыбнулась.

— Вот и наш Хвиля откалывается. В район уходит. Мы, понятно, рады. А все ж жалко. Расставаться приходится. Да и боязно. Как он будет без семьи?

— Не беспокойтесь за него, тетя Параня,— сказала Маша.— Пускай идет своей дорогой. А что до семьи... Наша семья — народ. Он наша большая и верная семья.

Отчим вдруг встал, подошел к стене, бережно снял шкафчик. И, держа его перед собой, подошел к Прошке.

— Возьми! — торжественно сказал он.— Ты теперь секретарь. А я сработал его для ячейки. Пущай и у тебя бумаги будут в целости.

Прошка осторожно принял подарок. И горячо поблагодарил старика за помощь комсомолу.

* * *

И вот наступил этот день. Я уже ходил, как ходил и раньше. Правда, боль еще давала о себе знать. То резало между ребрами, то ныло в плече. Особенно при быстрых движениях и поворотах. Но все же это было не то, что было. Теперь я выглядел почти так, как до потасовки на болоте.

Больше всего помогла мать. Она настаивала какие-то травы и настоями смачивала битые места. Раны и ссадины смазывала медом, отчим купил его у пасечника Гришунина. Украшали меня и зеленые листы подорожника.

Особенно заботливо обращалась мать с моим лицом. По нескольку раз в день меняла на нем примочки, кровоподтеки протирала самогонкой. И оно быстро приходило в порядок, лицо. Синяки постепенно бледнели, рассасывались, исчезали. Ранки зарубцовывались, подсыхали, и болячки отваливались. И я больше и больше становился похожим на самого себя.

Можно и нужно было переждать еще, чтобы совсем разделаться с болью и чтобы согнать с лица последние следы неравной схватки. Но нежиться и прохлаждаться дома было некогда. Пришло письмо от Симонова. Товарищеское, дружеское, оно все же звучало требовательно. Ждет не дождется ОТО райкома своего зава. А кроме того, собирается конференция союза работников земли и леса. На ней предполагается рекомендовать меня председателем этого профсоюзного комитета, а попросту батрачкома. И в райцентре предстояло совмещать две работы. Иного выхода не было. В райкоме комсомола платным был один только Симонов. Другие члены бюро трудились по совместительству.

Но Симонов был чутким парнем. И потому предупреждал, что если мои кости не срослись, то лучше еще поваляться дома.

«Леший с ней, батрацкой конференцией,— писал он аккуратными буковками.— Не успеешь, так придумаем еще что-либо. Чтобы управляться с делами, нужно быть здоровым. Райком комсомола не курорт. Вкалывать потребуется на полную катушку. Немало предстоит и бродить по району. А он, район наш, хоть не такой великий, а и не маленький. Иной раз и двадцать верст отмахать понадобится. Фаэтонов же и карет у нас пока что нет...»

К этому же дню отчим сделал сундучок. Небольшой, но вместительный. С гнутой крышкой. Даже с внутренним замочком. Уж и не знаю, где раздобыл он такую редкость. Только краска подвела старика. Получилась какая-то темно-желтая, невзрачная, будто сундучок вываляли в навозе.

— И надо же, чтобы так,— сокрушался отчим, дергая себя за бороду.— Чего-то переборщил или недоборщил. Оттого и получился такой загаженный.

— Спасибо большое,— успокоил я его.— Лучшего и не надо.

Отчим блеснул еще молодыми и умными глазами.

— Ладно, сынок,— сказал он.— Приеду в райцентр в гости. И перекрашу заново. В какой-нибудь небесный цвет...

Перед моим отбытием собрались в горнице. Мать обняла меня и крепко поцеловала в губы.

— Счастья тебе большого,— промолвила она, страдальчески глядя на меня, точно я отправлялся в тюрьму.— И крепкого здоровья. Не забывай мать. Она хоть и не баловала тебя, а все ж любила.

Потом отчим облапил меня короткими и сильными руками. И, по русскому обычаю, трижды поцеловал в щеки.

— Того ж и я желаю,— произнес он и часто заморгал, будто в глаза попала пыль.— И к тому добавляю. Будь здоров не токмо телом, а и духом. И шествуй своей дорогой прямо. Да не виляй в стороны перед каждым бугорком...

Я обнял Дениса. С братом тоже было жалко расставаться. У него также на глазах навернулись слезы. Но он удержался и сказал сердито, будто самому себе:

— И к чему эти нежности? Не навсегда расстаемся...

Нежданно-негаданно в хату ввалились Нюрка и Гаврюха. Прослышав о моем отбытии, они примчались, чтобы напутствовать меня своими наставлениями.

Гаврюха стиснул мою ладонь в своей корявой лапе и сказал, заикаясь так, как будто только что выдул целую бутылку самогона:

— Ни ппухха тттеббббе, ни ппперрра!

А Нюрка вдруг скривилась, точно ей стало нестерпимо больно, и без передыху затараторила:

— И что это ты надумал? Без тебя не обошлись бы там, что ли? Оставался бы дома и горюшка не знал бы. Женился бы, как все прочие. Так нет же! Не сидится парню, не покоится. А что хорошего в этом райцентре? Да и время-то неспокойное. Дома вон и то покалечили. А там, не дай бог, и совсем угробят.

— Типун тебе на язык,— рассердилась мать.— Мало он, бедняга, перенес, чтобы ты еще пророчила?

— Не отговаривай его, дочка,— попросил Нюрку отчим.— Не сам он туда стремится. Судьба дорогу прокладывает. Лучше пожелай счастья в пути.

Нюрка посмотрела на меня долгим взглядом. Потом притянула мою голову и поцеловала в губы.

— Ладно уж,— вздохнула она.— Ступай, раз пошел. Только не будь дураком. Других слушай, а про свой ум не забывай. Да не женись на стороне.— И широко улыбнулась: — Жениться домой приезжай. Я уж и невесту присмотрела. Есть у нас на Сергеевке такая. Не девчонка, а огонь. Спереди — одно загляденье. А сзади — так и говорить нечего. Будто подушку подвязывает.

— А может, и подвязывает? — возразил отчим.— Сама-то вон подвязала?

— Я не по своей, по мужниной воле,— вздохнула Нюрка.— Он у меня любит задастых.

— Вон оно что! — рассмеялся я.— А я смотрю и думаю: что за диво? Как вышла замуж, так и потолстела. Прямо на другой же день.

— Как же, потолстеешь замужем,— обиженно хмыкнула Нюрка.— Скорее наоборот. В доску высохнешь...— Вдруг подняла юбку, отвязала подушку и со злостью швырнула на кровать.— А тем более с моей свекрухой. Жадоба, каких свет не знал. Все мало да все не так.— И тепло улыбнулась: — А та девчонка — другое дело. У нее все без обману. Сама видела. Как есть в натуре...

Мы смеялись от души. Даже Гаврюха и тот, глядя на жену, закатывался со смеху. И все порывался что-то сказать. Но так и не смог. Уж больно здорово заикался.

В сенях послышался сиплый кашель. Явился сосед, Иван Иванович, дед Редька. Он тоже пожелал проститься со мной и также старательно потряс мою руку.

— Валяй, друг сердешный,— сказал он, моргая подслеповатыми глазами.— Да смотри там не подгадь. И нас, земляков своих, не подведи. Мы же, можно сказать, гордимся тобой, нашим карловцем!

Молча посидели минуту, как полагалось по обычаю. Потом вышли во двор. Там еще раз расцеловались. Мать и Нюрка не выдержали и расплакались. Отчим чаще засопел трубкой. А Денис, подхватив сундучок, нетерпеливо сказал:

— Ну пошли, Хвиля. А то ребята заждались...

И мы двинулись вдоль Карловки. В лучах весеннего солнца она казалась нарядной. Бело-розовая кипень заливала сады. Изумрудным ковром стлался луг. Между зелеными вербами поблескивала Потудань.

Денис тащил сундучок, часто перебрасывая его из руки в руку. Я попробовал отобрать его, но брат не сдался:

— Сам донесу. Нéвесть какая тяжесть...

А сундучок был нелегким. В нем лежали пара белья, ситцевая рубашка, голубой томик Есенина. И полно сдобных «жиримолчиков». Но я все же не беспокоился за брата. За зиму он заметно вырос и выглядел сильным.

Когда мы отошли на порядочное расстояние, Денис доверчиво сказал:

— На днях с Прошкой разговаривал. Велел принести заявление. Обещает вскорости принять в комсомол. Чтобы, значит, в ячейке не было урону...

* * *

Ребята собрались в клубе, который скоро должен перекочевать на центральную площадь. Так решил сельсовет по нашему предложению. Хоть церковь и пустовала, соседство с ней все же не устраивало.

Прощальная комсомольская сходка. Первым начал Прошка Архипов. Как дьячок, он завел настоящий хва-

лебен, и я закрыл ему рот ладонью. Ребята засмеялись и дружно закричали:

— Правильно!

А Володька Бардин серьезно заметил:

— Если фонтан чересчур бьет, надо заткнуть его...

Потом вспомнили былые дни. В них много было радостного и горестного. Нет, радостного, пожалуй, больше. И в горестях мы часто находили радости.

Илюшка Цыганков тронул меня за плечо и конфузливо признался:

— Слышь, Хвиля, а я и правда подкапывал. Думал, не настоящий ты. И с Клавкой Комаровой... А началось все с Цезаря. Как приравнял к императору, так я и взъерепенился. А теперь вижу: все зря. И делаю вывод...

А Сережка Клоков серьезно посоветовал:

— Не зазнавайся. И нос не дери. Член бюро райкома — это фигура. Но бывает, и фигура — дура...

Потом говорили другие ребята. Тронули напутствия Яшки Полякова и Семки Сударикова — самых молодых комсомольцев. Яшка попросил не забывать ячейку.

— Она ж для тебя вроде бы вторая мать...

Семка же предложил не задерживаться на полпути:

— Смелей иди в гору. И не хнычь, ежели будет трудно.

Даже Ленка Светогорова и та не утерпела.

— Ты же наш, карловский,— сказала она, глядя на меня лучистыми глазами.— А карловцы — хорошие парни. Вот и оставайся хорошим навсегда...

В конце я держал ответную речь. Мне хотелось сказать многое. Мысли теснились в голове, забегали одна за другую. А слова получались корявые, невразумительные. Совсем запутавшись и расстроившись, я заявил:

— Не будем распускать нюни. Раз надо, значит, нужно. И прошу: не сомневайтесь. Где бы ни был, останусь таким же. И никогда не забуду родину...

После этого я начал было прощаться, но Прошка Архипов остановил меня:

— Мы пойдем с тобой...

И вот мы всей ячейкой двинулись по селу. Мы шли в ряд и пели комсомольские песни. И весеннее утро от этого становилось еще светлее и радостнее. Нам улыбались люди, выходившие из хат. Нас приветствовало солнце, поднимавшееся над балкой.

На окраине мы остановились. Прошка Архипов обнял меня, щекой прижался к щеке. Так же простились и другие ребята. А Ленка даже поцеловала меня. Я же кивнул всем, будто поклонившись, и сказал:

— До свидания, великие голодранцы!

И пошел по дороге с сундучком в руке. Я шел и чувствовал на себе их взгляды. Но не оборачивался, хотя трудно было удержаться. А не оборачивался потому, что боялся показать мокрые глаза. И только когда отошел далеко, оглянулся и поднял руку. Они тоже подняли руки и помахали мне.

— До свидания! — повторил я сквозь слезы.— Счастливо оставаться, дорогие друзья!

1967

Филипп Иванович Наседкин

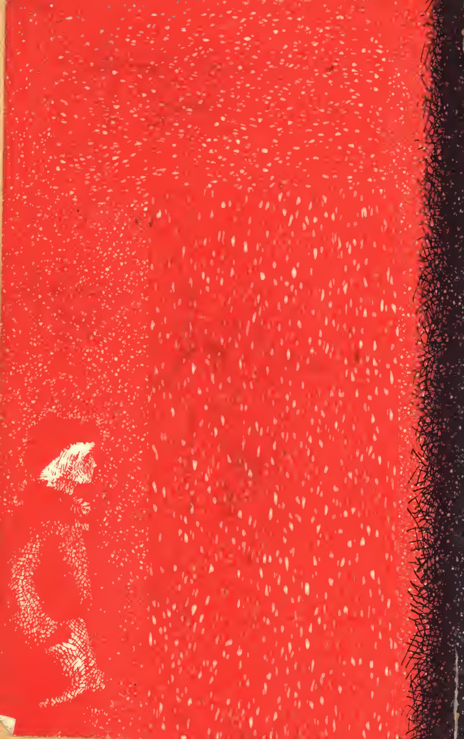
ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ

М., «Советский писатель», 1979, 384 стр.
План выпуска 1979 г. № 100

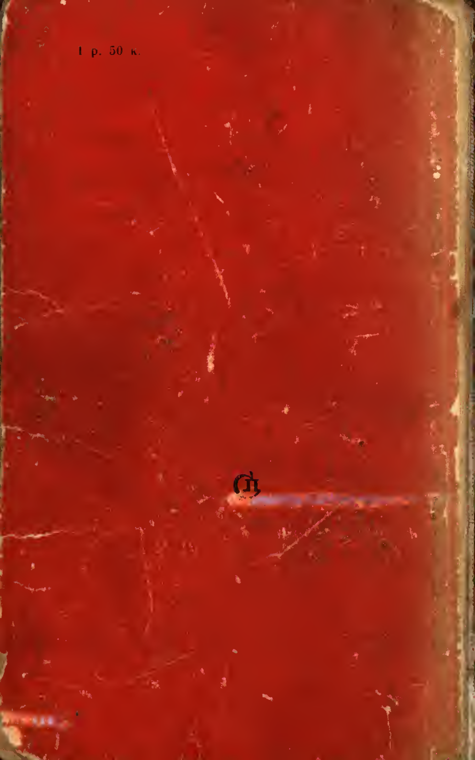
Редактор *А. Д. Зеленов*
Худож. редактор *Е. И. Балашева*
Техн. редактор *И. М. Минская*
Корректоры *Л. И. Жиронкина*
и *Г. И. Ольвовская*

ИБ № 1840

Сдано в набор 09.01.79. Подписано к печати 03.05.79. А 04298. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 20,85. Тираж 150 000 экз. Заказ № 42. Цена 1 р. 50 к. Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.






1 р. 50 к.